



# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10 2004

## В Н О М Е Р Е

Анна АХМАТОВА. <b>Неизвестное стихотворение.</b> Публикация и комментарий <i>Анатолия Наймана</i> .....	3
<b>Нам 80 лет</b> .....	6
<b>Нас поздравляют</b> .....	7
Александр ХУРГИН. <b>Сухой фонтан.</b> Литхудпроизведение .....	9
Асар ЭППЕЛЬ. <b>Латунная луна.</b> Рассказ .....	50
<b>Нас поздравляют</b> .....	59
Михаил ТАРКОВСКИЙ. <b>Енисей, отпусти!</b> Повесть .....	62
Евгений ПОПОВ. <b>Из цикла «История болезней»</b> .....	87
Вячеслав ПЬЕЦУХ. <b>Путешествие по моей комнате</b> .....	93
Давид МАРКИШ. <b>Тайна аула Габдано</b> .....	110
<b>Нас поздравляют</b> .....	118
Михаил РОЩИН. <b>Из какой палаты?</b> .....	121
Виталий ВУЛЬФ. <b>Лирическое отступление</b> .....	123

Борис ХАЗАНОВ. <b>Литературный музей. Из дневника писателя</b> .....	126
<b>Шелковый путь поэзии. Эссе участников фестиваля</b> .....	136
Андрей БАЛДИН. <b>Пьер переполнен</b> .....	149
Кирилл КОБРИН. <b>Ошибка</b> .....	182
<b>Нас поздравляют</b> .....	190

### Главный редактор

Ирина БАРМЕТОВА

### Редколлегия:

Алексей АНДРЕЕВ	<i>зам. гл. редактора</i>
Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Павел БЕЛИЦКИЙ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Афанасий МАМЕДОВ	<i>исполнительный директор</i>
Инга КУЗНЕЦОВА	<i>отдел прозы</i>

### Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский,  
Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин,  
Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов,  
Людмила Петрушевская, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера Министерство культуры  
Российской Федерации выкупает для библиотек России  
500 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125040, Москва, А-40, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,  
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, 214-69-37,  
отдел поэзии – 214-62-05, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-79-49,  
приемная редакции – 214-31-23.

© «Октябрь», 2004. Электронная версия журнала: <http://magazines.russ.ru>.  
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности  
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель – трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».  
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Компьютерная верстка – Лидия Синицына.

Подписано к печати 20.09.04. Формат 70x108 1/16.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Учетно-изд. л. 21,6.  
Тираж 4000 экз. Заказ № 2504. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»,  
105005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46



@

Безумцы! Я сама не знаю,  
Не знаю я куда иду –  
К обрыву черному блуждая,  
К последней гибели, иль к раю  
Я вас с собою приведу.  
Какое дикое упрямство  
Связало нас, как зоркий враг,  
Мне страшно это постоянство  
И верность огненных присяг.  
Вы вспоминаете едва ли,  
Куда я заводила вас,  
В каком вы месте пировали,  
Как в замурованном подвале  
На черной плахе в черный час.  
Какой вы стыд со мной делили,  
И немоты моей года...  
Вы будете, вы есть, вы – были,  
А я – падучая звезда.

*10 октября 1959  
Москва  
(днем)*

## КОММЕНТАРИЙ

@ – принятый Ахматовой, похожий на греческую альфу росчерк над стихотворением без названия.

2-я строка – первоначально описка: вместо «иду» – «ида» (возможно, вынужденная предыдущим «куда»).

3-я строка – первоначально вместо «блуждая» было «блуждаю»; менее вероятно – наоборот.

7-я строка – первоначально: «Привязывает вас ко мне...»

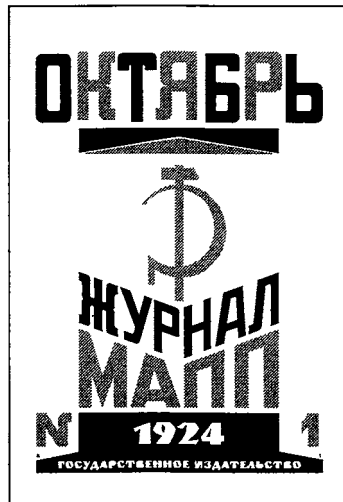
9-я строка – после «верность» маленькая клякса – не точка.

16-я строка – первоначально была оставлена как строка точек; на следующем этапе: «Молчанья долгие года».

Стихотворение лежит в русле темы, наиболее отчетливо прочерченной в стихотворении 1922 года «Многим». (См. также: «Но я предупреждаю вас», 1940; «Какая есть. Желая вам другую», 1942; «Кому и когда говорила», 1952; «Из-под каких развалин говорю», 1959.) Хотя «вы» здесь описывается как круг современников (читателей или вообще людей, так или иначе вовлеченных в обстоятельства жизни автора), от поэта отделенный, однако они от него не отчуждены. Отнюдь не «чернь», а скорее те, кого можно назвать сочувствующими, поддерживающими, очарованными, но кому не дано пройти с поэтом весь его путь, сделать последний шаг соединения с ним («чашу, которую Я пью, будете пить и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано». Мк. X, 39-40).

Вместе с тем в стихотворении просматриваются присущие ахматовской поэзии дантовские мотивы в период ее перехода от ранней к поздней их интерпретации, то есть от сосредоточенности на личной и гражданской судьбе поэта к следованию ему, когда он сходит в загробное царство. Обращение к Данте сопугствовало в творчестве Ахматовой, как правило, теме изгнанничества и означалось «покаянной рубахой», «свечой» и «горьким хлебом», повторенными в нескольких стихотворениях, начиная с «Не с теми я, кто бросил землю» 1922 года и кончая «Наследницей» 1959-го. Однако к началу 1960-х доминирующим становится «место дантовского круга» (главным образом в «Прологе» и «Полночных стихах»). Публикуемое стихотворение содержит как знак первоначального подхода к Данте: «на черной плахе» (ср. со стихами 1935 года «Зачем вы отравили воду»: «... Без палача и плахи / Поэту на земле не быть. / Нам покаянные рубахи, / Нам со свечой идти и выть».) – так и заключительного: «К обрыву черному блуждая, / К последней гибели иль к раю».

Может быть, самым убедительным проявлением родственности подобных стихов Ахматовой соответствующим дантовским служит наиболее трудно доказуемый через цитаты общий для обоих пафос тона. Цитатная, равно как и описательная, переключка между ними освещена в ахматоведении достаточно полно. Но, насколько нам известно, в круг обычно приводимых текстуальных совпадений до сих пор не попадали строчки «Зачем последнюю свободу / Вы превращаете в вертеп?» из упомянутого «Зачем вы отравили воду». Вертеп – «притон преступников и развратников» согласно современному словарию – это *bordello*, бордель, в который превратилась страна, из знаменитого обличительного плача Данте по Италии («Чистилище», песнь VI, 78). Высокая патетика, своего рода голосовое бесстрашие всего фрагмента протяженностью в 76 строчек звучит с тем же напряжением в ряде близких по духу стихотворений Ахматовой, в частности, в публикуемом здесь. Это и отличает поэтов, которых мы имеем основание называть великими, от остальных.



Наш журнал, и это общеизвестно, впервые вышел в свет в мае 1924 года. С тех пор 80 лет без перерыва, включая годы Великой Отечественной войны, каждый месяц читатели получали новую книжку «Октября».

Полагаем, что столь солидная дата позволяет некоторую вольность поведения. Поэтому мы решили отмечать день рождения журнала не один месяц, а все двенадцать, выбрав нашим девизом: Октябрь Круглый Год. Круглый год сделать каждый номер особенным для вас, дорогие читатели, нам помогли наши друзья – наши удивительные авторы. Другом журнала стать просто – надо принести в редакцию талантливое произведение. Создать талантливое произведение просто – надо писать и ничего не бояться. В том числе и неудачи. Каждый имеет право на провал. Это право высвобождает творческую энергию. Мы в своей работе не ориентируемся на обязательный и немедленный успех, и потому «Октябрь» постоянно находится в движении, готов на риск, на эксперимент.

Мы совсем не чувствуем себя бабушками и дедушками русской словесности, так как сами (говорим не без кокетства) значительно моложе, а главное – «Октябрь» вовсе не напоминает пышное природы увяданье.

«Октябрем» можно и нужно очаровываться, что и подтверждают поздравления наших друзей.

*Редакция*

Василий АКСЕНОВ

---

Политика всегда покушалась на календарь, похищала у двенадцати месяцев их принадлежность временам года, номерной смысл, не говоря уже о лирическом. Термидор (одиннадцатый месяц в яacobинском календаре) стал означать антияacobинский переворот, обычный апрель-никому-не-верь дал название каким-то там тезисам, об октябре уж и говорить нечего – после 1917-го было забыто, что он «очей очарование», вздымался красным валом величайшей на все века революции, знаменовал новую историю человечества.

В советской литературе, помимо всего самого великого, это слово было названием одного из толстых ежемесячников, в котором можно было напечататься и получить гонорар. Однако для того, чтобы там напечататься, надо было принадлежать к определенным кругам твердокаменных большевиков, проще говоря – к сталинистам. Возжи журналы, и прежде всего главный редактор товарищ Кочетов, считались «правыми». К «левым», как тогда именовали партийных либералов, они относились со скрежетом зубным. Те, в свою очередь, старались не упустить возможности как бы мимоходом лягнуть «правых», а то и «дать поддых» реакционерам, пренебрегающим антикультурной позицией непогрешимой партии. Основательную главу в истории советской литературы занимает противоборство «Октября» и «Нового мира», ведомого лауреатом Ленинской премии А. Т. Твардовским.

Вместе с могучим казакиной Анатолием Софроновым («Огонек») и тогдашним «скинхедом» Николаем Грибачевым (журнал «Советский союз») узкогубый партией Кочетов представлял нерушимую фортецию тех сил, что в нынешней Российской Федерации именуется «левыми». Между тем в новом журнале «Юность» зрела плеяда молодых поэтов и писателей, которых тогда с полной уверенностью в правоте именовали «левыми», то есть тогдашними буревестниками Союза правых сил. До сих пор, друзья, мы не научились отличать «сено» от «соломы».

Насколько я помню, никто из нас никогда не печатался в «Октябре». Реакционный триумвират был постоянной мишенью едких шуток. Между тем в самом этом журнале В. Аксенов был не чужим человеком: любая моя появившаяся в печати вещь (даже почти ортодоксальные «Коллеги») вызывала там приступы колик и излияния желчи. После моей вынужденной эмиграции один из авторов признавался: «Мы сигнализировали об этом В.А., но нам долго не верили».

И вот сейчас, по прошествии всего лишь нескольких десятилетий, я участвую в праздновании юбилея «Октября» и чрезвычайно горжусь тем, что из жупела этого журнала я стал его полноправным автором. В те времена я, признаться, даже не знал, где он находится. Сейчас, входя в кабинет главного редактора, шедевр сталинского интерьера с невероятно высоким потолком, я представлял, как именно вот за этим столом сидел тот ярый ревнитель соцреализма. Теперь эта кубатура заполнена добром, чувством юмора, художественным чутьем. Ирина Барметова, не клонясь ни вправо и ни влево (тем более что эти ориентиры у нас окончательно запутаны), четко определила основную линию журнала: передовой либерализм, великая традиция, тяга к мировой культуре.

Я очень горжусь тем, что здесь печатаются мои ближайшие друзья: Евгений Попов, Светлана Васильева, Анатолий Найман. Именно здесь этот большой поэт, что называется, нашел себя в прозе, обрел, как говорят, *second wind* и напечатал уже несколько глубоких современных романов, сопоставимых с вереницей трифоновских шедевров.

В общем, вместе с поздравлениями я хочу сказать, что в наши дни журнал «Октябрь» утратил сакральный и страшноватый смысл, заключавшийся в его



имени, и стал тем октябрём, который находится между сентябрём и ноябрём, любимым месяцем нашего Барда, когда гусей крикливых караван тянется к югу и когда в час между собакой и волком откупоривают бутылку бордо и открывают свежий номер журнала.

## Олег ПАВЛОВ

---

Я много лет публикуюсь в одном журнале, в «Октябре». Здесь мой дом, хотя бывает, что захаживаю в другие редакции, но тогда уж как в гости. Это, конечно, сознательное решение. Не потому, что он самый лучший... Скажем так, родной. И я верю, что у журнала есть свой читатель – тот, который живет с ним общей жизнью. Иначе не может быть. Журнал – все же не одноразовая брошюрка, да его теперь и не купишь по случайности. Допустим, в дорогу, чтобы развлечься. Даже в библиотеках давно не подписываются на всю периодику скопом: решают, делают выбор, порой отказываются. Да и в каждом журнале все же понимают, что предлагают своему читателю, какие границы для себя во всем определили. Словом, за каждым журналом сегодня стоит если не своя идея, то культура – я имею в виду культуру чтения, что определяется его кругом. Журнал ведь дело общее для авторов, которых он собрал, и для читателей, собранных вниманием к этим авторам. И можно не получать читательских писем, но знать, что внимание к журналу есть – и только поэтому он существует. Пусть не так широк этот круг, каким был, но держится верноостью и любовью. Взяться за руки, как поется в одной песне, я бы не призывал... Нужно остаться самими собой – или самими собою, раз уж страницы «Октября» собирают всех нас вместе: его авторов, его читателей.

## Владимир САЛИМОН

---

Мои родители – ровесники «Октября», в котором из года в год публикуются мной сочиненные стихотворения. Таким образом никакой проблемы о т ц о в и д е т е й между нами нет и в помине. Напротив, отношения складываются наилучшим образом.

Еще издали, заметив нетипичную вывеску над парадным подъездом, невольно ускоряю шаг. «Здравствуйте, – говорю я, едва в потусторонней темноте проема возникает знакомое лицо, – я принес стихи».

В знойный летний день, чуть только солнце начало клониться набок, хорошо идти под густыми кронами, ощущая свою сопричастность общему делу, если даже суть его тебе не слишком ясна. И уж совсем замечательно – быть, что называется, в курсе дела.

Знаете, почему так легка порой оказывается массивная дверь? Потому, что вам помогают ее открыть невидимо толпящиеся за спиной. В едином порыве слившиеся между собой крепко-накрепко. Какие чудесные силы стоят за нами у порога дома на улице П р а в д ы, подумать только!

Я искренне желаю процветания любимому журналу и уже с ним, то есть всем, кто принимает в нем живое участие, – и редакции и авторам.



## Александр ХУРГИН

---

*«Я родился в октябре», – это первое, о чем я подумал в связи с юбилеем журнала «Октябрь». Конечно, ассоциация не слишком скромная. Ямладшие «Октября» на целую человеческую молодость, на 28 лет. Именно до этого возраста люди в СССР официально числились молодежью. Значит, меня еще на свете не было, а «Октябрь» вступал уже в зрелость. Правда, то был другой «Октябрь» и другая зрелость. И не мне о ней вспоминать и судить. Не люблю я вспоминать о том, что было, когда меня на свете не было. А судить не столько не люблю, сколько опасаясь.*

*Но сейчас я опасаясь другого: опасаясь оказаться банальным. Поскольку то, что пришло в голову мне, легко могло прийти туда же и всем другим заинтересованным лицам. И тогда получится, что все станут говорить юбилею одно и то же. Отчего недолго и заскучать. В восемьдесят-то лет.*

*Да, так вот, в моем детстве, кроме военно-патриотической игры «Зарница», была еще одна интеллектуальная игра. Первый играющий произносил любое слово, второй быстро подбирал ассоциацию. Ну, к примеру, первый говорил «гипс», второй – «бюст», третий – «Ленин», четвертый – «партия», пятый – «шахматы». И так далее. Естественно, у слова «октябрь» существовала лишь одна ассоциация: «революция». И революция подразумевалась совершенно определенная – Октябрьская. А не, допустим, Февральская или 1905-го года.*

*Эта ассоциация жила очень много лет, недопустимо много. Да оно и сегодня, если над ухом у спящего пенсионера (особенно персонального) часов в шесть утра крикнуть «октябрь», он вскочит и запоет «Интернационал», «Вихри враждебные веют над нами» или на худой конец «Союз нерушимый».*

*К чему это я все веду? К тому, что, конечно, достижений «Октябрь» накопил достаточно. Во-первых, выжил и научился зарабатывать на жизнь в нынешнем интересном положении дел. Во-вторых (может быть, не мне – автору журнала – об этом говорить, но я скажу), несмотря ни на какую конъюнктуру, он упорно публикует только то, что имеет отношение к словесности. В-третьих, это единственный журнал, ежегодно отдающий целую свою книжку молодым. В-четвертых, это вообще один из лучших литературных журналов страны (немного открытой лести, соответствующей, впрочем, истине, к юбилею не повредит). В-пятых, в редакцию «Октября» просто приятно заходить и даже приезжать издалека. Уж тут мне можно поверить на слово, поскольку я именно издалека. Есть и в-шестых, и в-десятых, и в-двадцатых, так что всего не перечислишь.*

*Но самая большая победа журнала – это, по-моему, то, что его название читается сегодня без задней, так сказать, мысли, без ассоциации с известными событиями. Сейчас кажется, что все было примерно так: захотели люди восемьдесят лет назад назвать журнал «Октябрь» – назвали «Октябрь». Захотели бы назвать «Августом», назвали бы «Августом». Или «Мартом».*

*Кто-то может сказать: мол, подумаешь, тоже мне, победа! Над ассоциацией. Но я так сказать не могу. Поскольку уверен, что самое трудное – это сломать стереотип.*

*«Октябрь» его сломал.*

# Сухой фонтан

ЛИТХУДПРОИЗВЕДЕНИЕ

## Глава 1. Вечерний борщ

Так ей сегодня было почему-то хорошо! С самого утра и до самого вечера. Ну просто нет слов! Может, воздействовал на нее положительно фактор плохой погоды. То, что она, погода, была на улице, за окном, а Эля – у себя дома. А то и просто сдуру было ей хорошо, ни от чего, без факторов. Она даже веник взяла в руки и квартиру стала подметать по периметру. И делала это без обычного отвращения, а с удовольствием даже каким-то некоторым. Что-то даже напевая себе под нос бравурное из классического репертуара – «Шаланды, полные кефали», кажется. И подметала она, и напевала, пока не пришел отец мужа. В гости он пришел от нечего делать, со скуки. Что-то ему в голову взбрело – он и пришел. Почему сегодня, в понедельник, а не в какой-нибудь более удобный день недели?

Но и приход этот, застав врасплох, ее против обыкновения не расстроил.

– О, – сказала Эля, – давно вас не было видно.

– Ты лучше поухаживай за отцом, – сказал муж. – Это все-таки мой родитель. Какой он ни есть старый му...к, а должна принимать как родного.

– Как именно?

– Ну не так, как ты принимаешь.

«А я никак не принимаю, – подумала Эля. И подумала: – Чем бы его накормить домашним? Пожалуй, борщом накормить. Если муж его еще не съел впопыхах. Пока я подметала полы и радовалась жизни».

Но как только отецвошел и снял с себя пиджак, муж стал с ним по доброй семейной традиции ругаться ни на жизнь, а на смерть. В смысле, на политические темы. Родной отец пришел в кои-то веки к родному сыну. На какие темы им еще ругаться? Конечно, на политические, волнующие народ и его отдельных представителей до пены у рта. Тем более традиция у них такая.

«Лучше б вы по традиции в баню ходили, – подумала Эля. – Как люди».

Мишка терпел весь этот крик в доме довольно долго. Не то чтобы слушал или вникал в суть, а – терпел. Потом включил компьютер, надел наушники, запустил стрельялку на полную громкость и стал палить из разных видов автоматического оружия.

– Что ты там делаешь? – спросил вдруг муж из другой комнаты. В процессе воспитания, так сказать.

Мишка не ответил.

– Я тебя спрашиваю, – крикнул муж. – Что ты делаешь?

– Немецкий язык учу! – крикнул в ответ Мишка. Продолжая палить по всему, что на экране двигалось, шевелилось, стояло и лежало мертвым.

Муж начал внушать сыну на расстоянии, через всю квартиру, что надо лучше учить язык, что язык – это главное, что знающим язык принадлежит будущее, а незнающим не принадлежит.

А Эля начала потихоньку сходиться с ума. Хорошо еще, муж быстро вернулся к разговору с отцом. То бишь к ругани с ним на грани политического мордобоя. На нее, слава Богу, никто не обращал внимания. Ни сын, ни муж, ни его отец. На нее у них внимания не хватало. И она позвонила будущему своему мужу, ныне любовнику, и стала все ему рассказывать в красках и подробностях.

– Так это от них такой шум стоит? – спросил будущий муж, ныне любовник. – Они что там, убивают друг друга?

– Шум от них, а стрельба от Мишки. Он на компьютере стреляет. Все время был в наушниках, а теперь назло мужу снял и включил колонки. Чтоб шум ругани заглушить. А колонки у нас, сам знаешь, – девяносто ватт. Но

муж занят руганью всецело и ничего не слышит. Как можно не слышать такой пальбы, я не знаю.

– Ну он же весь в пылу дискуссии. А в пылу дискуссии все можно. В том числе и не слышать. Лучше скажи, как ты там? Уже получила свое?

– Давно.

– За что на этот раз?

– Да как обычно: не так свистишь, не так летаешь.

– Опять любовнику звонишь? – спросил муж, неожиданно возникнув.

– Опять, – сказала Эля. – Не тебе же мне звонить. – А в трубку сказала: – Все, пришел. Обвиняет меня в том, что я тебе звоню.

– Телефон, между прочим, на поминутной оплате, – сказал муж.

А отец его сказал:

– Вот. Ты ни черта не понимаешь в политике, а жена твоя открыто звонит любовнику. Поэтому она, – сказал, – и звонит, что ты не понимаешь. Не уважает и правильно делает.

– Это у тебя называется немецкий язык?! – заорал муж на Мишку.

– А какой?! – заорал Мишка.

В подтверждение его слов компьютер заорал: «Хенде хох! Юдепартизаненофицирен!», – и в нем дико застрочил автомат.

Эля сказала в трубку «целую», положила ее и пошла на кухню. Встала у окна.

Под окном прошел слепой. За ним ребенок. За ним еще слепой. Выбежала из подъезда большая собака и стала играть со старухой. Старуха похотывала. Собака погавкивала и повизгивала.

В большой комнате что-то произошло. То ли иссякла политическая тема, то ли они от нее утомились. И стали оттуда долетать фразы и диалоги иного, мирного свойства:

– Возьми книгу, – сказал отцу муж. – Все равно их не продать. А ты на старости лет, может, почитаешь. Тебе одному делать нечего целыми днями. Будешь читать.

– А чего, – сказал отец, – давай. У меня, правда, у самого их девать некуда. Мать, если помнишь, этим увлекалась при жизни. Но все равно давай. Я продам, если что. При необходимости или надобности.

– Ага, – сказал муж. – По пятьдесят копеек за штуку.

На это отец сказал:

– А что, пятьдесят копеек – тебе уже не деньги?

– Мне – не деньги, – сказал муж и сказал: – Посмотри еще вещи. Может, пригодятся в хозяйстве. На нашу дачу ездить.

– Ты ж дачу на меня переписал.

– Да переписал, переписал!

– Переписал он. А кто ее строил своими руками? Ты? А сад-огород? Ты? Ты там только деньги свои зарываешь, от налогов укрытые. Вот найду и отрою.

Сын смотрел на отца, злился и не мог сообразить – откуда он знает про деньги.

«Надо все-таки его накормить. Чтоб поел раз в сто лет чего-нибудь вкусного», – подумала Эля и полезла в холодильник. Борщ в кастрюле еще был. Муж не доел, чтобы кастрюлю не мыть. Эля подлила в борщ воды из чайника – гущи там осталось много, – подсолила, восстановив вкусовой баланс, и поставила кастрюлю на газ. Потом добавила в борщ сметаны. Сметана тоже, слава Богу, была.

– Идите поешьте, Иван Григорьевич! – крикнула.

Иван Григорьевич пришел сразу. Видно, проголодался. За ним пришел муж. И тоже стал шарить взглядом по кухне. В поисках чего бы пожрать.

– Ты ужинал, – сказала Эля.

– Я знаю, – сказал муж.

– Борщ есть на одного, – сказала Эля.

– Я знаю, – сказал муж.

– Все он знает, – сказал отец мужа. – Только не летает, прохвост.

Он сел за стол. Эля поставила перед ним тарелку. Отрезала кусок черного хлеба. От которого запахло тмином. Отец стал заразительно есть. Черпал борщ ложкой, помешивал, прихлебывал. Хлеб не откусывал, а отрывал зубами. Муж барражировал у него за спиной.

– Там вам такого хлеба не дадут, – сказал отец себе за спину. – И борща не дадут.

– Борщ мы сами сварим, – сказал из-за отцовской спины муж.

– Ты сварить! – сказал отец. – Чтобы такой борщ варить, родину любить надо.

Муж вышел из-за спины отца. Вздыхнул и сплюнул. Ткнул в Элю пальцем. Сказал:

– Она, значит, любит?

Отец наклонил тарелку к себе и тщательно доел борщ, доел весь до капли.

– Она любит... Им все равно: родина, смородина. Им – лишь бы кормила. Но ты ж – не они, ты ж в горсовет баллотировался.

– Ложись уже спать, – сказал муж. – Патриот хренов. Книги и вещи она тебе сложит в сумку.

«Как я сразу не догадалась, зачем он пришел?» – подумала Эля.

Она постелила отцу мужа в большой комнате. Он разделся и лег. Муж остался на кухне. В поисках съестного. Наконец, поел луку – в рамках борьбы с авитаминозом – и пошел спать.

А к утру у него все небо волдырями покрылось. А за окном поднялся ветер, еще сильнее вчерашнего.

## *Глава 2. Утро, переходящее в день*

Утро получилось тяжелым. Пекло, а не утро. И пекло в этом утре, как в пекле. Несмотря на ветер. Который дул, чуть ли не обжигая.

Из дому Эля вышла рано. Так рано, что раньше уже и невозможно. Все еще спали, когда она вышла. Думала, утром будет не так жарко. Но все без толку. В маршрутке стояла духота. И запахи. Сарафан промок сначала на спине, потом на груди. Промок и прилип.

«Вот гадость, – подумала Эля и остановила маршрутку. И вышла из нее на улицу. Где было менее душно, но не менее жарко. – Мне только такой жары не хватает. В моем положении и с моими сто на шестьдесят».

Вспомнив о своем положении и своем давлении, Эля сразу почувствовала себя хуже. То есть лучше. Потому что голова у нее плавно пошла кругом, создавая эффект легкого опьянения.

«Надо было хоть чаю выпить, – подумала Эля. – Или кофе. Хотя кофе мне, наверное, вреден».

Будущий муж, ныне любовник, увидел Элю из окна и отпер дверь. Она поднялась по лестнице, поднесла руку к звонку, а дверь перед ней сама и отворилась. Потому что будущий муж стоял в ожидании за дверью и смотрел в глазок. И видел все – лестницу, Элю, стены и двери – в искаженном виде.

– Привет, – сказала Эля.

– Привет, – сказал будущий муж, ныне любовник. – Я готов.

– Мы что, даже чаю не попьем? – сказала Эля.

– Там попьем, – сказал любовник. И сказал: – Ты же хочешь попроситься с Колючим?

– Хочу.

– Тогда пошли. А то ищи его потом.

– По-моему, ты меня не любишь, – сказала Эля.

– Как же я тебя не люблю, если я твой любовник? – сказал любовник. – А также и будущий муж.

Хатка Колючего (Колючий – это фамилия, честное слово, фамилия) была заперта. Конечно, дверь можно было хорошо пнуть – и куда бы она делась? Но зачем? Раз заперто, Колючего нет. Тем более в двери торчит

записка. План. Подняться по Артема десять метров, свернуть в арку, там через двор наискосок, к жирному крестику.

Мы пошли по плану. Вошли в арку. Прошли в глубину замусоренного двора и взяли курс на жирный крестик. Крестиком оказался сам Колючий. Он стоял за гаражом и писал веселый пейзаж.

– Ловлю весну в начале мая, – сказал он. – А то у нас же ее практически не бывает. У нас же два времени года – зима и лето. А осень и весна – так, для блезиру.

– Мы тебе мороженого принесли, – сказал я. – По пути купили. И тоник.

– У меня руки в краске, – сказал Колючий. – По уши.

Пришлось срочно есть мороженое самим. Оно уже давно начало таять и течь. Пить тоник Колючий тоже отказался. Он, кроме чая и минералки, вообще ничего не пил. Если не считать тяжелых спиртных напитков в разумных пределах.

– Подождите десять минут, – сказал Колючий, – я сейчас. Только над душой не стойте.

Мы отошли в тень. Ее отбрасывала лестница, ведущая на второй этаж старого дома. Прямо по воздуху. Когда нога человека ступала на лестницу, лестница пошатывалась и металлически ныла.

Тоник пили прямо из пластикового горлышка. Сначала Эля, потом я. По очереди. Наконец, дождался Колючего с мольбертом. Зашли к нему в хатку. Все еще хранившую внутри собачий холод и зимнюю сырость. Стены толстые, глиняные, прогреваются медленно. Тем более это полуподвал.

Посмотрели весну, развешанную на холодных стенах.

– Ну как?

– Хорошо.

– Давай зайдем к Вове в мастерскую, – сказал Колючий, – у него тепло и есть чай. Еда тоже вполне возможна. Потому что он в мастерской живет и любит готовить деликатесы.

Из полуподвала поднялись к Вове. На полувторой этаж. Постучали. Вова вышел обескураженный. Весь пунцовый, весь взъерошенный и радостный, в запотевших очках.

– Рад вас видеть, – сказал Вова. – Но почему без звонка? Я же не один, а с женщиной.

– И мы не одни, а с женщиной, – сказал Колючий. И сказал: – Ладно, в другой раз.

– С первой попытки чаю выпить не удалось, – сказал я Эле. – Так что пей тоник.

– Много тоника я не могу, – сказала Эля. – От тоника меня пучит.

Мы вышли на Артема.

– Пойдем к Валюне. У него вчера был день рождения.

– Я не хочу к Валюне. Он водки нальет, а мне жарко. Я не могу пить водку в такую жару. Я эстет.

– Не будем пить водку, – сказал Колючий. – Только чай.

Пошли по Артема вниз, свернули на Шевченко.

Валюня пребывал в соответствующем состоянии, в состоянии после дня рождения. Пил пиво. И настойку шиповника на спирту. Ее он купил в аптеке, чтоб голова не болела. Антонины не было. Антонина работала в Иерусалиме. Зарабатывала шекели, нянча иерусалимских детей. Она уехала туда полулегально, по церковным каналам. Священники ей помогли, потому что она пела в церковном хоре сопрано и выполняла в церкви разные побочные функции. А уехала так, чтобы Валюня не знал, инкогнито. Иначе он бы ее не отпустил. Сказала, что едет на Рождество в Сергиев Посад, помолиться. А потом письмо написала, когда добралась до места. Мол, стою, Валя, непосредственно у гроба Господня. Валюня получил это письмо, прочел и говорит сам себе: «Вот тебе, Валя, и Рождество».

Конечно, он расстроился.

– Ходил только что на главпочтамт, – сказал, – звонил Антонине. Телефон не отвечает.

– На работе она, – сказал Колючий.

– У нее мобильный телефон, – сказал Валюня и показал мятую бумажку с длинным номером.

– Ух ты! – сказал я.

А Валюня, глядя на Колючего, сказал:

– Ты, конечно, голодный.

– Кто сказал, что художник должен быть голодным? – сказал Колючий.

– Художник должен быть Колючим, – сказал я. И объяснил: – Каламбур. Колючему каламбур понравился. И он согласился выпить чаю.

Валюня поставил чайник на плиту.

– Я ж тебе говорил, – сказал я Эле, – что чай будет. Рано или поздно.

Мы выпили чаю. Потом еще выпили. А Валюня выпил к тому же весь тоник из нашей бутылки.

– Красота! – сказал он и выпустил из носа газ. – Вчера одних салатов штук десять нарезал. А Лида подарила мне пишущую машинку.

Он поспел, почесался и сказал:

– На х... мне пишущая машинка? Это вопрос не на жизнь, а на смерть.

Беседа как-то не ладилась. Валюня страдал. Он вчера спьяну купил себе повременную женщину. Поскольку за пять месяцев без Антонины просто извелся. Взял у матери десять евро – ей немцы заплатили за то, что угоняли к себе в Германию и там эксплуатировали – и купил. Самую простую, уличную. Конечно, он теперь страдал. Жара, перепой, растрата десяти евро, угрызения совести и торжество плоти. Кто это все может перенести без страданий?

– Завтра мебельный салон «Румыния» открывает картинную галерею, – сказал Колючий. – Будет торговать финской мебелью и нашими работами.

– А вчера Султан Рахманов умер, – сказал Валюня. – Тут рядом его офис. – И без всякой связи: – Надо еще раз пойти. Позвонить Антонине.

– И мы тоже пойдём, – сказала Эля. – Нам уже пора.

То есть все мы хотели идти. Каждый по своим делам. Только Колючий не хотел. Он хотел продолжать пить чай и о чем-нибудь умно беседовать. Но чай неожиданно кончился. А беседа так и не началась. Колючий быстро, мягким карандашом нарисовал портрет Эли в профиль и подарил ей. Валюня сделал то же самое, но анфас. И нам ничего не осталось, как встать и пойти. Мы встали и пошли. По теневой стороне проспекта. Валюня – опята звонить. Колючий – с нами за компанию. А мы – в сторону вокзала. Всем нам было по пуги. До почтамта, как минимум. У памятника вождю нас догнал толстый Степанов. С супругой.

– Ты с каждым разом все больше, – сказал я.

– Неправда, – сказала супруга.

– Правда, – сказал я.

– Ты, как всегда, с комплиментами, – сказал Степанов.

– Я как всегда, – сказал я. – Вы куда?

– Так, гуляем. В книжный магазин на экскурсию.

У нас теперь есть точно такой книжный, как в уважающих себя столицах, потому что есть точно (ну или примерно) такая, как везде, «Плаза». Называется она «Плаза Украины», все в ней на американский манер, и все ходят в нее и в ее шикарные магазины на экскурсию. Чтобы в Нью-Йорк или еще куда не ездить.

– Мне в книжный нельзя, – сказал я. – Мне там слишком многое хочется купить. А куда потом все это девать? Да и денег сейчас нет на книги.

– А у меня есть деньги, – сказал Степанов. – Такие дела.

Они свернули в книжный не прощаясь, а мы пошли прямо не задерживаясь. Но задержались. Эля решила, что ей нужно в «Рыбу». Купить сырой семги. По двадцать гривен за килограмм. Чтобы дома ее посолить кустарным способом и наделать много-много бутербродов. К прощальному вечеру на работе. Но семги в «Рыбе» не оказалось. То есть семги было завались, но соленой и от этого безумно дорогой.

– Придется обойтись без семги, – сказала Эля. – А жаль. Ею закусывать – интеллигентно. Да и вкусно.

У почтамта Валюня сказал:

– Ну пока, – и вошел в помещение переговорного пункта.

– Пока, – сказали мы ему в спину.

– А я пройду с вами, – сказал Колючий. – Вы прямо?

– Прямо.

– Лида говорит, что профессор Бойко – голубой педофил, – сказал на ходу Колючий. – Она уже и в университет сообщила, и в Союз художников. Я ей говорю: «Разве так можно? Вы с ним тридцать лет знакомы». А она говорит: «Он на Пасху к моему сыну грязно приставал».

Я разговора на тему Лиды не поддержал. Не любил я тему Лиды. И ее заведомо ложных измышлений не любил.

На углу Садовой и проспекта остановились.

– Ну все. Мне налево.

– А нам опять прямо.

– До вокзала?

– Да. Прощайтесь.

Колючий похлопал Элю по плечу, приобнял. Эля улыбнулась.

– Хорошо прощайтесь, – сказал я.

Колючий удивился и Элю поцеловал. Эля тоже его поцеловала.

– Надо ехать на Орель, – сказал Колючий. – Сливаться с природой.

А то что мы тут сидим и сидим?

– Да, – сказал я. – Непонятно.

– Почему ты ему ничего не сказал? – спросила Эля, когда он ушел.

– Зачем? – сказал я. – Зачем портить день?

– Но он же не понял, что попрощался со мной по-настоящему. Может быть, навсегда.

– Почему это навсегда? – сказал я. – Навсегда я не согласен.

### *Глава 3. Это было летом – 2*

Да, летом 2002 года. Ровно через четыре месяца после смерти мамы. День в день. Именно тогда Эля меня наконец уговорила. И приперла к стенке, сказав, что даже съездит со мной в Киев. Придумала себе командировку, хотя мужу все было про нас известно, – и мы поехали.

Взяли билеты в одно купе, только она под села в своем Верхнедзержинске. Ее, как и предполагалось, никто не провожал. Но перед станцией я все равно вышел из купе и постоял не спеша в тамбуре. А когда вернулся, она уже сидела на нижней полке, и поезд уже трогался.

– Привет! – сказала Эля.

– Привет! – сказал я.

– Курил? – сказала Эля.

– Курил, – сказал я. – На случай, если бы тебя вдруг провожали.

– Кто меня может провожать! – сказала Эля.

– Ну я не знаю, кто.

– И я не знаю.

Поезд пришел на удивление точно. Без двух минут шесть. То есть времени у нас было много. А куда его девать, мы не знали. Поэтому просто бродили по Киеву. Бесцельно. На ходу что-то такое съели – в катакомбах все того же американского типа под Майданом Незалежности. Кафешка называлась практически по-французски – «Швядко», и ели мы нечто быстрого, швядкого то бишь, приготовления. Вкус еда имела смутный. Поев, заглянули сквозь стекло в закрытый еще книжный магазин. Такой же, как у нас, в нашей доморощенной «Плазе». Отсюда, снаружи, он выглядел роскошно. Правда, я знаю, что все закрытые магазины, а книжные особенно, выглядят гораздо роскошнее, чем открытые.



Больше внизу делать было нечего. Мы выбрались наверх. Постояли на Крещатике. Осмотрели со спины бетонную сетку в золоте. Она торчала над городом и что-то символизировала в лучах восходящего солнца.

До немецкого посольства прошли пешком. Пристроились к какой-то сильно советской очереди. Обнаружили, что очередь не та. Выяснили, что та будет в два часа дня и занять ее заранее или там предварительно в нее записаться – нельзя ни за какие деньги. Не предусмотрено порядком. Можно, конечно, сидеть тут, во дворике, не отходя, и быть первым. Но это глупость. Потому что посольские служащие принять успевают обычно всех.

И мы ушли. Эля сказала:

– А не съездить ли нам к дяде Йосифу? Восемьдесят лет человеку, надо его навестить.

– Он что, болен? – спросил я.

– Почему болен? – сказала Эля. – Он еще о-го-го.

Она поехала к дяде. А я не поехал. Что я, восьмидесятилетнего дядю не видел? Я решил, раз уж все так удачно сложилось, найти две редакции, где мне были должны. Не очень много – много наши органы массовой информации не платят, – но какая разница сколько, главное – не количество, главное – что не ты должен, а тебе. Это уже само по себе радует и веселит.

Не знаю, как съездила Эля, а я – так очень удачно. В обеих редакциях мне отдали деньги. На Украине это такая редкость – чтобы те, кто тебе должен, добровольно отдавали деньги. Да еще по-белому, по первому требованию и не по знакомству. Загадочная все-таки страна Украина.

Встретиться с Элей мы договорились в 13-00. Встретились. Съели по мороженому и пошли к посольству.

Вдруг увидели неоновую вывеску «Едем». Переглянулись. Мистика какая-то. Я подумал: «Наверно, Эля права, надо ехать». И тут же догадался, что это всего лишь название ресторана, написанное по-украински, и означает оно не «едем», а «Эдем». Но ощущение, что это знак, осталось. А может быть, я нуждался в знаке и готов был принять за него что угодно.

На этот раз очередь во дворе имела место быть. И как раз та, что нужно, только гораздо длиннее. Двигалась очередь быстро. Вдоль нее ходил какой-то полуофициальный дядька, смотрел документы, отвечал на вопросы, давал советы (как потом выяснится, вполне дурацкие. Но это выяснится потом). Дядька посмотрел мое свидетельство о рождении. Перечитал национальность мамы и национальность папы.

– Молодой человек, – сказал он, – что вы здесь до сих пор делаете?

– Живу, – сказал я и отнял у него документ.

Дядька удивился:

– Зачем?

А я стал злиться и психовать. Какое ему дело, что я здесь делаю и зачем живу? Нет, ну какое?

Часа через полтора я держал в руках анкеты и памятки, с подробными рекомендациями – как поступать дальше, если я хочу получить полное право жить – нет, проживать! – в благословенной стране Германии, считаясь беженцем. Что не только почетно, но и прибыльно.

Я сунул бумажки в сумку.

– Все, звоним Куркову.

Курков взял трубку после первого же гудка.

– Привет, это я, – сказал я. – Мы приехали.

– Ну так приходите, – сказал он. – Ты же знаешь адрес?

Адрес я знал. Но шли мы долго. Потому что петляли.

Я подходил к прохожим аборигенам и спрашивал:

– Не скажете, где находится американское посольство? – Что делать, сегодня был день посещения посольств и их поисков.

Прохожие аборигены или шарахались от меня, или посылали в самые разные стороны и места. Почему-то никто из них точно не знал, где находится американское посольство. Где американские химчистки, знали мно-

гие, а где посольство – нет. Но Курков жил именно поблизости посольства, а не поблизости химчистки.

Эля сказала:

– Я знаю, почему они шарахаются. Они думают, что мы хотим американское посольство взорвать.

– Взорвать?!

– Посмотри на свою черную сумку.

Я посмотрел.

– Теперь прислушайся.

Я прислушался.

В сумке громко тикал мой будильник угличского часового завода. Я всегда беру этот безотказный будильник с собой в дорогу. Мало ли что.

– Про твою черную рожу я не говорю. Типичный террорист.

– Сумка да, сумка тикает, как сумасшедшая, – сказал я. – А рожа – вопрос спорный. У меня уже вся голова седая.

– А что, седых террористов со спорными рожами не бывает? – сказала Эля и сказала: – Пошли.

– Куда?

– Какая разница? В любом случае мы на правильном пути.

Эля, как обычно, угадала. Мы нашли посольство. Поскольку давно ходили вокруг да около. Наткнулись на вывеску «ул. Некрасовская», дальше все уже было просто.

– Смотри, – сказал я, когда подошли к дому Куркова. – Он же чуть ли не во дворе у американцев живет. Наверно, в гости к ним ходит, на фэйф-оклок, ля, на ланч. Ловко устроился.

Кстати, жена у Куркова англичанка. Настоящая англичанка. Из Англии. И дети говорят по-русски, по-английски, а при надобности и по-украински. Они все время перетекают из языка в язык, легко и свободно. За ними не уследишь.

Интересно, зачем люди женятся на англичанках? Может, с тоски? Или, наоборот, от любви и от чувств вселенского масштаба, которые не имеют границ? Судя по всему, от любви. Во всяком случае, Лиза отказывала Куркову несколько раз, но он ее добивался, пока не добился, чтобы она стала Курковой. И она стала. И сейчас была заметно беременна третьим ребенком. А двое предыдущих детей жили здесь, в квартире вокруг нас, какой-то собственной детской жизнью.

Старшая Габи приходила из своей комнаты есть с тарелки Куркова бутерброды. А мы, между прочим, их не ели, мы ими закусывали. Это разные вещи. Младший Тэо приходил тоже. Но он стоял и молча наблюдал за процессом. Он вообще был молчалив, этот Тэо Курков.

– Ты съешь мои бутерброды, и я умру с голоду, – говорил Курков Габи. – Вас некому станет кормить, и вы тоже умрете.

– Шутит, – объясняла нам Габи и продолжала есть бутерброды.

Курков, поняв, что ее не остановить, сходил на кухню и принес большую сковороду.

– Это кус-кус с котлетами, – сказал он. – Гвоздь программы.

– Объясни, что такое «кус-кус», – сказал я. – Что такое котлеты, я знаю.

Курков показал пальцем на россыпи кругленькой крупы в сковороде и повторил:

– Это – кус-кус. Мы с Лизой это любим.

И мы стали закусывать кус-кусом. И котлетами, конечно, тоже стали закусывать.

И вечер получился хороший. Не от выпитого и усталости, а от тепла. Особого домашнего тепла, которое чувствовалось в этом доме везде.

Несмотря на всеобщую августовскую жару.

Утром я проснулся от того, что надо мной стояли Габи и Тэо. Они стояли и смотрели.

– Ты ему кто? – спросила Габи у Эли. – Жена?

– Нет, – сказала Эля. – Не жена.

– А почему ты с ним спишь?

Эля задумалась. Габи ждала ответа. Тэо тоже чего-то ждал.

– А у вас же нет для меня отдельной кровати, – сказала Эля.

Теперь задумалась Габи. И Тэо задумался вместе с ней.

– Действительно, нет.

Габи вышла из комнаты и сказала Лизе:

– Нужно купить еще одну кровать.

– Хорошо, – сказала Лиза. – Купим. И сказала: – Габи, говори со мной по-английски.

– Ты что, по-русски не понимаешь? – сказала Габи, но на английский все-таки перешла.

После завтрака съездили на рынок. Цены нам показались умопомрачительными. А Куркову ничего, доступными.

– У меня же в прошлом году двадцать книжек вышло на разных языках. Так что для меня нормальные цены, – сказал Курков.

Мы купили всякой съестной всячины, погрузили в «форд» и поехали домой.

Лиза и дети были уже готовы.

Мы вошли и взяли сумки. Габи смерила меня взглядом. Сравнила с Элей, с отцом, с Лизой. Наконец, сравнила с собой. И сделала вывод.

– Ты очень маленький мужчина, – сказала она.

– Маленький, зато настоящий, – сказал я.

Она еще раз на меня посмотрела:

– Нет, ну все-таки очень маленький.

В Лазоревку ехали совсем недолго. Часа, что ли, полтора. Лиза с легким акцентом рассказывала о лазоревском соседе, который как-то подвозил ее на «Москвиче» в Киев.

– Сели, – говорит, – в машину, он у детей своих спрашивает: «Что нужно сделать перед дорогой?» «Помолиться, – отвечают дети, – сказать «спаси Бог». А я думаю – почему бы не пристегнуться? И не зря думаю. Потому что до самого Киева все ехали пристегнутыми. Кроме меня, конечно.

Параллельно Габи дергала Элю – интересовалась, есть у нее дети или их у нее нет. Узнав, что есть сын, стала выяснять, приедет ли он к ним в гости.

– Приедет, – сказала Эля. – Он девочек любит.

– А мальчиков? – спросил Тэо и уснул.

– Да, – сказала Габи и тоже уснула.

– Зачем ей утром понадобилась еще одна кровать? – сказала Лиза. – Не знаешь?

Эля объяснила.

– Нет, все-таки я правильно их воспитываю, – сказала Лиза. – Все-таки правильно.

А потом были два дня в деревне. Где Курков купил себе по случаю дом.

– Эх, хорошо в деревне летом! – говорил Курков, когда мы пили водку, и ели мясо на вертеле, и угощали им чужого кота. Кот ходил по двору и прикидывался своим. Ходил почти до утра, пока мясо не закончилось и запах его не растворился в ночи без остатка.

– Тиха украинская ночь, – говорил Курков.

А я говорил:

– Сам написал?

– Не лести мне, – говорил Курков и гладил кота. Кот в надежде на предложение банкета гладить себя позволял.

– А я из Союза писателей вышел, – говорил я.

– А я стал в нем секретарем, – говорил Курков. – Представляешь?

– Туда нам и дорога, – говорил я.

А Курков говорил:

– Надо за это выпить. Или не надо?

Мы выпивали, борясь между тостами с комарами. Женщины и дети давно ушли спать. Я говорил:

– Покойный Даур Зантария – между прочим, мой ровесник – как-то сказал: «Волнует меня только то, что может быть зафиксировано в истории». А меня волнует только то, что не может быть зафиксировано в истории. – Я все время норовил серьёзно поговорить с Курковым о литературе и прочей чепухе.

Курков меня стыдил:

– Да ну ее, эту литературу, в задницу! Ты еще про дискурс со мной говори. Или про парадигму.

– Нет, до дискурса я никогда не опускался, – говорил я, и мы выпивали. За Лизу, за Элю, за Тэо и Габи. За нас мы тоже выпивали и чувствовали, что за все это выпивать приятно.

Весь следующий день мы купались в пруду. Вечером ходили за целебной родниковой водой в лес, к капличке. Перед сном я читал Габи и Тэо сказки. И они их слушали. Когда привезенные из города русские книжки кончились, Габи принесла английскую.

– Я не умею читать по-английски, – сказал я.

– Да ты хоть попробуй, – сказала Габи.

Давно мне не было так легко и спокойно, так по-настоящему легко и по-настоящему спокойно. И я напрочь забыл, что в сумке у меня лежат анкеты, и что у Эли уже есть вызов, и что она меньше чем через год уедет. Я не вспомнил обо всем этом ни разу.

И, когда Курков, оставив Лизу и детей в Лазоревке, привез нас в Киев, чтобы проводить, тоже не вспомнил. Но это как раз немудрено – в таком все происходило темпоритме. До поезда мы успели: бегом погулять по Андреевскому спуску. Зайти в Дом Булгакова. В две галереи. В китайский ресторанчик. В голландскую пивную. В гости. И закончить гонку у Куркова дома, где выпили красного вина и где Курков играл на рояле и пел комсомольские песни из песенника. Сначала сам, потом в четыре руки и в два голоса с Элей, маршируя. Думаю, в этот вечер служащие американского посольства были в недоумении.

На коду Курков взял охотничий рожок, проникновенно сыграл «Шаланды, полные кефали» и проводил нас на вокзал.

В поезд мы прыгнули за минуту до его отправления.

И тут я вспомнил, зачем ездил в Киев.

#### *Глава 4. Это было летом – I*

А тридцатого августа годом раньше «Укрлитгазета» огласила на всю страну имена литературных счастливцев и баловней литературной судьбы. Тех, кому были присуждены литературные премии за прошлый год. Короленковскую премию выдали мне.

Сам я, правда, газету не читал. Мама тогда уже болела, лежала в девятке, и у меня не было ни времени, ни сил искать газету, которую не читает ни один нормальный человек и не продает ни один нормальный торговец. Думаю, тираж у этой газеты раз в пять меньше, чем число членов Союза писателей. По одному экземпляру на пятерых членов, значит. И они передают ее из рук в руки, как переходящее красное знамя времен социализма – за особые заслуги перед родиной и ее литературой.

Так что счастливую новость принесла мне на хвосте знакомая поэтка Люся Ярославка. Она позвонила – собственно, из местных она только и позвонила – и сказала в своем поздравлении, что жизнь я прожил не зря.

Ну ясно, не зря – раз в ней имело место такое знаменательное событие. Настолько знаменательное, что вся областная спилка, все пятьдесят

девять классиков областного масштаба, ломали себе головы – кто у меня в Киеве дядька и кому я заплатил. А главный областной письмэнник, тот вообще негодовал, призывая в свидетели всех святых и все областное управление культуры поголовно.

– Письмэнство области, – негодовал он, – его на соискание премии не выдвигало. У нас есть семнадцать достойнейших кандидатур, в том числе членов президиума.

– О чем это говорит? – спрашивало управление культуры.

– А говорит это о том, – объяснял управлению главный письмэнник, – что дело тут нечисто. Сначала он все московские журналы скупил на корню, и они десять лет подряд печатают все, что бы он ни накатал, а теперь и до Киева дотянулся своими лапами. Откуда у провинциального журналиста столько денег? Надо сигнализировать финансовым органам правопорядка, чтобы разобрались.

– У творческого представителя украинской интеллигенции никак не может быть столько денег – чтобы купить всех, – говорил заместитель главного областного письмэнника и его личный секретарь. – Поверьте моему опыту.

А главный областной письмэнник говорил:

– Так какой же он представитель? Таких, как он, представителей Богдан Хмельницкий в свое время... Да... славное было времечко. Я еще о нем напишу.

Все эти страсти передавали мне через третьи руки сами же письмэнники города и области, но я с удовольствием не обращал на них внимания. Только вздыхал – мол, ох уж эта мнѐ творческая интеллигенция, склонная к погромам.

А когда, месяца три спустя в отчетном докладе письменничьего съезда та же газета посвятила моей персоне сколько-то строк, то есть больше, чем всем областным членам вместе взятым, главный письмэнник области пришел к выводу, что у меня рука в администрации президента или на самый худой конец в кабмине. Пришел и как-то скис, спал с лица, и на носу у него вскочил волдырь.

Что до самой «Укрлитгазеты», то странная она. Сначала ругалась по моему адресу, как крановщица, потом меня же хвалила на чем свет стоит.

Несколько лет назад ей не понравилось то, что я написал в «Московских новостях» и наговорил русской службе радио «Свобода». Я не помню, что я написал и что наговорил, но думаю, это и неважно – не понравился сам факт публикации в москальских и иже с ними СМИ. За что «Укрлитгазета» поставила меня на место. Не пожалев для этой благородной цели одной своей полосы. Автор статьи – потомственный украинец из Кривого Рога, лет тридцать уже мучающийся в проклятой Москве (естественно, все эти годы в самых светлых своих мечтах он чаял вернуться на милую криворожскую родину, чтобы к ней припасть или в крайнем случае прильнуть), рассказывал украинству о том, какая я есть москальско-масонская сволочь, и заканчивал рассказ добрым мне советом, а также и пожеланием – убраться в свой Израиль, раз горячо любимая им из Москвы Украина меня чем-то не устраивает.

Что интересно, той газеты я не читал тоже. Ее читал мне по телефону вслух один национально озабоченный письмэнник-гуморыст. Читал взахлеб, в нужных местах наслаждаясь. Он вроде неплохо ко мне относился и был нормальным парнем, этот гуморыст, – только без чувства юмора. Но национализм и чувство юмора – две вещи несовместные, поэтому я на него не обиделся. И не только на него. Я ни на кого не обижаюсь. В худшем случае посылаю на х... и забываю о существовании посланного мною лица или коллектива.

Так вот о премии более, так сказать, детально. Премию я в конце концов не получил. Я имею в виду деньги. Диплом мне привез какой-то неизвестный мужик, по-видимому, тоже письмэнник. В ноябре он был в столице, и ему с оказией передали красные корочки. На которых только Ленина

тисненого не хватает. По возвращении мужик позвонил, я зашел к нему на работу, и он отдал мне эти корочки.

– А деньги? – спросил я.

– Какие деньги? – спросил мужик.

Я говорю:

– Премияльные деньги.

А он:

– Разве я вам булгахтерия?

Это была мысль.

Позвонить в бухгалтерию национальной спилки пысьмэнныкив особого труда не составляло и стоило не слишком дорого.

Бухгалтерия долго не могла сообразить, кто я, блин, такой и чего, блин, от нее хочу. Я раза три ей это объяснял. Она раза четыре переспрашивала, как моя настоящая фамилия и чью фамилию носит моя премия. Я уже думал, что погибну под ее расспросами. Но бухгалтерию вдруг осенило, и она сказала:

– Ага, ясно. Мы вам премию вышлем переводом. Сто шестьдесят гривен. Перевод за ваш счет. Ждите.

Сто шестьдесят гривен – это около тридцати трех долларов. В своей жизни я получал несколько премий. И все они были не слишком большими. Но такой небольшой получать мне все-таки не приходилось. Разве что в бытность свою инженером – за квартал и за внедрение новой техники. Думаю, самого Владимира Галактионовича – уж на что был бесребреник – размер премии его имени сильно обескуражил бы. Чего же требовать от меня?

– У вас есть мой адрес? – спросил я.

– Нету.

– Как же вы собираетесь посылать деньги?

Бухгалтерия думала дольше, чем принято думать в междугородный телефон.

– А вы мне его продиктуйте, – наконец придумала она.

Я продиктовал.

И забыл о премии, о бухгалтерии и обо всех пысьмэнныках всего мира. Мне было сильно не до воспоминаний о них, совсем не до воспоминаний. И в следующий раз я вспомнил о причитающихся мне бешеных деньгах только перед Новым годом. Получил от генерального пысьмэнныка всей Украины поздравительную открытку наступающим Рождеством – и вспомнил. Открытка начиналась словами: «Любый побратымэ!» (говорили, что на открытках женщинам стояло «люба посэстрэ!»).

Бухгалтерия опять не могла врубиться, кто я и чего мне от нее в канун праздника нужно. А врубившись, сказала:

– Вы уже столько ждали, так подождите еще. Третьего января мы вам отправим деньги переводом.

Что случилось третьего января, я расскажу. Что было потом – тоже. Но уже сейчас могу сказать твердо: чего в этом «потом» не было – так это денег переводом.

И последний раз мне вспомнились премияльные деньги в самом конце зимы, когда я уговорил врача провести маме курс химии на дому и нужно было купить препараты. Все-таки сто шестьдесят гривен – это была почти треть их стоимости.

Разговор с бухгалтерией выглядел примерно так:

– Когда я получу свои деньги? – сказал я.

– Сейчас, – сказала бухгалтерия, – на счету у национальной спилки пысьмэнныкив нет такой крупной суммы...

Я сказал:

– Сочувствую спилке от всей души. Но меня интересует, когда я получу деньги. Вы можете назвать дату?

Такой наглости бухгалтерия от меня не ожидала.

– Если будете требовать, – сказала она, – вообще ничего не получите.

Я от нее такой наглости тоже не ожидал. Поэтому отвечал несколько сумбурно и чуть грубее, чем следовало.

– В таком случае, – отвечал я, – возьмите мою премию – я вам ее дарю, – сверните в трубочку и засуньте в жопу моему любому побратиму.

Назавтра после этого разговора я отвез областному письмэннику заявление в форме извещения: «Ставлю вас в известность о своем выходе из Союза писателей». Дата и подпись.

Главный письмэнник области страшно моему заявлению обрадовался. Он даже потянулся меня обнять, а там, чем черт не шутит, и поцеловать в щечку. Мне тоже было приятно порадовать человека. Тем более сейчас. Когда все – в глаза и за глаза – над ним посмеивались. Так как на днях развернутая дискуссия о судьбах мировой культуры закончилась плачевно для его официального лица. Свободный художник Колочий при огромном скоплении культурной элиты города, а также и журналистов дал главному письмэннику по морде. Выразив тем самым общее мнение большинства культурных слоев областного центра.

Конечно, это нужно было сделать давно. В смысле, не по морде дать письмэннику (что тоже, впрочем, не помешало бы), а из его союза выйти. Хотя бы потому выйти, что я никогда в этот союз не входил. Меня приняли туда после путча, в Москве, в числе сотни других, так сказать, достойных и дозревших. И поскольку сломанная общесоюзная машина продолжала по инерции проворачиваться, бумага о моем приеме в писатели пришла из Москвы в Киев, а из Киева в область. Причем бумага была категорического содержания: «Поставить на учет нового члена», – и баста. Вот его, в смысле меня, и поставили. Если б не эта бумага, областные письмэнники меня к своей спилке на пушечный выстрел не подпустили бы. Да я бы туда и сам не сунулся.

Ну просто в голову бы мне не пришло туда соваться.

### *Глава 5. Двадцатое апреля. Сразу после шестнадцатого*

Смерть наступила двадцатого апреля. В двадцать две минуты восьмого. Около шести второй раз за ночь приезжала «скорая», и сонный врач в грязном халате сонно рассказывал, что скоро уже конец смены, и что морфия у него не осталось, и что к концу смены морфия обычно никогда и ни у кого не остается.

– Зачем тогда вы приехали? – сказал я. – Я ж объяснил диспетчеру, что нужно.

Врач не мог ответить мне – зачем он приехал. Поэтому он сказал:

– У меня, кажется, есть одна ампула. Но она из неприкосновенных запасов.

– Сколько? – сказал я.

Врач осмотрел желтые ногти правой руки и скучно возмутился:

– Что вы такое говорите? Кто же за морфий берет деньги?!

Он порывлся в своем саквояже, извлек ампулу.

– У вас шприц есть? А то шприцы тоже кончились.

Я дал ему шприц. Он сделал маме укол. Измерил давление. Послушал сердце.

– Давление низкое, – сказал он, – но она еще потянет. – И стал объяснять мне, что нужно колоть ей между уколами морфия.

Я кивал, мол, конечно, обязательно, но совсем его не слушал. Я видел, что ничего маме уже колоть не придется. Он – не видел. А я – видел. И это было ужасно.

Ужасно было и то, что я оказался прав. В двадцать две минуты восьмого она умерла. Слава Богу, не приходя в сознание. То есть не ощутив нового приступа боли.

Ира взяла ее руку и сказала:

– Всё. Кажется, всё.

Те же самые слова три года назад мама сказала нам с Ирой, когда умер отец. Я их запомнил.

А шестнадцатого у мамы был день рождения. Последний день рождения в ее жизни. То есть день рождения был и у нее, и у отца. Только отец три года назад умер. А она еще нет. И два последних года она просила, чтобы ее не поздравляли, поскольку поздравлять ее теперь не с чем. Мы обязательно ходили в этот день к отцу. А сегодня к нему ни я не пошел, ни она.

Я принес маме букет. Налил в вазу воды. Поставил цветы на стол, и они стали пахнуть на всю квартиру.

– Это тебе, – сказала я. – Я хочу, чтобы ты выздоровела.

– Спасибо, – сказала мама. – Я тоже хочу. Но не получится. Надо умирать.

– Кому надо? – спросил я.

– Папа дожил до семидесяти восьми, и я дожила. Как обещала. Хватит.

Она действительно, уже будучи совсем больной, говорила, что до семидесяти восьми доживет, а больше нет. Говорила не один раз. Как будто точно это знала. А я говорил, что не надо подсказывать Богу, как ему себя вести и что делать. Он сам знает, кому хватит, а кому не хватит.

Да, я так говорил, но очень было похоже, что кто-то ведет маму к могиле упрямо, прямой дорогой. А кто еще может туда вести?

Началось все безобидно.

– Что-то мне глотать больно, – сказала мама.

– Выпей чего-нибудь, – сказал я. – Или пополощи горло.

Она заваривала траву, пила чай с лимоном. И вроде горло болело меньше. С чего вдруг оно заболело у нее посреди теплой весны, никто не задумался.

В начале лета у мамы вздулись лимфоузлы. И она забеспокоилась. Потом они исчезли. Она успокоилась. Потом снова вздулись. И она, видно, заподозрила нехорошее. Зачем-то же она поехала на Космическую.

Там врачиха – злая от безмужья тридцатилетняя баба – заглянула ей в рот и сказала открытым текстом:

– У вас рак миндалин. Это как минимум.

Оттолкнув ее, мама вышла из кабинета. Она была в свое время хорошим врачом и понимала, что это такое. Но или не поверила хамоватой врачихе, или решила проверить диагноз. Поставлен-то он был на глаз. Врачиха даже анализ крови не посмотрела, который был у мамы с собой. И мама пошла в девятку. Там работал ее старый знакомый. Она говорила:

– Лапшин – очень хороший лор. Я ему верю.

Очень хороший лор сказал:

– Чушь, нет здесь ничего подобного. – И лечил маму больше двух месяцев.

Она уверяла меня, что ей становится лучше. Но потом этот очень хороший лор сказал, что все идет очень хорошо, тем не менее онкологу показаться стоит. Он дал маме направление к кандидату меднаук, заведующему поликлиникой онкоцентра. Он даже позвонил ему как коллега коллеге.

К кандидату я пошел тоже. Сунул ему вместо «здрасьте» полсотни. Кандидат положил деньги в специальный ящик и назначил обследование. УЗИ нужно было ждать три недели.

Кроме того, он отвел маму все к той же злой тетке, и она подняла страшный крик:

– Я же сказала вам, что у вас рак. Где вы шлялись больше двух месяцев?

Она посмотрела маме в рот и снова завопила:

– Это преступление! Летом все было поправимо...

Мама встала с кресла и сказала заведующему кандидату:

– Я к этой хулиганке больше не пойду. Есть у вас другой лор?

– Другого лора у нас нет, – сказал заведующий кандидат. – Но вы успокойтесь, она прекрасный диагност.

Маме от этого было не легче. Пожалуй, наоборот.



Обследование тянулось еще месяца полтора и все подтвердило. Маму положили в отделение химиотерапии.

Лечащий врач сказала:

– Лимфосаркома в вашем возрасте часто поддается лечению.

– А у меня лимфосаркома? – сказала мама и посмотрела на меня. Результаты биопсии из лаборатории забирал я.

– Злокачественные клетки есть? – спросила она, когда я пришел домой.

– Они сами точно не знают, – сказал я. – В одном анализе есть, а в другом – нет.

Собственно, так оно и было. Единственное, что я утаил, – это само слово: лимфосаркома. И даже не утаил. Мама не спрашивала, о каких именно злокачественных клетках идет речь, а я не уточнял.

Врач посмотрела в направление еще раз и сказала:

– Да. Тут так написано.

– Ладно, – сказала мама. – Нужно же мне от чего-то умирать.

До Нового года маме провели три курса. И сначала химия вроде бы помогла. У нее не только лимфоузлы стали нормальной величины, но и все родинки с лица исчезли. А их к старости появилось много. В следующий раз я должен был отвезти ее на Космическую девятого. А до того времени ей дали от лечения отдых.

Мама сама накрыла новогодний стол.

– Для кого третий прибор? – спросил я.

– Для Эли, – сказала мама.

– Эля не придет, – сказал я. – Если она уйдет в новогоднюю ночь, ее сын этого не поймет.

– Хорошо, – мама убрала третий прибор в шкаф, – посидим вдвоем.

Посмотрим телевизор.

Я выпил. Закусил. Мама тоже что-то ради праздника съела.

Звонил Колючий и желал, чтобы мама в новом году выздоровела.

Звонили и другие. Желали все одного и того же, все – несбыточного.

А после звонка Эли я ушел спать. Мама тоже легла. Такая у нас, значит, получилась веселая встреча Нового, 2002 года от Рождества Христова.

И наступило третье января этого года.

Я ушел из дому. Ненадолго. Я хотел только поздравить свою знакомую – мы вместе работали. У нее родились две внучки. От нее я сразу позвонил домой. Телефон не отвечал. Я позвонил еще. Опять много длинных гудков. Наконец мама ответила.

– У тебя все в порядке? – спросил я.

– Да, – сказала мама, – только я упала. Но ты не торопись. Ничего страшного.

Я подумал и сказал:

– Хорошо, походи в мою комнату и возьми трубку радиотелефона, положи ее рядом с собой. Я буду позванивать.

– Не знаю, – сказала мама. – Встать с пола я не могу и доползти, наверно, не смогу. Далеко. Я и так еле добралась из ванной.

Тут мне стало понятно, что дело плохо. И я побежал ловить такси.

Мама лежала в своей комнате на ковре, свернувшись у кресла. На кресле стоял телефон. Трубка, натянув шнур, лежала на полу.

Я поднял маму и понес к дивану.

– Осторожно ногу, – сказала она. – Бедро.

– Ты сломала шейку бедра? – спросил я.

– Нет, – сказала она. – Я себя ощупала. Нога цела. Просто сильный ушиб.

– Ты уверена?

– Уверена.

Позже она рассказала, что, заперев за мной дверь, пошла в ванную, споткнулась о коврик и упала.

Значит, на полу она пролежала не меньше часа.

– Зачем ты пошла в ванную? – спросил я.

– Не знаю, – сказала мама.

А коврик мы купили с Элей. Буквально накануне. Шли по городу, увидели магазин ковровых покрытий, зашли и купили. Чтобы из ванны вылезать было не так холодно и не так скользко.

К сожалению, мама ошиблась. Ногоу она сломала. Причем именно шейку бедра. Это выяснилось через месяц. Я привез домой ее врача с Космической. О боли в ноге она мне сказала:

– Это могут быть метастазы. Курс долго оттягивать нельзя. – Она посмотрела мамины бумаги. – И так уже больше месяца просрочили.

– Что нужно делать?

– Для начала рентген.

В районной поликлинике сказали:

– Сейчас нет пленки. Дней через десять привозите.

– На чем я могу ее привезти? У вас карета есть?

– Мы поликлиника, – сказали мне, – а не «скорая помощь».

Я позвонил в больницу, где мама проработала полжизни. У них пленка была и была карета. Мы с сыном погрузили маму на носилки, поставили их в машину и поехали. В больнице выгрузили и отнесли в рентген-кабинет. Мама совсем ничего не весила.

– Это шейка бедра, – сказал рентгенолог, только положив маму на стол. – Никаких сомнений.

А я заставлял ее ходить с палкой, говоря: «От ушиба еще никто не умирал. Зато от саркомы – сколько угодно». Я надеялся, что она расходится и ее можно будет отвезти на Космическую – провести очередной курс химии. Я думал, это ушиб.

Мама меня слушалась. Ходила по комнате с палкой, опираясь еще и о мою руку. Как она становилась, как шагала поломанной ногой, я до сих пор не понимаю. Но становилась и шагала...

С таким переломом в онкоцентр не брали. Я ездил туда несколько раз, но добиться ничего не смог. Тогда я стал уговаривать врача провести курс химии дома. Уговаривал долго и упорно. Она долго и упорно сопротивлялась, говоря, что бесплатные лекарства тем, кто не лежит в центре, не положены, что мне самому придется покупать дорогие препараты, что это риск и что ей не хочется идти под суд. Много раз объяснив, какой это риск и как ей не хочется под суд, она согласилась. И сделала все, что можно было сделать в мамином случае и в наших условиях.

А в памяти у меня засело, что бутылки с физраствором для капельницы она привязывала к швабре.

Два курса не помогли. Маме становилось хуже.

Звонила бывшая жена. Спрашивала, как мама. Я говорил:

– Умирает.

– Ты не преувеличиваешь? – спрашивала бывшая жена.

– Ира, я преуменьшаю, – отвечал я.

Спасибо, она поверила и стала приходить. Вполне могла не верить. Эля тоже приезжала из своего Верхнедзержинска. В основном по пятницам. Приехав девятнадцатого утром, она сказала, что сегодня ей нужно вернуться. Зашла к маме, побывала с ней, вышла в мою комнату.

– Поезжай на кладбище, пусть роют могилу.

– Ты рехнулась? Она жива.

– Она хочет лежать рядом с отцом?

– Конечно.

– Тогда делай, что говорю. Чтобы вырыть могилу вручную, нужно время. А держать тело дома будет нельзя.

Сам я такого решения принять ни за что бы не смог. И слава Богу, что его приняла Эля. Мне оставалось только подчиниться. И позвонить безотказному Шурику.

– Ты можешь приехать? – сказал я.

Безотказный Шурик сказал, что сейчас он едет выдавать людям командировочные, так как вечером они уезжают в Сумы.

– Шурик! – сказал я. – Очень надо.

Он сказал:

– Хорошо. Я уже сворачиваю на мост.

Дальше Шурик все делал сам. Сторговался с могильщиками, заехал в гостиницу «Патриотическая», заказал в ее кафе поминальный обед.

– На когда? – спросила администраторша кафе.

– На когда, я скажу позже, – ответил Шурик. – Но будьте готовы на завтра.

После нашего возвращения Эля уехала. А я позвонил бывшей жене.

– Ира, – сказал я. – Ты можешь прийти?

– Слушай, я очень устала. Попроси сегодня кого-нибудь еще.

Так мы остались с мамой вдвоем, и мама начала умирать.

Она уже явно не понимала, что говорит.

Чаще всего она говорила: «Дай, я тебя обману». И протягивала ко мне руки. Я наклонялся к ней, и она меня обнимала. Каждые пять минут она просила пить. Чего не делала уже двое суток. Я подносил ей ложку к губам, а она сжимала их и мотала головой. Потом стала бить рукой по матрасу и кричать: «Нет, так я не хочу». Видимо, боль становилась невыносимой. Я сделал ей два укола трамадола. Они не помогли.

В одиннадцать позвонила бывшая жена.

– Что там у вас?

– Ира, ты же знаешь, что...

– У тебя кто-то есть?

– Кто?

– Так ты один?

– Один.

Через полчаса она приехала. Я сказал ей «спасибо». Она сказала «да ладно».

## *Глава 6. Месяц после двадцатого*

Как он прошел, этот месяц после двадцатого апреля, я не помню. Со всем не помню. Может, быстро, может, медленно, а может, еще как-нибудь. Я его упустил, не заметил. И не смогу сейчас вспомнить из этого месяца ничего, даже если напрягу все остатки своей памяти. Никаких событий. Помню только – я не мог отделаться от ощущения, что нужно позвонить домой. Мне все время навязчиво казалось, что это обязательно нужно сделать. И сделать немедленно. И я все время должен был себе напоминать, что дома у меня никого нет и что звонить мне некому. В тот месяц у меня даже кошки не было. Потому что она еще не родилась.

День, с которого я опять все помню, – это двадцатое мая. В этот день Эля приехала на семинар. И неделю мы провели вдвоем. Так сказать, по-семейному. Готовили общую еду, ходили вместе в магазины, возвращались домой – я с работы, она с занятий. Здоровались со старухами у подъезда. Старухи нам наперебой улыбались, а за спиной перешептывались и строили догадки: Эля – это моя новая жена или так, временная подруга на черный день.

Нам с Элей нравилось, что они о нас сплетничают, и мы им давали для этого сколько угодно поводов. То пригласили к себе моего сына, то Эля приехала вдвоем с моим приятелем Стекловым – телеведущим, которого

все узнавали. А я появился через час и с другой стороны. Потому что в тот день освободился позже, чем рассчитывал. Старухи с замиранием сердца ждали, что будет, когда я войду в квартиру и застану там Элю со Стекловым. Но ничего не было. Старухи наших принципов мирного сосуществования постичь не могли и понемногу в нас разочаровывались.

В субботу мы проснулись поздно. Всю неделю Эля вскакивала в семь утра и бежала на свой семинар. Обогащаться иностранным опытом. Но вчера семинар закончился, и сегодня она валялась в постели обогащенная. Настолько, что никак не могла окончательно проснуться.

Часов в одиннадцать мы все же позавтракали. Я позвонил в Москву. Поздравил Игоря с днем рождения. Пожелал ему всякого и разного. Сказал: «Не забывай, что ты какая-никакая, а совесть нации, береги себя». Игорь клятвенно обещал беречь и не забывать. Спрашивал, как я и что. Я говорил, что не слишком, конечно, но уже лучше.

– Что у тебя теперь с Ирой? – спрашивал Игорь.

– С Ирой теперь у меня ничего, – отвечал я.

– А с кем у тебя теперь?

– Теперь у меня с Элей. Привет тебе от нее с пожеланиями.

Пока я звонил, Эля начала собирать свою дорожную сумку. Это всегда грустное занятие – собирать сумку. Когда едешь куда-то – еще ничего, а когда уезжаешь... И нам от вида дорожной сумки и ее внутренностей стало грустно. Мне – еще грустнее, чем Эле. Потому что грустнее, чем уезжать, – только оставаться. А я оставался. Оставался один. Один в пустой квартире.

Обедать мы пошли в парк Глобы имени Чкалова. То есть этот парк всегда назывался «Чкалова», потом его переименовали в парк Глобы. Памятник Чкалову у входа – оставили, памятник Глобе – доустановили. Получился гибрид – парк Глобы имени Чкалова. Кто такой Чкалов, теперь уже мало кто помнит, кто такой Глоба – мало кто знает. Большинство населения подозревает, что это астролог, мотающийся по всему бывшему СССР с гастролями, в ходе которых предсказывает конец всему. Чем собирает стадионы и дворцы спорта. Знатоки-краеведы утверждают, что Глоба – это украинский казак по имени Лазарь, у которого был на этом месте садок вышнэвый билиа хаты размерами с парк Чкалова.

А ныне здесь излюбленное место отдыха трудящихся и праздных горожан, а также гостей моего города.

Мы в этом излюбленном месте купили сковородку мяса и два пива. Сидели за столиком, ели острое жаркое, грелись на майском солнце и говорили о необязательном. Целовались.

– Ну прямо как молодые, – говорил я.

– А я и есть молодая, – говорила Эля.

– Да, – говорил я. – Если сравнивать со мной, ты юница.

Эля на мое беззлое хамство сердилась. Но так, для проформы.

Телефон у нее зазвонил, когда мы уже брели по бульвару. Я тащил на себе ее сумку. Ремень резал плечо. Эля шла чуть впереди, покачивала бедрами. Двигались мы в сторону вокзала. Потому как с вокзала отправлялись маршрутки в Верхнедзержинск.

Эля прижала трубку к уху, послушала и спросила:

– Когда?

Потом сунула телефон в сумочку.

– Что-нибудь случилось?

– Мишка звонил.

– И?

– Вызов пришел.

Естественно, я тоже спросил:

– Когда?

– Вчера, – сказала Эля.

Не знаю, почему мне это взбрело в голову, но я сказал:

– Значит, в день рождения Бродского.

Эля промолчала. А я сказал:

– Видно, полоса такая пошла, поэтическая. Дни рождения поэтов следуют один за другим. А мы тем временем живем сами по себе. По своим, так сказать, канонам и правилам.

– При чем здесь дни рождения поэтов? – сказала Эля.

А я сказал:

– Ну как же? Сегодня вот Игорь родился, вчера Бродский.

Идея уехать принадлежала мужу Эли. Пять лет назад (когда о моем существовании Эля не знала даже понаслышке) он подбил ее взять анкеты. Ей уезжать не хотелось. А уехать без нее ему не позволяло арийское происхождение.

– Зачем тебе это? – спрашивала Эля. – Тебе, по-моему, и здесь неплохо.

– Неплохо, – говорил муж. – Но томища. А мне свободы хочется. Я свободу передвижений имею в виду. Чтобы вся Европа под ногами. Включая Париж и страны ближнего Бенилюкса.

Своими еврочетами он проедал Эле плешь до тех пор, пока она клятвенно не пообещала его вывезти. Подумала: «Почему бы и нет? Мишке там должно быть лучше, а я перестану зависеть от мужа материально». Надоело ей к тому времени от него материально зависеть. Сильно он все-таки был прижимист, хотя, конечно, и широк душой.

Да и ни к чему эти анкеты никого не обязывали. Можно было их взять и подать документы, а потом, если что, не поехать, остаться. По нынешним временам все это можно. «Свобода, ...ля, свобода, ...ля, свобода».

Так что Эля съездила в посольство, взяла анкеты на всех, и ко времени просто жизни у нее прибавилось время ожидания отъезда. Причем время просто жизни все так же бежало и даже летело, а время ожидания, как и положено, тянулось. Два года прошло, пока документы у них приняли, и три – не было из посольства ни слуху ни духу. Эля уже думала – отказали. И совсем перестала вспоминать, что собирается валить. Она и мне об этом сказала вскользь, к слову. Когда общие друзья посвятили нас в свой, точно такой же замысел.

А тут, значит, пришел вызов. Все-таки пришел. Не отказали.

Мы пошли чуть быстрее. Старые акации стояли вдоль бульвара шпалерами. Они закрывали от нас солнце, и нам не было жарко.

До отъезда Эли был у нас еще год. Это максимум.

Когда он пройдет, мэр (в городе его называли мэрваська) вырубит все эти акации и продаст их шашлычникам на дрова.

Эля уедет.

И хорошо, что она не увидит, как будут уничтожать бульвар. Уж очень она его любила.

## Глава 7. Старые акации

А уничтожали не только бульвар, не только акации, постепенно уничтожали город. Хочется сказать «планово уничтожали», но это не так, это неправда. Его уничтожали хаотически. Без какого бы то ни было плана, без какой бы то ни было стратегии или простейшей тактики.

Уничтожали, даже когда что-то возводили, даже когда пытались окультурить. То построили смешной конфигурации домину, которую горожане тут же обозвали мошонкой, то поставили памятник академику, изобразив его босиком и в ночной рубашке.

А однажды мы с художником Колючим обнаружили совершенно новую, не известную нам, городскую достопримечательность. Тоже памятник. Он был тихо, без шума и лишней помпы, поставлен соратниками ка-

кому-то генералу ВДВ. Изготавливали монумент, судя по всему, умельцы-дембеля в ремонтных мастерских ближайшей десантной дивизии.

Художник Колючий сделал вокруг генерала два витка, а на третьем упал на землю и стал по ней кататься. Кататься в припадке нездорового хохота.

– Смотри! – кричал хохоча Колючий. – Смотри.

Я посмотрел. Фигура генерала была сложена из трех отливок, стоявших одна на другой, как шары снеговика. Между собой отливки связывали толстые швы аргонной сварки. А больше ничего необычного и тем более смешного в памятнике я не увидел: мужик в сапогах шестидесятого размера, поверх сапог – штаны с наварными лампасами, выше – генеральская шинель, еще выше – фуражка. Из спины у генерала торчало нечто волнообразное. При этом, как водится у наших памятников, взглядом он упирался в даль.

– И чему ты радуешься? – сказал я. – Жуть какая-то.

– Это парашют! – кричал Колючий. – За спиной у него – парашют.

– Ну и что?

– А то! Что этот генерал по замыслу скульптора прыгал с парашютом в фуражке, в шинели и в штанах с лампасами. Видишь лампасы? Видишь?

Пока мы осматривали генерала с его лампасами, вокруг нас собралось много больших, тяжелых мужчин. На их животах и ляжках трещала ставшая тесной военной форма, береты были сдвинуты на затылки. Из-под них дыбились чубы и залысины. Мужчины окружали нас и нехотя молчали.

– Кажется, сегодня День воздушно-десантных войск, – сказал я Колючему.

– Да? – сказал Колючий. Он вскочил и огляделся: – Бежим, убьют!

Мы рванули к центру. Бывшие десантники толпой рванули за нами. И, конечно, в любой другой день они бы легко нас догнали. А в этот – не догнали. Потому что все они были пьяны. Чрезмерно, слишком пьяны. Все-таки напиваться до такой степени десантники не должны, даже если они бывшие десантники. Но они всегда напивались в свой день именно до такой степени. И это дало нам счастливую возможность уйти от них дворами, а на проспекте нырнуть в литмузей – там на вахте сидел постовой с пистолетом и в бронежилете.

Оказавшись в безопасности, художник Колючий сел на своего конька – что это все не так смешно, как кажется, что это и есть общий уровень нынешней культуры, что даже при коммуниках он был выше – и все то же все в том же духе.

Музейные ему сначала сочувствовали, потом заскучали, и одна из них сказала:

– Шура, какой уровень, о чем ты? Вчера, на открытии выставки Макса Волошина, подошла ко мне журналистка с областного ТВ. Говорит: «Елена Васильевна, если честно, я не знаю, кто такой Макс Волошин, но мне надо сделать сюжет о выставке. Помогите, пожалуйста». Я смотрю, девочка честная, вежливая – стала перед камерой и давай ей рассказывать. Мол, серебряный век русской поэзии, дом Волошина, Коктебель, Цветаева, Алексей Толстой, пятое-десятое. Девочка все это внимательно выслушала и говорит: «Спасибо, вы так меня выручили. А нельзя ли теперь поговорить с самим художником?» – Научная сотрудница тяжело вздохнула, и ее тяжелая грудь тяжело поднялась и тяжело опустилась на место. – Так она же университет окончила. А ты говоришь «десантники»!

Я часто жалею, что многие из тех, кто любит город, не могут из него уехать. Уехать именно для того, чтобы не видеть, что с ним творят его же горожане и что творится с самими этими горожанами.

Нет, серьезно – от десантников хоть убежать иногда можно. А куда ты денешься от областного телевидения? Или от мэраваськи? Вернее, я-то денусь, а город? Город целиком и полностью в их руках. Именно поэтому дома, который строил брат Достоевского, теперь нет, именно поэтому гостиницу в стиле украинского барокко скрестили с, извините за выражение, плазой, именно поэтому добрались до бульвара с его акациями.

Художник Колючий всю свою жизнь бесконечно рисовал эти акации. Всю жизнь – одни и те же акации. Весной, летом, осенью, зимой. Маслом, карандашом, тушью.

Когда их попытались спилить впервые, он восстал, обзвонил все теле-студии и дал им на фоне обрубков интервью.

– Это же янычары! – кричал он в микрофон. – Они все уничтожат. Они хотят, чтоб я тут никогда не гнезвился.

Телевизионщики, конечно, прикрыли себе зады – выслушали и другую точку зрения. И с этой другой точки туповатый дядя из зеленостроя объяснил им, что никто ничего не уничтожает, что акации, наоборот, путем спиливания омолаживаются. И все тут по науке.

Художник Колючий посмотрел в новостях сюжет и понял, что ничего его крики не дали. Он подстерег мэра, когда тот приехал на работу, ворвался к нему в лифт и в лифте все объяснил – и про новых янычар, и про уникальность старых акаций, и про то, что он до президента с «Гринписом» дойдет, не поперхнется.

И надо сказать, ему удалось оттянуть расправу. Акации оставили в покое на целый год. Чем этот год топили шашлычники свои мангалы, неизвестно. Но теперь все уже в порядке и у них нет недостатка в топливе.

А художник Колючий мне теперь говорит:

– Уезжай отсюда, уезжай! Ты ж знаешь, мне очень жалко, что ты уезжаешь, но ты все равно уезжай. Пока у тебя есть такая возможность.

### *Глава 8. Понты*

Скажите, любите ли вы понты так, как люблю их я? И знаете ли, что вообще это такое – понты? Тем, кто не знает, я скажу. Понты – это жизнь. Жизнь определенной части людей, населяющих постсоветское пространство от края до края и от Владивостока до Кушки. Хотя, я думаю, что понты играют важнейшую роль в жизни населения всей планеты. Так как без понтов очень многие люди из числа населения чувствуют себя в жизни скучно. Скучно и противно. Зато с понтами они ощущают свою значимость, переоценить которую трудно, а то и невозможно. Во всяком случае, так им кажется.

Он позвонил в час ночи и назвал пароль:

– Я по объявлению.

– По объявлению? – Со сна я решил, что опять какая-нибудь «Бесплатно все и всегда» по ошибке напечатала мой телефон в разделе «Он ищет его» и теперь недели две жить дома будет невозможно.

– Ты меня не понял, – сказал он. – Я! По! Объявлению! Это, пала, пароль.

Тут я быстренько все вспомнил и, презирая себя за участие в этой худ-самодетельности, произнес отзыв:

– Я не даю объявлений.

– В десять, пала, у фонтана, – сказал он.

– Как я вас узнаю?

Он захохотал.

– Я сам тебя, пала, узнаю.

– А мы что, уже с вами на «ты»?

– Не знаю, как ты, а я со всеми на «ты».

Похоже, я таки влип. Столько лет избегал я черной работы! Столько лет блюл свою (почти чистую) профессиональную совесть! Я и сейчас бы ее соблюл, если б мне так остро не понадобились деньги. Все-таки нормальные люди с совсем пустым карманом не уезжают. Да еще в моей ситуации. А тут они сами шли ко мне в руки, деньги. Конечно, такие ребята могли и кинуть, не заплатив за работу. Против них же не попрешь. Но тут я, как мог, подстраховался. Сказал:

– Только условие: платить каждую неделю. Вы получаете то, что я за неделю сделал, я получаю то, что заработал.

– Не, так не пойдет, – сказали они, посоветовавшись прямо в моем присутствии. – А вдруг ты фуфло сгоняешь? Ты учти, Шеф все, что идет от его личного имени, сам читает. Своими глазами. Так что представишь все по утвержденному прайсу: детство, отрочество, юность и зрелость. Он даст добро – получишь бабки. Не даст – будешь писать до тех пор, пока даст. Но срок – до декабря. В случае каких-нибудь форсмажоров – до Нового года.

В конце концов договорились до того, что я получаю пятьсот зеленых ежемесячно. А окончательный расчет – после того, как заказчик примет всю работу целиком.

Меня это устраивало. Пахать тут никак не меньше полугода. Даже если упираться и рвать на себе жилы. Значит, помесечно я вытасу из них три тысячи. И, значит, не заплатит у них будет возможность всего только полторы. Потому что сошлись мы на четырех с половиной. Хотя я просил пять. Мой московский приятель, который все это мне и подсуетил, сказал: «Проси пять. Больше не дадут. Эти олигархи – жлобы редкие. И самые из них редкие те, что из тени собираются выползать на свет. Собираются, но не хотят».

Он знал, что говорил, мой московский приятель. Мне они и пять не дали, сказали, что бюджет проекта (ну везде у них теперь проекты с бюджетами!) предусматривает четыре с половиной. Возможно, остальные пять или десять они взяли себе. Я-то ни их бюджета, ни их олигарха никогда не видел. Даже по телефону с ним в процессе работы не говорил. Один раз имел честь и удовольствие общаться с московскими шестерками, дальше – с двумя идиотами, представлявшими его олигархические интересы у нас в городе.

И только когда я все закончил, он наградил меня радостью личного телефонного общения.

Сначала я не мог себе объяснить – почему они решили эту работу отдать мне. Что, в Москве мало специалистов, способных сделать ее так, как я, и гораздо лучше?

– В Москве таких специалистов немало, – сказал мой московский приятель. – Один из них я. Но я возьму за такую книгу, минимум, пятнадцать, а не пять. А этот урод за пятнадцать на Красной площади удавится.

– Ага, значит, ты предлагаешь мне демпинговать. А что скажет антимонопольный комитет?

Приятель шутку не оценил.

– Короче, твой телефон и самые лучшие рекомендации они получили, а там поступай, как знаешь. Но учти, в какой-нибудь Беларуси или Молдове им за штуку то же самое сделают с дорогой душой.

В общем, я согласился. Теперь передо мной стояло несколько задач: написать жизнеописание этого сраного олигарха, получить оговоренные деньги (а значит, удержать втайне свой скорый отъезд. Если они о нем узнают – фиг я что получу) и попасть в Германию до дня рождения ребенка. Чтобы увидеть Элю беременной.

Часть этих задач я решил. Часть нет...

В нашем городе фонтан – это место встреч. Как в когдатошном ГУМе. Только у нас фонтан спокон века не работает, не бьет то есть. У нас сухой фонтан. И у этого сухого фонтана встречаются все – алкаши, панки, проститутки разной степени сложности, депутаты с клиентами.

Ко мне у фонтана подошел человек вполне приличного вида. Такой аспирант-отличник, только без очков в тонкой оправе.

– Это вы мне звонили? – В моем тоне явно слышалось удивление.

Аспирант улыбнулся.

– Нет, звонил мой помощник.

Я тоже улыбнулся.



– Референт?

Аспирант улыбнулся шире.

– Итак! Суть проекта...

Нет, ну почему все у них теперь называется «проект»? Ну любое говно!

– А как вас зовут? – перебил я аспиранта. – Надо же мне как-то вас звать.

– Зовите меня Аспирант, – сказал он.

– Вы шпион?

– Все мы в этой жизни шпионы. В некотором, конечно, роде.

Звучало это глубокомысленно. Но глупо. Ничего глупее я еще никогда не слышал.

– Итак! – Он очень любил слово «итак», он просто был от него без ума. – Вы под расписку получаете пакет документов о жизни и деятельности Шефа. Пишете главу или две – это на ваше усмотрение. Файл называете «Книга 2003» плюс порядковый номер. По воскресеньям мы согласно перечню принимаем у вас отработанные документы. Под расписку выдаем следующий пакет. Записываем файл на диск, и вы удаляете его из своего компьютера. В нашем, уж извините, присутствии.

– Вы что, будете жить в моей квартире?

Аспирант улыбнулся.

– В вашей квартире жить – нельзя.

– Да? А я живу... Пойдите! А откуда вы знаете – можно или нельзя? Вы что, бывали в моей квартире?

Аспирант опять улыбнулся.

– Конечно. Мы обязаны были всесторонне проверить, что вы за птица.

– Но у меня же там две двери. Замков четыре штуки, кошка в конце концов.

Аспирант снова улыбнулся.

– Надеюсь, у вас ничего не пропало?

– Не знаю. Надо посмотреть.

– Посмотрите. А то вы себе не представляете, с кем иногда приходится работать.

– А с кем мне приходится! Вы бы только знали.

– Итак! Вам все ясно?

– Все. Но я же могу оставить копию файла себе.

Аспирант улыбнулся.

– После удаления мы пройдемся по жесткому диску поиском.

– А если я файл переименую? Или положу на свой сайт в Сети? Или отошлю по электронке в любую точку земного шара?

Аспирант улыбнулся. И держал улыбку с минуту.

– Неужто в любую? По-моему, вы преувеличиваете возможности так называемой Сети.

Он не понимал, что несет полную ахинею. Он был уверен, что у него все продумано до мелочей и тайна вкладов гарантирована.

– Я не советую вам всего этого делать, – сказал Аспирант. – Иначе с вами будет разбираться мой помощник.

– Тот, который референт?

Аспирант выразил недовольство моим отношением к проекту – он поморщился.

– Вас же предупреждали. Никто не должен знать, кто на самом деле писал книгу. Полная секретность. К слову, методика обеспечения секретности разработана СБШ в Москве. А там не дураки сидят.

– Это я уже понял. Что такое СБШ?

Аспирант улыбнулся:

– Служба безопасности Шефа. Шеф методику лично одобрил. Вам это о чем-нибудь говорит?

– Ладно, – сказал я. – В смысле, итак. Когда я получу документы?

– Сегодня в двенадцать. Вам удобно?

– Сегодня мне удобно в любое время. Все равно день пропал.

Ровно через час после двенадцати у моего дома остановился джип. Настоящий внедорожник, на каких ездят по прериям и джунглям. Из него головой вперед вылез типичный, классический пацан размером с памятник. Вошел в мой подъезд. Когда в дверь позвонили, я открыл, не задавая лишних вопросов.

– Здорово, – сказал пацан, и я узнал его голос. Ночью звонил мне он. – А мой помощник разве не у тебя?

– Кто у вас помощник?

– Как кто? Этот... Аспирант. Он обещал, пала, быть в двенадцать.

– Мне тоже обещал. Скажите, а как вас зовут?

Пацан задумался на всю свою голову.

– Меня? Меня. В этом проекте меня зовут Штангист. – Он прошел в спальню. – Слушай, как тут можно жить, пала? Ты когда ремонт делал?

– Ремонт делал сосед сверху одиннадцать лет назад. Когда залил квартиру горячей водой. Тогда еще горячая вода была. А он к мойке шланг прикрутил своими руками, которые у него не совсем оттуда растут. И гайку сорвало. Ремонт сосед делал теми же самыми руками.

– Да, руки у твоего соседа, пала... А давай мы их ему в дверь заложим – пальцами.

Предложение показалось мне симпатичным, но я его не принял.

– Не надо, пусть будет как есть. Вы лучше работу давайте.

– Работу Аспирант принесет.

– А где Аспирант?

Штангист прикидывал, смотрел на часы, пожимал бровями, но так ничего и не прикинул.

– Хрен его знает, этого Аспиранта. Он всегда, пала, опаздывает. Даже в сауну, даже в кабак, даже к девкам.

В половине второго на такси приехал Аспирант.

– Извините, дела, – сказал он.

– Да какие у тебя в х... дела? – сказал Штангист.

Аспирант улыбнулся.

– Итак.

Он вытащил из кожаного портфеля кожаную папку. Открыл.

– Пятьдесят восемь страниц. Удостоверьтесь и распишитесь. Вот здесь.

Я пролистал папку. Расписался. Аспирант снова полез в портфель и вынул мобильный телефон.

– Это вам.

– Зачем? У меня есть.

– Этот – на время осуществления проекта. В его памяти два номера – мой и моего помощника.

– Это кто у тебя помощник? – вмешался Штангист. – Это я у тебя, пала, помощник? – Штангист захохотал.

Аспирант улыбнулся.

– Если будут вопросы, звоните. Если будут вопросы у нас, позвоним мы. Для других целей этим телефоном, пожалуйста, не пользуйтесь.

Он вызвал такси.

– На хера тебе такси? – возмутился Штангист. – Я ж на тачке!

– Мне в другую сторону, – сказал Аспирант и откланялся.

А Штангист остался и предложил мне как следует выпить. Я сказал, что у меня теперь очень много работы. Если выпивать – в сроки могу не уложиться.

Штангист обиделся:

– Ну у всех, пала, понты. У одного дела, у другого срока. А народ страдает.

Он ушел по-английски, не прощаясь и по-русски матерясь, завел свой джип, отъехал и затерялся среди других таких же джипов в дебрях каменных джунглей.

### Глава 9. Путь на запад начинается с востока

За несколько дней до того, как я подрядился писать книгу от имени Шефа, кончился год, отпущенный нам с Элей германским командованием. И Эля двадцать пятого мая уехала. В день рождения Игоря, кстати. Игоря и моей кошки. Кошка тоже родилась двадцать пятого мая. Только кошка – год назад, а Игорь – гораздо раньше. И я о нем в этот год забыл. Потом уже вспомнил, позвонил, но дома никого не застал, а говорить с автоответчиком у меня не получается.

Да, Эля уехала. А весь предыдущий год она меня убеждала всеми силами и средствами. Я, сколько мог, держался. Давно взяв анкеты, все не знал, решусь на отъезд или не решусь.

Эля говорила: «Это когда-то уезжали навсегда. Безвозвратно в полном смысле слова. А сейчас не эмиграция, а туризм. Туда-сюда катайся, живи, как хочешь. Никому до этого нет дела. Особенно если ты денег не прошишь, а сам их зарабатываешь».

Я ее слушал и соглашался. Что мне еще было делать? Навсегда, безвозвратно, я бы не поехал, а остался. Мне навсегда нельзя. У меня тут могилы. И сын. И дочь. Пусть жены бывшей сын и дочь, а не мои, а все равно мои. Пятнадцать лет я с ними. Как же не мои? И язык – мой. Мне же нужно, чтобы он звучал. Фоном чтобы шел. Ритмы его нужны, синкопы с форшлагами. Но об этом я уже молчал. Думал – да, думал постоянно. Но – молчал.

А Эля говорила: «Будем приезжать. Жить будем, как люди, в европах, а куда будем – приезжать». Я говорил: «А муж твой?» На что Эля отвечала: «Он мне давно не муж, и ты это прекрасно знаешь». «Но разводиться же с ним придется?» «Придется. Вот вывезу его и сразу разведу. А там и ты подспеешь».

Я понимал, что сразу ничего не бывает. Но в марте у Эли появился еще один аргумент, самый последний. В марте она забеременела. Хотя вполне могла сделать это и раньше. Однако получилось не раньше, а вовремя.

Честно говоря, я от себя такого уже не ожидал. И никто, думаю, не ожидал от меня ничего подобного. Все-таки не каждый рождает себе детей на шестом десятке. Далеко не каждый. Все мои знакомые ровесники – когда Эля уже родила – звонили и говорили примерно одно и то же. «Нет, – говорили они, – мы давно способны только на внуков. А на детей... На детей не способны».

Я тогда все их восторги и удивления снисходительно принял и пришел к такому умозаключению: «Пока ты способен делать то, чего сам от себя не ожидаешь, все еще поправимо. Все в порядке».

Эля, видимо, к тому же умозаключению пришла намного раньше меня. Прощаясь, она сказала:

– Давай, собирайся потихоньку. Приедешь – как-нибудь соединимся. Там это все будет проще. А я, пока ты едешь, ребенка тебе рожу.

– Ты только двойню не роди.

– Почему нет? Там на детей помощь дают.

– Помощь дают. Но почему ты считаешь, что там все будет проще?

Тут Эля была не оригинальна. Почти все считают, что жить там проще. Мне самому так казалось. Но я всегда понимал, что могу ошибаться, поскольку был в Германии всего один раз, в апреле девяносто седьмого года, то есть давно. Да еще в качестве приглашенного на литературные чтения автора. Какие выводы можно после этого делать? В памяти у меня осталось нечто поверхностное, неглавное для повседневной жизни. В том числе и не имеющее к Германии отношения. Например, то, что на дойчмарки, там заработанные, я купил себе компьютер, сотку. Которая и стоит сейчас передо мной.

Но помню я, конечно, и другое. Правда, все оно из разряда «помнить-то помню, а что толку?»

Первое впечатление от зарубежья настигло меня еще в аэропорту, когда я понял, что в туалет нужно ходить по ту сторону нашей границы, даже

если это «по ту» находится в самом Борисполе. Но это так – заметка на полях. А вот Люфтганза меня действительно поразила: попал на нашу гостеприимную землю minuta в минуту, она прекрасно задержалась с вылетом, так как багаж погрузить вовремя мы не успели, зарегистрировать и обшмонать пассажиров за два отведенных под это дело часа – тем более, ну и вообще – что значат для нас какие-то двадцать пять минут опоздания? Для нее – Люфтганзы в смысле – они тоже ничего не значили, и в воздухе Люфтганза газанула, наверстала упущенное нами на земле и села, как положено, в означенном месте и в означенное время. Но это позже.

А пока я видел, как на нашей территории меняются немцы. Это во Франкфуртском аэропорту, где самолеты сыплются с неба, как горох, а служители ездят по зданию на электромобилях, они будут спокойно читать дармовую прессу, запивая ее дармовым, люфтганзовским, кофе (чаем, колой и т.д.), и не будут никуда торопиться в уверенности, что за пятнадцать минут в самолет успеют войти все триста пассажиров. В Киеве же они за полчаса выстраиваются в живую очередь, стоят, переминаясь, в затылок друг другу, выяснив предварительно «кто крайний», и вытягивают свои немецкие шеи, и не могут оторвать своего немецкого взгляда от картины погрузки их багажа нашими грузчиками. Они хватаются за сердце, почки, печень и что при этом думают, и в каких выражениях – нашему человеку не догадаться, даже если он мыслитель.

Вздохнули немцы только на борту своего самолета. Здесь они снова стали людьми и начали звучать гордо. Здесь они были дома.

Дома в немецком самолете были и канадцы, и американцы, и прочие французы. Дома чувствовали себя даже мы. Вернее, мы чувствовали себя в гостях – и поэтому лучше, чем дома. Мы здесь, несмотря на свою безъязыкость и чужеродность, были желанны и почти любимы. Ведь если бы мы не были желанны и любимы, разве стали бы подавать нам такое пиво (вино, коньяк, шампанское, соки, воды и иные жидкости), такой обед, такой кофе? Конечно, за все уплачено, но лучший кофе в Германии я пил именно в самолетах. В остальных общедоступных местах – это был тот еще напиток тех еще богов. У нас такой продают на Озёрке в базарный день и в вокзальном буфете до и после полуночи, когда милиция уже спит.

Зато в их аэропорту кофе я наливал себе в коричневые одноразовые чашечки. Они стояли стопками, как горшки в «Операции Ы», и, когда человек, выпив кофе, выбрасывал в урну такую великолепную чашечку, мне хотелось украсть их все, увезти на родину, которую не выбирают, и подарить своим лучшим друзьям и подругам – чтобы они пользовались ими в торжественных случаях, принимая самых дорогих гостей. Не знаю что, но что-то не позволило осуществить мне этот проект (О!). Я наблюдал, как прекрасные чашечки летели в урну, и мою подкорку подтачивал вопрос: «Где, спрашивается, хваленая немецкая экономность?»

То есть экономности (если забыть о чашечках, что невозможно) хватало. К примеру, мыла в душе лежал такой кусочек, что носки постирать ни за что не хватило бы. Один еще куда ни шло, а два – ни за что. А за вечер встречи, устроенный в нашу честь, с нас же высчитали по двадцать марок. Ну не свинство ли?

Какие еще познания я приобрел? Что из приобретенного могло пригодиться мне в будущей иммигрантской жизни? Очень немного.

Вот, допустим, узнал я, что мелочи в Германии превыше всего. И о них нужно знать. Для собственной же пользы. Что автоматы, продающие билеты, установлены только в первых вагонах берлинского трамвая, нужно было знать. Когда и какую кнопку нажимать и что в них запикивать, тоже знать было нужно. Скажем, монеты, меньше десяти пфеннигов, автоматы не жрали. Хотя сдачу с полусотни марок давали беспрекословно. Не мешало знать также, что денег на билет жалеть не следует. Несмотря на то, что стоил он очень дорого. Штраф за безбилетный проезд был вообще бесчеловечных размеров.

Знать нужно, и где продают дешевую еду, одежду, чип-карты, где меняют валюту, где стоит телефон-автомат. Все это в столице объединенной Германии – совсем не на каждом шагу.

Кстати, о телефонах. Шестнадцатого апреля я звонил родителям. Поздравлял их с днем рождения. Слышно было так, как по телефону слышно вообще не бывает. А звонил я – чтобы было дешевле – не из номера, а из обыкновенной телефонной будки. То есть, по моим представлениям, я звонил из совершенно необыкновенной телефонной будки – желтой и звуконепроницаемой, с не выбитыми стеклами, без характерного запаха вчерашней мочи внутри. А возможность позвонить из нее в любую страну мира! Тогда для меня это было настоящим чудом. К счастью, не обошлось без легкого идиотизма. Стоимость разговора со Штатами в будке была, а кода страны – не было. Хотя любые другие коды – были. Возможно, все немцы и так знали код США. Но я-то его не знал. И рылся – просто уже ради интереса – в толстенных телефонных книгах. Они висели на специальных кронштейнах. И были достаточно растрепаны, но не украдены.

Вот, пожалуй, и все... Ну запомнил я еще посещение ресторанчика – на улице, между прочим, Чайковского, – запомнил, как хорошо жилось мне в гостинице. Но от этого точно уж никакого проку. Одни приятные воспоминания.

Да, в ресторанчике официант с лицом карибского пирата ничего не записывал. Приносил заказ – и все. А потом на выходе спрашивал у каждого, что тот ел и пил. Каждый – а нас было человек пятнадцать – отвечал, он – идиот – верил, выбивал чеки и говорил, сколько платить. И если ты не очень понимал немецкий, ты просто давал ему бумажку покрупнее. Он брал, сколько надо плюс пять, что ли, процентов на чай. Без обсчета. Единственное, что меня хоть как-то успокоило, это объяснение одной переводчицы. Она сказала, что в других ресторанах официанты все записывают. А здесь он видел, что мы пришли с завсегдатаями, заслужившими доверие на протяжении лет, – и верил не столько нам, сколько им.

А о нашей маленькой гостинице знатоки сообщили нам, что во времена Восточной Германии сюда ездили партийно-комсомольские деятели двух дружественных стран – СССР и ГДР – трахать фигуристок. Почему фигуристок, а не кого-то другого, знатоки не сообщили.

Номера здесь и в самом деле выглядели функционально: широкая кровать – одна, стол – один, стул – один, так что гостью удобнее всего посадить на кровать. Работали в гостинице муж и жена. Они же ею владели. Чистота тут стояла, как в реанимации, санузел не только сиял, но и пах. В смысле, чем-то неуловимым и ласкающим нюх. А немецкая туалетная бумага принципиально отличалась от нашей. Своей пупырчатостью и многослойностью. Всех преимуществ такой бумаги описывать не буду, они в прямом смысле ошутимы.

В шесть утра можно было выходить завтракать. Поесть следовало до десяти. Но и в одиннадцать тоже можно было поесть. К сожалению, на себе из столовой ничего просили не выносить. Говорили – не принято. А там столько всего подавали на завтрак, что вполне хватило бы на ужин и обед. Поэтому я приходил завтракать с салфеткой или с куском туалетной бумаги. Чтобы не класть еду непосредственно в карманы. Впрочем, достаточное количество еды имело автономную упаковку, и это облегчало задачу. А хозяева, небось, думали, что колбаски, паштет, сыры и остальное русские писатели поедают вместе с упаковкой. И считали, что нам, малоцивилизованным, это простительно. Возможно, они говорили друг другу: «А-а, пусть! Лишь бы по-крупному не воровали».

К сожалению, воруют или не воруют сами немцы, я так и не выяснил. Телефонные книги в будках висели, зонтики в вестибюле гостиницы стояли – бери не хочю. И никто не хотел. А велосипеды у магазинов пристегивали к специальным стойкам. Значит, боялись, что могут спереть.

Да, забыл. Вот это как раз знать не повредит всем – и туристам, и эмигрантам, и прочим категориям граждан, собирающимся пожить в Германии. И у немцев техника ломается! Как миленькая. Когда я улетал, на въезде в аэропорт Tegel сломалось табло. Оно указывало, откуда какой самолет отправляется – чтобы к терминалу можно было прямо на машине подъехать.

Правда, немцы не растерялись. Они поставили под табло самых красивых девок, каких только смогли найти в своей столице, и те тормозили все машины, спрашивали, на какой рейс у пассажиров билеты, и показывали, в какой сектор сворачивать. Чтобы им, не дай Бог, не пришлось проехать лишних двадцать метров.

А в целом что-то было в моей поездке очень хорошо, что-то – не очень. «Не очень» в основном наступило по возвращении. Когда помотришь на чужую жизнь, хочется как-то подправить свою. А это невозможно. Естественно, расстраиваешься. Не прикажешь же себе не расстраиваться? Не прикажешь.

Но желания там жить у меня не появилось. Нет, не появилось. Почаще приезжать – я бы с превеликим удовольствием. И мне было жаль, что это практически несбыточно – как бывает жаль всего того, что несбыточно.

### *Глава 10. В одиночку*

Ладно, проехали. Кто знает, что сбыточно, а что нет!

Итак, я влип в проект. Влип, пала, всеми четырьмя. Но, как ни парадоксально, эта паршивая работка стала для меня чуть ли не подарком судьбы. Без нее мне, конечно, тоже было чем заняться в гордом одиночестве, но с ней... У меня совсем не оставалось свободного времени суток. Что и требовалось. Как от сугок, так и от меня.

Три-четыре часа в день я учил язык.

Кроме того, редактировал еврейскую газетку.

Кроме того, опять же редактировал еврейский и окололитературный сайты.

Кроме того, подрабатывал, пища для других, общедоступных, так сказать, изданий.

Кроме того, умудрялся писать что-то такое для себя. Правда, мало. Совсем мало. Но все-таки умудрялся.

Ну, и кроме всего этого прочего, я же еще бегал по всяким конторам. От ОВИРа и военкомата до таможни и ветслужбы.

Тем не менее у меня хватало времени для переживаний по поводу того, что я, бедный-несчастный, совсем теперь один, без Эли. И сколько буду без нее – тогда, в конце мая, – никто не знал. Сведущие люди говорили, что земля обетованная Гессен присылает вызов через четыре месяца. Я написал в анкете, что страстно желаю в Гессен. Но никто не обязан был учитывать мои желания. То есть их могли учесть, могли не обратить на них никакого внимания. А мне нужно было уехать как можно скорее. Теперь я хотел и морально готов был ехать. Эля меня морально подготовила. Она уехала, когда до рождения нашего с нею сына оставалось чуть больше полугода. И я все время думал: «Жаль, родители не узнают о внуке. Они хотели, чтоб он у них был. Как у всех нормальных стариков». Но деды мои внуков не дождались, родители не дождались, и я скорее всего не дождусь.

Может быть, моему малолетнему пересыхающему роду так за что-нибудь определено – вяло тянуться, продолжаясь, но чтоб предки об этом не знали?

А о моем отъезде – если не считать художника Колючего – очень долго знал всего один человек. Эмма Неродченко. Это к ней я ходил третьего января, когда мама упала в ванной. Не сказать ей – я не мог. Во-первых, трудовая книжка и печать хранились у нее, а для того, чтобы подать документы на выезд, и то, и другое нужно было иметь в своем распоряжении. Во-вторых, мы много лет делали с ней вышеупомянутую еврейскую газет-

ку, были в очень хороших отношениях, и от нее я мог себе позволить ничего не скрывать. И не скрывал. Она же никому ничего не говорила, пока я сам не сказал. В самый последний момент.

Когда работаешь в еврейской газетке, о том, что ты едешь жить в Германию, лучше не распространяться до последнего. Это в еврейских кругах не только не приветствуется, но и сурово осуждается. Что, в общем, объяснимо. Забыть шесть миллионов жизней – трудно. Тут, как говорится, двух мнений быть не может. Но я видел бывших узников гетто и женщину, два года своего детства прожившую в погребке, и они говорили: «Забыть нельзя. Как это можно забыть? Но перекладывать вину на нынешних немцев тоже нельзя, поскольку они так же ни в чем не виноваты, как не были виноваты те шесть миллионов». Не знаю, почему они это понимали, а евреи-профессионалы – нет. Я вообще заметил, что люди, сделавшие из своей национальности профессию, ни черта в жизни не понимают и понимать не хотят. Зато они многое и многих не любят. Профессиональные русские профессионально не любят евреев, украинцев и много кого еще, профессиональные украинцы так же профессионально не любят русских и, само собой, евреев, а профессиональные евреи профессионально не в восторге от русских и украинцев, плюс к тому они терпеть не могут уезжающих «в страну, в которой мог появиться Гитлер». Как будто жить там, где могли появиться Ленин, Сталин и прочая сволочь мирового масштаба, лучше.

А тут, как специально, незадолго до меня на родину Шиллера и Шумахера с еврейского идеологического фронта дезертировали три проверенных бойца. Один – лектор по Холокосту. Он выступал на эту тему перед общественностью и в прессе. Другая заведовала возрождением и небывалым подъемом еврейского самосознания на всем востоке страны. Третья несла еврейскую культуру в массы, устраивая на улицах и площадях ежегодные фестивали с песнями и танцами. Назывались эти самодеятельные фестивали неожиданно: «Еврейская мысль сквозь века». И всех, кто работал евреями, особенно высокопоставленными, эти беглецы раздражали. Так что я, от греха подальше – ну чтоб не поперли с работы раньше, чем мне это понадобится, – свой отъезд не афишировал. А уж когда мне повезло временно продаться Шефу, я и вовсе затаился.

Только с сыном поговорил. Встретились с ним у того же фонтана, зашли в уличное кафе, купили много пирожных и сока. Санька, несмотря на всю свою взрослость и сто девяносто сантиметров, больше всего на свете любит сладкое. Он любит его даже больше своего компьютера. Под сок я ему все и выдал. Я сказал:

– Ты понимаешь, что я остался совсем один? У тебя своя жизнь, у Натки и у мамы своя. Правда, у меня есть Эля. Но она – уехала.

Санька с Элей был давно знаком. Я хотел, чтобы они были знакомы, и познакомил их. Он отнесся к ее существованию спокойно. И он сказал:

– Я понимаю.

– Это не все, она беременна, – сказал я.

– Круто, – сказал Санька.

Еще я спросил у него, не пойдет ли он жить в квартиру моих родителей, которая все равно ему завещана и принадлежит. И он сказал:

– Пойду. Конечно, пойду.

А в остальном время шло однообразно, без рывков и торможений. Deutsch и работа до тошноты, работа и до тошноты Deutsch. Эля писала сообщения. Я отвечал. Спасибо, Стеклов подарил мне на пятидесятилетие мобилку. Сказал:

– Чтобы ты всегда был на связи. А то искать тебя – надоело.

Я считал, что мобилка нужна школьникам, бандитам, бизнесменам и прочим руководителям, а мне она не нужна. Мне от домашнего телефона не всегда скрыться удавалось. Теперь я был благодарен Стеклову. SMS – это та же телеграмма. Посылая две-три телеграммы в день и получая на них ответы, чувствуешь, что связь с адресатом не прерывается. В общем, мо-

билка, она иногда сближает. И делает мир еще теснее. Хотя лучше – и она не делает.

Письма Эля тоже писала. Но редко. Письма шли недели по три, и вся информация в них благодаря тем же SMS успевала устареть. Правда, она прислала мне «фотографию» будущего сына. Ей сделали УЗИ, и она вложила снимок в конверт.

«Копия ты в юности», – написал я в ответ и ошибся.

Когда работа и Deutsch совсем уж доставали, мне звонил художник Колючий. Так всегда совпадало. Я выезжал в центр, и мы встречались. У кого-нибудь в мастерской. Или в литмузее. Или у того же фонтана. Мы брали дешевого винца в ближайшем гастрономе и разговаривали. То есть разговаривал больше Колючий. Я больше слушал. Отдыхая. Я люблю разговаривать с Колючим. Потому что Колючему не нужно возражать. Я с ним практически во всем и почти всегда согласен. Когда я говорю с другими, я только и делаю, что возражаю. Или не участвую в разговоре, так как постоянно, без передышки, возражать – утомительно.

А когда выпивать и разговаривать не хотелось, мы шатались по городу пешком. Я никогда не жил в таком месте, чтобы можно было выйти из дому и пешком погулять. Мне всегда для этого акта нужно было сначала куда-нибудь ехать. А там, где жил я, там можно было только посидеть. Если скамейки пустовали и если они вообще были, эти скамейки, если их не разнесли в буйном веселье дети и юноши нашего образцово-показательного микрорайона.

По воскресеньям приезжали Штангист и Аспирант. Штангист ложился на диван и читал то, что я написал. В некоторых местах он по своему обыкновению хохотал, иногда покашливал и сморкался.

Аспирант говорил:

– Зачем ты себя насилуешь? Чтение – это же не свойственная тебе функция организма.

– А мне нравится, – говорил Штангист. – Даже больше, чем газета «Спид-инфо».

Аспирант принимал у меня документы, выдавал новые, записывал файл на диск и в ноутбук. После этого Штангист протискивался к компьютеру и просил:

– Дай я нажму. Дай я.

Аспирант улыбался. Пропускал Штангиста к клавиатуре. Тот прицеливался, жал толстыми пальцами «Shift-Delete» и страшно веселился, когда файл исчезал.

Сразу скажу: несмотря на таких работодателей, я все успел сделать к сроку. Успел несмотря даже на то, что устроил себе четыре выходных дня. Тридцатого ноября я сдал им последнюю главу эпопеи. Первый ее том состоял из двух частей и назывался «Путь наверх», второй – тоже двухчастный – «Жизнь наверху». Название книге дал я – для смеху, – но оно прошло на «ура»!

Вручая мне очередные пятьсот баксов за ноябрь, Аспирант сказал:

– Давно хочу сказать. Название Шефу понравилось особо, и он просил вам это передать.

После такой высокой оценки самого Шефа я уже не мог пойти на пятую и изменить название.

Теперь мне осталось только ждать. И ждать мне осталось недолго. Рано утром шестого декабря я уезжал. А перед отъездом ты попадаешь в такой период нежизни, что ли. Ты уже не живешь здесь и еще не живешь там. Тебя уже ничто не связывает с этой жизнью и еще ничто не связывает с той. Ты – в ожидании. Когда эта жизнь уйдет, а та, иная, настанет.

«Ну кинут – так кинут, – думал я, ожидая. – Как бы там ни было, а три тысячи я положил на карточку, и Эля их уже сняла. Три тысячи – это ведь огромные деньги».



Но волновался я зря. В тот же день Шеф мне позвонил. Вернее, он позвонил уже завтра, в час ночи. Похоже, это излюбленное время шефов всех времен и их приближенных.

– Александр Семенович? – сказал он.

– Да, это я, – сказал я.

– Читаю свою книгу, – он сделал многозначительную паузу, – и плачу! С вами уже расплатились?

– Пока нет, – сказал я.

– Сейчас расплатятся. И если у вас когда-нибудь возникнут какие-либо проблемы – обращайтесь. Помогю, чем смогу.

Хотел я тут же попросить у него телефончик, да раздумал. За ненадобностью.

Через десять минут в мою дверь кто-то застучал. Не то кулаками, не то ботинками.

– Открой, пала, это Штангист.

Я открыл.

Штангист, как обычно, прошел в спальню, сел на мою постель штанами, вынул из кармана пачку зеленых денег и стал от нее отсчитывать. Отсчитал пятнадцать бумажек, остальное вернул в карман.

– Пересчитай.

Я пересчитал.

– Спасибо.

– Вам спасибо, пала, – сказал Штангист и: – Ну теперь-то, – сказал, – выпьем?

– Теперь давайте, – сказал я. – Теперь можно. А чего это вы со мной на «вы»?

И тут Штангист сказал:

– Хорошо пишешь, пала. Уважаю.

И еще он сказал:

– Меня Петей зовут. Петром.

Напились мы с ним в эту ночь – как свиньи! Утром я полез в карман за сигаретой и обнаружил там телефон.

Я позвонил Штангисту. Он сказал:

– Ну напились мы с тобой – как свиньи, я ничего не помню!

– Зато будет, что вспомнить в старости, – сказал я и сказал: – Вы забыли забрать у меня телефон.

– Да оставь ты его себе, – сказал Штангист. – У нас этих телефонов – как грязи.

## *Глава 11. Четыре выходных дня*

Отъезд еще только где-то там маячил, работа над юностью Шефа была в полном разгаре, а мне уже хотелось со всеми попрощаться. Меня прямо зуд прощальный охватил и терзал. Но в городе ни с кем попрощаться было нельзя. Да особенно и не с кем мне было в городе попрощаться. А если попрощаться с кем попало, через неделю о твоём отъезде будут знать все кому не лень. А я же держал это в страшной тайне. Слишком мне хотелось получить заработанное. И в газетке доработать тоже хотелось. Опять же из-за денег. Пропавши они пропадом.

И я решил, что нужно съездить в Москву. Все равно я собирался туда перед отъездом. Не мог же я уехать, не попрощавшись с друзьями. Все главные, так сказать, друзья – ну, кроме Колючего и еще буквально двух человек, – у меня в Москве. Уже больше двадцати лет я тут, а они – там. Может, потому столько лет мы и ходим в друзьях, что видимся не часто. И не из-за чего нам ссориться, и не успеваем. А может, и другая тому причина.

Я собрался выехать в воскресенье, после сдачи очередных глав тетралогии, а вернуться в четверг. И за три дня навалить то, что должен был писать неделю. С газеткой все тоже складывалось. Поскольку в понедель-

ник номер уходил в типографию, сама собой образовывалась некоторая пауза, регулярный запланированный передых. Что касается сайтов, то их в качестве веб-мастера вел Санька и его познаний в русском языке вполне хватало, чтобы вместо меня отредактировать срочные материалы. А не срочные – четыре дня полежат, не прокиснут.

В субботу позвонила Эля.

– Ты там не очень, – сказала, – прощайся. Будешь приезжать. Все приезжают, и ты будешь.

Я обещал ей прощаться не очень.

Москва встретила меня с распростертыми объятиями, но излишне официально. Как только я вышел из вагона, ко мне подошли два ярких представителя государственной власти. В смысле, пара вокзальных ментов. Знаете, бывают вокзальные проститутки, а бывают вокзальные менты. Так вторые гораздо хуже.

– Ваши документы, – сказал один мент.

Я дал ему украинский загранпаспорт с трезубцем на обложке. Он долго его изучал сам, затем показал напарнику. Сказал: «Ты смотри, хохлы дают – и загранпаспорта у них есть, ну прямо как настоящие».

– Баша регистрация? – спросил он уже у меня.

– Я же только из вагона вышел.

– Ваш билет?

– В паспорте.

Он нашел билет и довольно долго его читал. Закрыв паспорт:

– Имя!

– Мое?

– Ну не мое же.

– Александр.

– Отчество!

– Семенович.

Мент подумал, о чем бы таком еще спросить, чтобы я раскололся. Ничего пугного не придумал и со словами «ну ладно» паспорт мне вернул.

Весь первый московский день я занимался тем, что собирал гонорары. Скопившиеся за полгода моего здесь отсутствия. И со сберкнижки тоже снял я почти все деньги. Зачем мне здесь деньги на книжке, если я не знаю, когда попаду сюда в следующий раз?

После сбора урожая я сказал Игорю:

– Где бы нам посидеть? Чтобы и хорошо, и по карману. В смысле, по моему карману.

Игорь сказал:

– Если ты не против, можем посидеть у меня.

Я был не против. Договорились на завтра. Завтра всех вроде устраивало. И я начал готовить отвальную. Наделал каких-то бестолковых покупок. Каких-то колбас-ветчин-маслин-огурцов. Купил водки и грузинского вина, которое, как мне потом объяснили, было не настоящим, но все равно грузинским и удобоваримым. И Алла его все-таки пила. Она среди нас была единственная дама, и вино предназначалось ей.

Вечером Игорь сказал:

– Слушай, Андрей в Москве. Ты хочешь, чтобы он тоже пришел?

Я сказал:

– Как я могу не хотеть? Тем более он старый опытный «немец». Может, чего посоветует.

Все пришли с водкой. Хотя я просил. Я всех убедительно просил. Но мою просьбу проигнорировали. И выпить все это на фоне симпровизированной мною закуски было невыносимо. Но мы особенно и не стремились. Мы отбраковали ту водку, что попроще (на потом), и начали с литровой бутылки «Русского стандарта», которую принес Саша.

Вадим водку очень хвалил. Игорь пил ее привычно, как любую другую. Генка и Леша говорили, что надо ее побыстрее закончить и приступить к той, что на березовых почках. А Саша с Андреем ее не пили. Они с некоторых пор совсем не пили спиртного, абсолютно, ни капли не пили. И к этому невозможно было привыкнуть.

Разговор завязался сначала интеллектуального свойства и почему-то о Мицкевиче. Я говорил, что он за всю жизнь писал всего-то года четыре. А Вадим делал в своем уме расчеты и возражал, что за пятнадцать он ручается. Я не слишком спорил. Вадим лучше знает про Мицкевича и прочих мировых классиков. Вадиму в таких делах нужно верить.

На половине бутылки зашел Яша. И принес пачку журналов «Магазин».

– Вот, забрал из типографии.

– Последний номер, – сказал Игорь. – Закрываемся.

Он распечатал пачку.

– Натя, – сказал он мне и Андрею. – Вы тут тоже есть.

Я открыл журнал. Там было написано: «Всем спасибо. Все свободны».

– Сюрприз, – сказал я.

– Да уж, – сказал Яша.

И все начали говорить: «Жалко, журнал был хороший». А Игорь говорил:

– Поднадоел он мне за столько лет, нет драйва. Да и денег фактически нет.

Мы выпили за упокой «Магазина» и за то, чтобы мне там, среди гуннов и тевтонов, было хорошо.

– Ну хоть чтобы лучше, чем «Магазину», – сказал Генка.

А Игорь сказал:

– Как будет по-немецки хенде хох?

– Смешно, – сказал я.

В какой-то момент Игорю позвонили – я думаю, «Стандарт» к тому времени уже кончился. Он объяснил в трубку, как заехать во двор. Потом сказал нам «я скоро» и ушел. И общая беседа понемногу распалась на несколько, так сказать, частных.

Андрей говорил со мной о жизни в Германии, о том, к чему надо быть готовым в первые дни, чтобы стресс был не таким сильным.

– Но вообще, – говорил он мне, – эмигрантский стресс проходит. Лет через восемь.

– Ты меня обрадовал, – говорил я ему, – я думал, он не проходит никогда.

– Просто я не хотел тебя запугивать, – говорил Андрей.

Говорили мы по отдельности, но выпивали все еще вместе. И все еще за меня и за мою тамошнюю новую жизнь. Я после каждой рюмки клал Леше на тарелку корншон или маслину. Он каждый раз говорил мне:

– Большое спасибо.

Саша отвечал Алле на какой-то ее вопрос. На какой – я не слышал. Но что-то по поводу романа. Он уже знал, что написал хороший роман. И я это знал – он присылал мне роман по e-mail, и я читал его прямо с экрана. А остальные пока не читали. И не могли поддержать предметный разговор. Возможно, не хотели говорить о том, чего не знали, а возможно, не верили, что роман по-настоящему хороший. В это же всегда бывает поверить трудно – в то, что не просто хороший, а по-настоящему хороший. Правда, удивлялись все: «Тридцать печатных листов? За год?! Тут не каждый год прочитываешь столько, а написать...»

Я отвлекся от того, что говорил мне Генка, и сказал:

– Выпьем, чтоб роман хорошо прошел.

Все услышали меня и сказали:

– Выпьем.

И все выпили. Кроме Саши и Андрея. Потому что Саша и Андрей не пьют спиртного. Не от хорошей жизни не пьют, но это неважно – от чего.

А у Генки дела шли не ахти как. Газета, где он работал последние годы, приказала долго жить, не заплатив своим сотрудникам довольно много

денег. Месяца через два на том же самом месте как-то сама собой образовалась другая газета. Но Генка туда уже не пошел.

– Люди там остались те же самые, – говорил он. – От перемены названия газеты люди не меняются.

Конечно, он считал, что без работы не останется. А вышло так, что остался. И никто ему не помог. Генка сначала обиделся на всех, потом решил, что никто ему ничего и не должен. Сидел дома, в своем не очень Теплом Стане, в Москву выезжал редко. Пытался делать какие-то халтуры. Иногда это ему удавалось, иногда не удавалось.

Вернулся Игорь.

– Вот, – сказал он. – Это тебе. – И протянул мне толстый красный том. Я посмотрел название. «Афористика и карикатура».

– Что это?

– Антология, – сказал Игорь. – Тут есть твои фразы.

Как выяснилось, сегодня утром его попросили выступить на презентации этой антологии. Он говорил, что сегодня никак не может, но его очень просили. Поэтому Игорь смотался туда, быстренько выступил и быстренько вернулся. И притащил мне экземпляр антологии.

– Опять сюрприз, – сказал я.

И мы выпили за этот сюрприз тоже.

Постепенно я начал выпадать из беседы, которая опять становилась общей. Наверное, я уже много выпил. И невольно думал о своем.

«Ну что изменит мой отъезд? – думал я. – Сейчас я живу за границей и потом буду жить за границей. Однако же та заграница всем, и мне в том числе, кажется почему-то совсем другой заграницей. Наверно, потому, что на Украине я все-таки дома, в своей, так сказать, тарелке, а там буду в чужой. И всем там буду чужим. Но, возможно, это и лучше, чем быть получужим, как в нынешнем моем месте жительства. Это хотя бы определенное положение среди окружающих тебя людей: всем чужой – ясно и понятно. И никак иначе быть не может просто по условию изначально».

Вообще; а что человека удерживает в стране, где у него все не то что бы плохо, а никак? Некое равновесие жизни удерживает. Как бы там ни было, а она устоялась, идет каким-то своим знакомым чередом. И к тому, как она идет, ты уже привык, и с этим ходом смирился, и к нему приспособился. То есть удерживает то, что других людей влечет: неизвестность».

Вечер незаметно стал ночью. Под конец все вели себя уже так, как вели себя всегда, когда собирались по поводу моего очередного приезда в бывшую столицу нашей бывшей родины. И то, что я скоро уезжаю, было всем привычно. А куда уезжаю – это уже детали второстепенные.

От Игоря мы ехали с Андреем. Я ехал в Выхино, а он в Кузьминки. В метро Андрей продолжил курс молодого эмигранта. Рассказал много такого, чего сам я не узнал бы и за год. Старался не упустить чего-нибудь важного и посоветовать что-то дельное. А когда поезд в Кузьминках стал тормозить, он наклонился и сказал:

– Но ты запомни главное: жить там – нельзя.

Сказал и вышел.

И двери за ним сомкнулись.

## *Глава 12. Прививка от ностальгии*

Можно подумать, что у нас жить – можно.

В предотъездных нервоотрепке и беготне я частовспоминал последние слова Андрея, те, что он сказал в метро. Вспоминал и жалел, что ничего ему не ответил. Просто не успел придумать, что бы ему ответить. Он же моментально поднялся и вышел из вагона. Но если бы я успел придумать или если бы отвечал ему не тогда, а сейчас, я бы сказал именно это: «Можно подумать, что у нас жить – можно». И объяснил бы, что я имею в виду. Я бы ему сказал: «Понимаешь, в чем дело, люди друг друга не любят нигде,

но на Западе не любят пассивно, а у нас – активно. Иными словами, там люди не испытывают любви к себе подобным, здесь испытывают нелюбовь к ним. И если от любви до ненависти всего один шаг, то от нелюбви туда же существенно меньше».

А к уезжающим у нас испытывают особую нелюбовь. Суть ее, этой особой нелюбви, случайно и по-военному кратко выразила строгая военкоматовская тетка. Ей я сдавал военный билет и ходил к ней трижды, так как она сначала не расписалась, а потом не поставила печать на справке, подтверждающей, что билет я своей стране вернул в целостности и сохранности. Зачем моей стране билет запасника в отставке – знает только она сама. А больше никто этого не знает. Наверно, чтобы я не смог доказать там, на Западе, что двадцать восемь лет кряду был командиром взвода средних танков в запасе. Хотя зачем бы я стал там это доказывать? И кому? И какой из меня командир? Я за эти двадцать восемь лет не то что танка, я ни одного живого танкиста не видел.

И сдал я, значит, свой билет, получил справку (без подписи и печати), и строгая тетка положила на стойку, отделяющую меня от нее, грассбух. Чтобы я в нем расписался.

Стойка была для меня высока, свет в кабинете не горел, а на улице из черных туч лил дождь. Я становился на цыпочки, шурился, чтобы разглядеть в полутьме, куда поставить свою подпись. И пытался шутить:

– Мало того, что коротышка, так еще и слепой.

На что строгая тетка ответила без шуток:

– Зато будете жить в Германии.

И за одно за это – что ты будешь, а они вряд ли – тебя не перебаривают. И каждый, кто только имеет возможность, делает тебе козью морду, в смысле, прививку от будущей ностальгии. Тебя же гоняют по разным организациям, а в разных организациях сидят разные люди, и цель у этих людей одна – содрать с тебя как можно больше шкур.

И я ходил и стоял в очереди, чтоб сначала заказать, а через месяц получить бумагу о том, что я не был (или был) судим. Меня выпустили бы за рубежи в любом случае, но бумагу надо было иметь и за нее надо было платить.

В таможенном управлении тоже надо было платить. Чтобы оно, таможенное управление, запломбировало компьютер. По их замыслу они неделю должны были его проверять, чтоб я не вывез в нем никакой ценной для моей страны информации. Каким дебилом нужно быть, чтобы вывозить информацию таким способом – об этом они не задумывались. Но дело не в этом. Дело в том, что никто, ни один нормальный человек, не оставит этим жуликам свой компьютер даже на пять минут, не только на неделю. Поэтому я запихнул пятьдесят гривен в самое интимное место первому попавшемуся клерку, чем сделал этого прыщавого парня бесконечно счастливым. Наверное, он рассчитывал на двадцатку.

Платил я и за то, чтобы печать в паспорте поставили мне не через три недели, а сегодня. Печать влетела уже в тридцатник. И уже не гривен, а долларов. Зато я платил в кассу. Как следовало из бумажки, выданной мне госпожой начальницей, я добровольно оказал ОВИРу спонсорскую помощь в форме порошка для ксеркса стоимостью сто шестьдесят пять гривен семьдесят копеек. В той же бумажке ОВИР сердечно меня благодарил за гуманный поступок.

А с самим паспортом у меня и вовсе получилось... Или не получилось. Так точнее.

В тот день мне глухо не везло – куда бы я ни приходил, нигде не было бланков. Сначала их не было в Союзе журналистов. Я хотел поиметь с этого профсоюза суший пустяк. Никогда ничего не хотел, а тут, значит, захотел. Игорь присоветовал мне получить международное журналистское удостоверение. «По нему все музеи в Европе – бесплатно, – сказал он. – А музеи там – буквально на каждом шагу».

– Это стоит двадцать пять долларов, – сказали мне в Союзе.  
– Хорошо, – сказал я. – У меня есть.  
– Но сейчас нет бланков.  
– А когда будут?  
– Неизвестно. В эту международную организацию надо взносы платить, а Украина не платит. Вот они и не дают нам бланков.  
– А почему Украина не платит? – задал я крайне бестактный вопрос.  
– Вы что, не знаете, в стране нет лишней валюты, – объяснили мне.  
– Почему лишней? С нас же берут по двадцать пять долларов. Вот их и платить.

– Ну если бы все было так просто...

Из Союза журналистов я переместился в ОВИР. Где тоже было все не просто – по старой советской традиции. В ОВИРе не было бланков загранпаспортов. И, когда они будут, тоже никто не знал. Все знали, что их нет. Нет даже в сейфе у полковника. Бедный полковник. Представляю, как скучно ему служилось родине без бланков.

Я тут же, далеко от ОВИРа не отходя, вызвонил одну даму, близкую к ментовским кругам.

– Узнай, плиз, – попросил я ее, – сколько надо заплатить, чтоб у полковника или у паспортистки в сейфе появились бланки.

Дама тут же узнала. Оказалось, всего полторы сотни долларов.

– Не дам! – сказал я и решил ехать со своим паспортом, срок действия которого истекал через полгода.

И я вот думаю, а что если бы у меня не было денег всем им платить? И что было бы, если бы в год, когда заболела мама, я параллельно с еврейской газеткой не редактировал в глянцево-журнале, не подрабатывал в политической программе у Стеклова провокатором и не получал вполне прилично? Прилично – по нашим, конечно, меркам и понятиям, а по нормальным, общечеловеческим – какие это были деньги! Но спасибо и за них. Спасибо, что на лекарства, на врачей, на еду и на такси – отвезти маму на Космическую и привезти ее обратно – у меня было всегда.

Было у меня и на похороны. И на то, чтобы поставить небольшой камень на могиле родителей...

Но дело даже не в деньгах, совсем не в деньгах. А в том – можно или нельзя жить там, где все всех по долгу службы и по велению души активно не любят? Не любят, ну хоть ты тресни!

### *Глава 13. Опоздание на два часа*

Провожал меня Санька. И больше никто не провожал.

Накануне пришла бывшая жена, что-то приготовила. Санька с Наткой тоже пришли. Сели за стол. Все пристойно, как будто все по-прежнему, все как раньше. Мне казалось, что они о моем отъезде сожалеют. Когда был под рукой, вроде и не совсем понятно, зачем был, а когда выяснилось, что теперь не будет, вроде и жалко стало. Но теперь жалеть уже было бессмысленно. Теперь нужно было прощаться и желать. И они прощались и желали мне всего: чтобы там – лучше, чем здесь, и чтобы ребенок был здоров, и тому подобное.

Позвонил Колючий.

– Не грусти, – сказал он. – Там преступности нет, а медицина есть. Там тебя обследуют, новые зубы вставят и все будет, как в сказке про немцев.

– Я не грущу, – сказал я.

– Твои у тебя?

– Мои у меня.

– Ну давай.

– Даю.

Часов в десять жена с дочкой поцеловались со мной и ушли, а сын отстался. Он будет теперь здесь жить. Сначала здесь жил я с родителями, по-

том родители без меня, потом я без родителей, а теперь вот пришла его очередь. И слава Богу, что его и что в этой махонькой, обшарпанной квартире, где жили и умирали мой отец и моя мать, не будут толочься чужие люди.

Сумок у меня получилось три. Три клетчатые сумки из клеёны. Две огромные и одна поменьше. Я бы взял еще, но и эти весили сто двадцать кило. А бесплатно провезти разрешалось только пятьдесят. Потом – евро за килограмм. С деньгами же было как обычно. А после того, как я все остатки и заработки положил на карточку, денег стало просто в обрез. И я сто раз отбирал самые нужные мне книги. Отбирал, складывал их в сумки, вынимал. Снова отбирал – уже из отобранных. И так далее. В итоге вышло, что почти ничего я не взял. Только самые-самые, те, которых меня лишать нельзя. Без которых могу я записать, а то и чего похуже. Ну и компьютер тоже я упаковал в одну из сумок. Старую свою сотку. Служившую верой и правдой больше шести лет. Говорил мне Санька: «Не бери ее, купи новую машину». Но я взял. И монитор взял четырнадцатидюймовый. К которому и сам я, и глаза мои давно привыкли. Вот книги и монитор с компьютером – из этого складывался вес моих неподъемных сумок. Остальные вещи были в явном, абсолютном меньшинстве. Это были вещи самой первой необходимости, без них, как мне казалось, обойтись невозможно. Но это только казалось. Потому что и без них свободно можно было бы обойтись.

Итак, значит, не считая пакета с едой, вез я три сумки и кошку. Для нее специально и заранее был куплен на птичьем рынке бокс. И она какое-то время его обживала. Иногда спала в нем целыми днями, иногда просто сидела, укрывшись непонятно от чего.

Вначале микроавтобус долго не приезжал. Мы слонялись с Санькой по квартире, не зная, о чем говорить. Мы ждали. Ждали моего отъезда. И нервничали. Я звонил водителям. Они не отвечали. Потом ответили. Сказали, чтоб я не нервничал и что они грузят в разных концах города моих попутчиков. И опять мы ждали. И все равно нервничали. Потом они приехали.

Я стал с ними расплачиваться. Неожиданно сумма оказалась больше, чем договаривались. Но деваться было уже некуда. Две сумки снесли вниз водители. Одну – мы с Санькой. Водители стали заталкивать их в багажник, а я поднялся за кошкой. Посадил ее в бокс и понес. Кошка сразу учуяла неладное и заметалась. Я ткнулся Саньке в грудь – выше мне было не достать – и вошел в автобус. Поднял глаза. В поисках, куда бы сесть.

Первый ряд кресел занимает семейство из трех человек плюс собака. Точнее, пудель. Мать-крестьянка необъятных размеров, отец – бессловесный старик с трагической лысиной, дочь – уродливая, но беременная. И хорошо беременная. Она видит кошку и говорит пуделю:

– Пупсик, тебе завтрак принесли.

Я говорю:

– Если не хотите, чтобы он остался слепым, держите его крепче.

– Пупсик, завтрак отменяется, – говорит беременная дочь и прижимает своего пуделя к животу матери. Пудель печально скулит. Я сажусь сзади семейства. И мы трогаемся. Я смотрю в окно. Санька стоит. Его длинные руки висят, оттягивая плечи. Он тоже смотрит в мое окно. Мы оба в него смотрим. Автобус медленно едет по разбитой дороге вдоль дома. Я поворачиваю голову. Все поворачиваю и поворачиваю. До тех пор, пока в шее что-то начинает хрустеть. Дальше ничего не видно. И Саньки не видно тоже.

Кошка продолжает метаться в боксе, бьется боками о стенки, упирается грудью в дверцу, просовывает наружу лапы. Я выпускаю ее, и она впирается мне в плечо когтями. Впивается, прижимается ко мне животом и замирает – стоя, как человек.

Семейство, которое с пуделем, начинает есть сразу за поворотом. Кур, бананы, рыбу, яблоки, конфеты, булки. Всё подряд. Мать угрожает достать селедку, но не достает. Отец ест, кивая головой. Беременная дочь с собакой тоже едят. Потом дочь останавливает автобус и ходит на обочину блевать. Блюет, возвращается и опять ест.

– Когда я ем, – говорит она, – меня укачивает меньше.

Справа, у двери, сидит пожилой еврей в бейсболке, его жена – на заднем сиденье. Они едят, но меньше. Потому что жена в промежутках спит, а муж привстает с кресла и следит через головы семейства и водителей за дорогой. Поднося к глазам театральный бинокль. Иногда он оборачивается, будит жену и говорит что-то вроде: «Мухосрановку проехали». «Где это?» – говорит сонная жена. «Не знаю», – говорит муж. После диалога они что-нибудь съедают, и жена засыпает. Муж опять привстает и смотрит в бинокль. Чтобы через какие-нибудь полчаса снова разбудить жену и объявить: «Пятихатовку проехали». И опять жена спросит «где это», и опять муж скажет «не знаю», и опять они достанут что-нибудь из сумки и станут жевать.

При первом же резком торможении я почувствовал, что мое кресло не привинчено. Просто стоит на полу – и все. Какое-то время я балансировал на виражах, чтобы не завалиться вместе с креслом, потом подумал: чего ради я мучаюсь?

– У меня кресло не привинчено, – сказал я.

– Сейчас привинтим, – сказали водители, и автобус съехал с асфальта.

Один водитель лег на землю, другой стал пропихивать в отверстия кресла и пола болты. А тот, что снизу, навинчивал на них гайки.

Тут я сообразил, что кресло мое приставное, лишнее. Эти ребята говорили, что в микроавтобусе семь мест. С моим креслом их было восемь. Теперь стало ясно, почему они не дали мне купить билет в кассе – хотели получить всю его стоимость и не делиться с хозяевами своей фирмы.

Последние пассажиры садились в Киеве. Часа полтора мы ехали по городу, из конца в конец, водители постоянно звонили, объясняли, где находятся, и спрашивали, куда ехать дальше. Пока не въехали в какой-то двор. Двор ничем не отличался от моего. Такие же пяти- и девятиэтажки, такие же голые тополя, такая же разбитая дорога. Здесь к нам подсели двое – мать и сын. С собой они везли много больших клетчатых сумок. Часть из них водители запихнули под самую крышу в багажник, уже набитый битком точно такими же сумками, а из части соорудили баррикаду между мною и евреем с биноклем. Мы с жожкой оказались прижатými к окну. А чтобы выйти из автобуса, я должен был выбраться из низкого кресла, высоко задрав ногу, перебросить ее через сумки, затем перетащить через них вторую ногу. При этом держа на руках кошку. Так что выходил я редко. В основном на таможах. Правда, на украинской таможне я тоже не выходил. И никто не выходил.

Перед украинской таможней водители вдруг заявили, что все должны заплатить страховку. Те, кому до шестидесяти лет, – по двадцать гривен, те, кому за шестьдесят, – по сорок.

– Мы, конечно, не имеем права вас заставлять, – говорили водители. – Но лучше заплатить. Легче будет с таможенниками вопросы решать.

Предварительно, еще дома, для «решения вопросов с таможенниками» они собрали с каждого по двадцать долларов, а с меня взяли тридцать.

– За кошку на таможне надо платить отдельно. Кошка – это повод придраться.

– У меня же все документы на нее есть. Зачем я тогда платил за документы?

Водители не имели понятия, зачем я платил не им, а за документы. И настаивали, чтоб им я заплатил также. Настаивали и, конечно, настояли.

Не знаю, платили они или как-то по-иному «решали вопросы», но на украинской таможне нас никто не досматривал. Только сунула в дверь фи-



зиономулю какая-то баба. Она сказала: «Хай щастыть», – и мы поехали в Польшу.

Поляки заставили всех выйти на мороз. Осмотрели салон, открыли наугад две сумки. Попросили водителей показать багажник. Я подумал: «Сейчас они услышат мой будильник».

– Что есть это? – сказал один поляк почти по-русски.

Водители прислушались и дернули плечами, как братья-близнецы.

– Ё-ё, – прошептал один. – Бомба.

– Это мой будильник, – сказал я. – Угличского часового завода. Очень надежный.

– Где? – спросил поляк.

Я поводит взглядом по совершенно одинаковым сумкам и не без сомнений указал на свою.

– Вы идиот? – сказал поляк.

– Нет, – сказал я. Потом вспомнил Аспиранта и глубокомысленно добавил: – А впрочем... Все мы в некотором роде идиоты.

Поляки ушли. Врядли они со мной согласились. Мы вообще были им по фигуре. Они шмонали спиртовозов и контрабандистов, везущих в Польшу дешевые сигареты. А с нас, юдише-беженцев, что толку? С нас взятки гладки.

Кошка вела себя идеально и, я бы сказал, стойчески. Она не только ни разу за тридцать шесть часов пути не ходила на горшок, но и есть не просила. Несмотря на то, что последний раз я кормил ее днем накануне отъезда. Так положено. На голодный желудок кошки легче переносят дорогу. Уже посреди Польши я дал ей йогурт, и она его без аппетита съела.

Есть и мне не хотелось, только пить. И выйти давно было пора. На очередной остановке водители пошли в кафе. Семейство в полном составе отправилось на поиски туалета, пуделя заперли в автобусе, и он стал скулить и лаять. Я выбрался на свободу с кошкой. Кошка дышала тяжело и прижималась ко мне – пряталась от ветра и от изменившейся вдруг действительности. Я размял ноги. Затекали они жутко.

Через пять минут семейство вернулось, и жена еврея с биноклем спросила:

– Есть?

– Пойдете прямо, – сказала беременная дочь, – там будет помещение и на нем две буквы – «дубль-в» и «с». Наверно, по-нашему это «эм» и «же».

– Это ватерклозет, – сказал я. – Туалет с водой иными словами.

– Вы знаете немецкий? – спросила жена еврея с биноклем.

– Это не по-немецки, – сказал я. – С чего вы взяли, что в Польше надписи на туалетах по-немецки?

Жена еврея с биноклем осознала свою оплошность и спросила:

– Вы знаете польский?

Мы с кошкой тоже сходили в найденный семейством клозет. То есть кошка не так сходила, как составила мне компанию, доставив некоторые неудобства.

Вернулись сытые водители. Мы заняли свои осточертевшие места. Жена еврея с биноклем порылась в сумке, достала русско-немецкий разговорник, открыла его на первой странице и внимательно начала читать.

Из Польши в Германию проскочили, не заметив, что «пересекли государственную границу». Просто сдали паспорта польке, а отдал их нам немец. И Германия началась. Началась с хваленного их автобана. По которому и правда ехать было одно удовольствие. Даже в переполненном микроавтобусе. Даже с голодной кошкой на руках. Даже в полную, совершенно непроницаемую неизвестность.

И вот микроавтобус повернул, и дорога пошла круто вниз. И уткнулась в город. У заправки остановились. Водители включили свет в кабине, вынули карту и стали думать, как лучше доехать до Банхофштрассе. Нако-

нец, придумали, потушили в кабине свет и поехали. На следующей заправке опять остановились. При помощи жестов и карты уточнили, правильно ли едут. Заправщик при помощи того же самого сказал, что правильно. И через минуту микроавтобус остановился у нужного мне дома. Я закинул кошку в бокс, перелез через баррикаду и, задев боксом еврея с биноклем, вышел. Водители открыли багажник и стали вытаскивать сумки на брусчатку. Я отбирал среди них свои.

– С вас пять евро, – сказали водители. – За то, что мы в очереди на таможне не стояли. Вы видели, какая там была очередь?

В доме на втором этаже я вижу открытое окно. В нем – женский силуэт.

– Эль, это ты? – кричу я, и окно закрывается. Силуэт исчезает. Свет в окне гаснет.

И тут я слышу: «Поздравляю вас». Это говорит какой-то мальчик, и я понимаю, что это Мишка, сын Эли.

– Что, уже? – говорю я.

– Два часа назад.

– Не успел, – говорю я.

– С вас пять евро, – говорят водители. – Вы слышите, пять евро.

Я отворачиваюсь от Мишки и говорю, чтобы он не слышал:

– Пошли на х... Вы и так содрали с меня сколько захотели и везли, как селедку в банке. И не договаривались мы ни о каких пяти евро.

– Это непорядочно с вашей стороны, – говорят водители чуть не плача. – Мы же в очереди не стояли, а другие стояли.

– Пошли на х... – говорю я. И они туда идут. А мы с Мишкой, надрываясь, тащим мои сумки в квартиру.

Я тащу и думаю, что стал отцом в паршивом, забитом вещами и эмигрантами, микроавтобусе.

И радуюсь, что хоть не в тюрьме, не в больнице и, как говорится, – при жизни.

### *Вместо эпилога и примечания*

И самое последнее, что я хотел... По поводу вышеизложенного. Все имена и фамилии выдуманы, после чего изменены на противоположные. Все описанные события и факты самым наглым образом высосаны из пальца. Ничего подобного никогда не было, нет и не будет. Шефа не было и не будет. Аспиранта – не было и не будет. Таможенников, водителей, врачей, пысьмэнныкив, мэрваськи, памятников, ментов, ОВИРа – не было, нет и не будет. И слава за это Богу.

«А что же тогда было? – думаю теперь я. – Акации хоть были?»

Да, акации – были. Акации точно были.

Царство им небесное.

*Лично я считаю «Октябрь» своим портом приписки, и хотя мой сухогруз то и дело заходит в другие гавани, только в родных водах он ощущает себя фрегатом.*

## Латунная луна

РАССКАЗ

**В** темноватых тесных комнатах деревянных наших домов декорации и предметы жилья в сумерки быстро теряли контуры и затирались темнотой. И без того небольшие меж них отдаления пропадали, а жилье накапливало новое житье, освидетельствованию теперь недоступное.

Был вечер. Было тихо. Говорить нам с братом ни о чем не хотелось, и мы не знали, что делать дальше. Можно, конечно, было включить свет, но тогда уходящий день сразу бы кончился.

И тут мы услышали чье-то дыхание. У самого, казалось, уха, хотя и в явном отдалении, кто-то дышал.

Мы насторожились. «Слыхал?» Обмерли. С улицы непонятное дыхание доноситься не могло – через вторые рамы, стой кто-нибудь даже у окна, звук не проникнет. Ни брат, ни я друг друга не разыгрывали – дыхание мы слышали одновременно. Выходит, не померещилось тоже.

И во всем доме никого, кроме нас, не было.

Словом, чего только не случается в слободских наших домах...

Например, к ней могла привязаться мать: «Чего это ты чудно ходить стала? Гляди – попадешься, и чего делать?!»

А она стала так ходить, потому что училась теперь не в школе, а в училище.

Звали ее Маля. По фамилии – Красова. Поэтому называли ее или Крысова, или Крыса. Но иногда употребляли еще и словечко «целка». На него Крыса не откликалась, так как было оно хулиганское и означало что-то, про что никак не догадаться.

С училищем все получилось вот как. На физкультуру пришли какие-то расфуфыренные тетki, сперва посидели, попереговаривались: «голова великовата», «подрстет – вытянется», а потом позвали учиться на Неглинную улицу.

Там перед занятиями полагалось всем переодеваться, а когда девочки вместе переодевались, становилось заметно, что у большинства туловища здорово разные, причем у некоторых день ото дня меняются.

Многое теперь следовало делать не как раньше. Даже мыться. В разных местах и каждый день, а то в раздевалке станут ворчать. Классная руководительница первая принюхается. «Это кто у нас такая неряшища?» – скажет.

А в ихней школе было мойся когда хочешь. Кому какое дело.

В огороде у них с матерью на корявой вишне появлялись весной капли желтоватого клея. Она его жевала и носила девочкам в училище. Кто взяла, кто отказалась, а одна зашептала про какую-то «Яму Куприна», которую сама не читала – книжку было не достать, – но прочесть хотела.

Еще у Крысы сразу началось не поймешь что, и девочки ей потихоньку сообщили, что в классе так уже у многих и надо подкладывать тряпочки. Сказать про случившееся классной руководительнице она побоялась, потому что, у кого такое случалось, не допускали к урокам и стыда не обещалась. Матери не призналась тоже, а тряпочки прятала под матрац. За весну их накопилось уже четыре.

И ходила она теперь мыски врозь. Так велели в училище. Еще сказали опускать до самого низу плечи и вытягивать шею, хотя спина при этом пусть остается как фанерка. Ходить таким способом сперва оказалось трудно, но потом стало даже удобней, чем раньше, а потом – что так, что так – сделалось без разницы.

«Ты по-каковски, бесстыдница, ходишь? Гляди, как докторскую дочку снасилыничают! Сдерут трусы – и всё! И будешь девочка-дырявочка».

Что имела в виду мать, грозясь «девочкой-дырявочкой», Крыса понять не могла. И так ведь известно, что все люди с дырками, хотя про случай с докторской дочкой слыхала.

Когда она оказалась в н е г л и н н о м училище, мать околачиваться по свалкам прекратила, а почему она там бывала, еще скажем.

– Ты чего сама огород копаешь? Девчонка, што ли, не помогает? – интересовалась у матери соседка, сама с Волги, в очереди за керосином.

– Ей не велели. На б а р е л и н у учится! – отговаривалась мать, а всей очереди и так было ясно, что с Малькой потом будет.

Матери своей Крыса теперь стеснялась и в училище сказала, что проживает с бабушкой, потому что отец-мать работают на лесозаготовках, а бабушка приехала из деревни с ней жить.

Когда на родительском собрании матери говорили «ваша внучка», та не протестовала, а молча сидела, держа руки на коленях. На дочкину выдумку она согласилась и бабушку послушно изображала.

Между тем Целка, не очень-то понимая куда попала и не осознавая новых порядков, училась кое-как. Из-за нескончаемой пешей дороги, потом давиловки в транспорте, в котором ее еще и укачивало (прямо даже тошнило), она в своих валенках и капоре добиралась до строгой школы с опозданиями, усталыми ногами и мятыми боками. А осенью и весной, когда наши тропы делались непроходимыми, добиралась по жидкой грязи в особо купленных для этого больших ботах. От опозданий и дорожной жуги, а также из-за слободского житья и дремлющего пока ее разума, неуспеваемость и происходила.

Из города, то есть с Неглинной улицы, Крыса после занятий спешила убраться, пугаясь больших витрин, в которых – хотя они не зеркала – виделось ее неказистое отражение. Она же была маленькая, а постройки вокруг во какие, не то что в ихних местах, куда еще ехать и ехать. Поэтому в куцей своей одежке Крыса чувствовала себя невесело и торопилась назад в наши переулки и проезды.

Зато дома она стала совсем другой. Прекратила хлебать чай с блюдечка – мать ей варила теперь кофе из серой пачки, и она пила его с лимоном. Лимонный кружок в коричневой водичке переставал быть красивым и становился как все равно вынутый из помойного ведра.

Еще она втыкала в хлебный мякиш вилку и держала его над керосинкой. Хлеб начинал хрустеть и вкусно отдавал керосином. Ей ведь теперь все время хотелось чего-нибудь вкусенького.

Или, скажем, перед ней сто граммов голландского сыра. Он подсох, пустил на себя жирный глянец и каждым ломтиком выгнулся. Ест она его как воспитанная. Ножом и большой вилкой, из-под облезлого серебра которой виднеется желтоватая подоплека. Хлеб при этом отщипывает и, когда надо, отпивает кофе с лимоном.

Или, допустим, перед ней всегдашняя пшёнка. Крыса размазывает ее по тарелке, подправляя края, чтобы получился ровный круг, а потом, дер-

жа вилку в одной, а нож в другой руке, разделяет круг на дольки, соскабливает каждую вилкой и съедает. И больше никогда теперь не чавкает.

Еще есть хороший способ поедания с т ю д н я. С т ю д е н ь вкусный, хотя холодный. Мать варит его из костей и хвостов. Он за ночь застывает и потому на тарелке вздрагивает, шатается и валится, дурак такой, с вилки. И никак его не съесть. А ложку употреблять не положено. Поэтому отковырянные холодрыжки лучше всего убирать с краю тарелки сразу прямо ртом.

Мать хотя и сбита с толку, хотя и ворчит про «разборчивость», но старается что-то достать, объясняя в очередях «она же на б а р е л и н у учится», а все кивают – как же, как же, видали мы этих б а р е л и н! Хотя никто б а р е л и н не видали и, если честно, не видали ничего вообще.

Из-за слабой успеваемости и вялого рвения Крысу пообещали отчислить и потому велели на каникулах не потолстеть, а дополнительно заниматься.

Делать это она решила в беседке, потому что дома единственное место, где могли получиться упражнения, занимал теперь колокол, и его было не сдвинуть. У нее сил не хватит точно, а у матери от него и так разыгралась пупочная грыжа.

Колокол был выше высокой кастрюли, в которой варился с т ю д е н ь. Мать, как тяжело дыша его притащила, так упустила из рук на пол. Дом прямо затрясло. Похожий на красивый кулич колокол остался стоять куда вмаялся, а по низу его было что-то написано. Чтобы прочесть выпуклые буквы, пришлось приподнять бы его с пола, но об этом, как сказано, не могло быть и речи, так что, когда мать через два дня пол помыла, Крыса опустилась возле колокола на коленки и, задравши зад, стала разбирать кривые, словно налепленное на жаворонки тесто, буквы. От сырого пола холодило ноги, и они сделались в пупырышках. Разобрав почти всё, она по складам прочитала «Заводъ Василья Иванова Мялкина 1887 года».

Читать, корячась на сыроватом полу, было еще как-то можно, а вот дополнительно заниматься, задирая, как велят в училище, ноги, – нет. Не хватало места. Ноги теперь задирались здорово и все время за что-то задевали. Мать, увидев, как Малька вздымает выше головы прямую, как палка, ногу, растерянно, но независимо сказала: «Во, руби ногой Авдотья!» И добавила: «Гляди у меня! Будет тебе а-та-та!»

Для дополнительных занятий поэтому оставалась только беседка.

А беседка – сооружение необыкновенное. Что она такое и зачем поставлена – уже стоит подумать. У нее даже итальянское название есть, но оно не для наших ушей и уводит мысль куда не надо.

Подумав же, мы сразу уясняем, что сооруженьица эти, встречавшиеся кое у кого в наших дворах, ведут свое родословие от усадебных. Те – куда там! Без них даже в книжках никак. Мы ведь именно из книжек знаем, что в ближних к господскому дому беседках пьют чай с завертяжками и сушками. Что усадебные владельцы как правило отправляются с гостями гулять. А тут дождь. Все – в беседку. Пережидают. А если солнце и даже в чесучевой паре жарко, заглядывают посидеть в тени. Опять же в сумерки с укромной барышней приходят. Слышится шепот и робкое дыханье. Трели соловья тоже. Забрывают сюда посочинять и стихи. В беседки убегают обиженные на маменьку дети. Надуются и убегают. Еще в ней секретничают барышни. Кроме того, они читают там романы, а начитавшись, говорят кому не надо «я ваша!». Иногда кто-нибудь заглянет застрелиться, и уж, без сомнения, втихомолку прокрадывается сюда барчук поразглядывать мужажущий член.

Словом, в усадьбах беседка необходима. Но усадеб больше нету. А беседки в наших местах есть и, обретаясь среди буйной травы, словно бы повышают ранг невзрачных наших дворов, то есть встречаются не у каждого.

В них выставляют ненужную утварь и в пасмурную погоду развешивают белье. Убирают лицом к стенке необязательные теперь для жизни ки-

воты с иконами. Варят варенье и еду. Иногда устраиваются даже чаю попить.

А еще в летние вечера в наших беседках происходят тайные встречи тоже. Можно, к примеру, сослаться, как проводил время один обоеполоый герой одного рассказа. Вспомните: «Напряженный, хотя независимый, имея на лице беззаботную улыбку, он широко шагал на прямых ногах, наигрывая на гитаре, и был влюблен в некую девушку, и сживал с нею, знавшей, конечно, про его загадку, в потемках, откуда звякала и замолкала упомнутая гитара».

Если бы только это! Вспоминается и распускание рук молодым Д., настойчиво обследовавшим туловище Лизы В. в Лизиной же беседке. Лиза, однако, не забывалась и, хотя просто умирала под неотвязными ладонями ошупывавшего ее Д., воли своему хотению не давала, да и вряд ли что-то могло меж них произойти, потому что Д. пребывал в таком ужасе от источника Лизой убийственного запаха полыни, что больше, хотя и обуянный нестерпимой телесной докукой, в беседку приходить не стал...

Еще можно было убрать под беседочный кров лопаты и грабли, которыми ковыряются в огороде, а еще беседка – отменное укрытие от пролетающих над нами птиц. Причем последние любят располагаться по ветвям одичавших плодовых деревьев прямо над ней. И, выходит, тут она тоже спасение.

В домашней жизни Крысы беседка была любимым местом, находясь возле почти покосившихся дверей их с матерью темного жилья, где всегда трудно быть и где из-за маленьких окошек, уставленных цветочными горшками, даже в яркий день не набиралось свету.

В ней Крыса усваивала библиотечные книжки с картинками, играла в куклы, которых у нее несколько, и теперь вот надумала, как велели в училище, дополнительно заниматься.

Сообщим же, наконец, и то, что мать ее служила полomoйкой на одном недалеком заводике, а для приработка собирала где могла цветной металл, унося подходящие детали с заводика тоже.

Цветных металлов тогда считалось три. Красная медь, бронза и латунь. Она же л а т у н я. Встречался еще и совсем не цветной, а какой-то серый, но не железный металл, из которого были отштампованы вроде как тарелки, на каковых виднелись накарябанные разные дома, а по ободку шли нерусскими буквами чужие слова. Тарелки эти во множестве появились после войны. Были они тусклые, как все равно и л ю м и н и е в ы е, хотя в отличие от тех на них заводилась какая-то белая, как все равно перхоть, парша. Утильщик их не брал. «Ты медь тащи, – говорил он. – Всего лучше красную!»

Мать изо всех сил старалась раздобыть эту самую медь, за которую больше п л о т я т, но утильный старик, даже в жару ходивший в ушанке и грязном вытянутом шарфе, всякий раз говорил: «Обратно все равно латунь». И ничего с ним поделаться было нельзя. Вот мать и отдавала в его палатку возле Пушкинского рынка, что соберет, задешево.

Красную же медь утильщик придумал для собственной корысти. Была такая медь на самом деле или ее не было, бормоча свое, проклятый старик попросту сбивал цену за принос.

Цветного металла было тогда во всех домах завались. Собрать его удавалось сколько угодно. И религиозные кресты, и ступки, и котлы со сползшей полудой, и тазы с деревянными точеными ручками варенье варить (ручки, чтоб не мешались, следовало загодя отпиливать), и подсвечники, и вьюшки, и самоварный товар, и монгольская божественная утварь.

А теперь вот и церковный колокол пуда в полтора, из-за которого мать разболелась. На выпуклом ее животе пупочная грыжа выглядела, как третья – ниже двух остальных – сиська, и оттащить колокол в утильсырье было теперь никак. Он стоял, где мать его ухнула, а потом долго не могла разогнуться. Не на тачке же везти церковную вещь мимо всехних домов. Да и где ее взять, тачку?

От своих занятий мать пахла медным запахом и даже вместо слова «вчера» говорила «намедни». «Намедни встрела его, – сообщала она сама себе у керосинки. – Пьяный! Пивом так и дышит, так и дышит! Весь оборванец, паразитина...»

О ком она так?

О Крысином отце, о ком же еще.

Тот, как вернулся с войны, сразу наладился выпивать, пока все в доме не пропил и не пропал куда-то. «Пропил и пропал! – бормотала мать у керосинки. – На помойку пропал!»

После себя отец оставил всего только баночку с каким-то белым вроде сметаны веществом. Трогать ее мать не велела. Ну не велела и не велела – Крыса все равно трогала и знала, что этим белым начищают военные пуговицы.

Не отнесенные пока что из-за материнной болезни в утиль вещи стояли теперь по всему дому. Все они были черные, а некоторые с зеленой плесенью, и Крыса сперва думала, что цветной металл только такой и бывает. Царапины же, желтую суть заплесневелых вещей обнаруживавшие, казались ей нарисованными. Так что, когда она, набрав на тряпочку отцово надобье, по черноте теранула и тертое место засияло, это было чудом и открытием.

Какой же цветной металл, оказывается, яркий и прекрасный! Пока про него забывают, он черный и даже позеленеть может. Но стоит пройтись ваткой, набрав на нее отцовой мази, сразу вспыхивает, становится гладкий, золотой, а вся плохая чернота переходит на ватку!

Теранула же она по какому-то ребенку с крыльшками как у бабочки, который угадывался под грязью на свалочном подсвечнике. И тотчас из нечистоты появилось как у мальчишек, когда они п ы с а ю т, место. Золотое-золотое. Мать сразу рассердилась: «Аха! Заинтересовалась? Я те задам!»

«Когда еще мать отнесет что набрала! И если попротирять...» – задумалась Крыса, собираясь играть в куклы. Она ведь все еще в них играла, хотя и могла уже стать девочкой-дырявочкой (поймешь разве, что это значит?).

Главную куклу звали Латуня. «Ну всё, Латунь, если поела, подмывайся и ложись спать! – сказала ей Крыса. – Будешь ты слушаться, Латунька, или нет?!»

Мыуже говорили, что надобность в данной гигиенической процедуре возникла, когда Крыса попала в училище. Теперь она мыла где положено и кукол, вытирая их потом ветошками. Тряпичные куклы сразу сырели, а фланелевые их ноги, намокая, темнели. Удобнее всех было мыть голыша – правда, сперва приходилось вывернуть назад его целлулоидные ножки.

Еще она наряжала кукол как в балетное и устраивала из них постановку в театре. Однако тряпичные ноги умели только свисать, а у голыша хоть и поворачивались, но не как надо. Ух, она их за это ругала, даже двойки ставила!

Укачивая помытых ко сну кукол, Крыса пела им колыбельную, которую ей самой в свое время пела мать:

Просидел Сороковья  
Двадесят годов в овине,  
Там где куры-индюки,  
Травяные пауки...

Мать пела, а засыпавшей девочке начинало казаться, что от Сороковьи, замохнатевшего с годами в о в и н е, отъединяется в колыбельных словах еще и какой-то Вовыня. Сейчас этим Вовыней ей представлялся всякий местный мальчишка, а она, между прочим, мальчишек сейчас терпеть не может.

Вот, скажем, ее дорога домой.

Только что, говоря «скоро будет лето», все предполагали что-то хорошее, и «скоро будет лето» началось взаправду, так что вокруг зеленый по-

летнему день и уже немного пылит дорога. Крыса доезжает на девятом троллейбусе до остановки Село Алексеевское. Потом проходит мимо ветеринарной лечебницы, после которой вокруг нее принимаются летать белые бабочки. Они не мешают, наоборот, вы движитесь с ними вместе. Бабочки перепархивают из одного места воздуха в другое, она тоже – из одного места в другое, но по земле.

Из-за новой походки идти по нашей дороге теперь непросто. Дорога эта – вся в затверделых колдобинах и желваках желтой глины, и можно попортить ноги, а этого в училище не велят. За канавой, которая пролегла вдоль дороги, тоже не пойдешь, там из-за заборов вываливаются большие в обильной листве толстые ветки. Под них придется подныривать, и правильно, как велели в училище, ступать не получится тоже.

Зато между дорогой и канавой тянется узкая травяная полоска. По ней, по травяной этой кромке, выпуклой, как всё равно у старших девочек в раздевалке, идти получается.

Кроме бабочек по пути попадают мальчишки.

Мальчишкам этим не нравится, что она не в триста четвертой, а в какой-то неведомой школе, а еще они считают, что все б а р е л и н ы – шма-ры. Их же, б а р е л и н вротских, ихние пацаны держат за любые места.

Мальчишки эти – Вовыни то есть – оставшись за спиной, плятятся вслед и шепчут: «Во Целка пошла!»

Туловище Крысы, хоть и устало после занятий, хоть и болит где-нигде, но идет она как пружина. «Как пружина, как пружинка, как пружинка-закружника, как девочка-бабочка, как бабочка-дырявочка» – толчется вместо мыслей у нее в голове. Прямо вся голова занята.

Тут выпуклая, как у старших девочек в раздевалке, травяная кромка кончается и надо перепрыгивать на заканавную дорожку. А Крыса давно уже перепрыгивает не так, как прыгают в наших местах. Вот бабочки мотнулись на заборную листву, и Крыса прямо со своего странного целочного шага, растянув в прыжке ноги и на мгновение, как учили, повиснув в воздухе, медленно канаву перелетает и тут же, хотя мешают ветви, пускается идти теперешней своей как ни у кого походкой.

«Во сиганула Целка!» – слышит она за спиной.

Потом долетают другие хулиганские слова, а потом становится слышно пыхтение. Это из-за нее. Она представляет, как все происходит. Вот кто-то поваленный стукнулся головой о глиняный желвак, вот который на него навалился, бьет его кулаком в нос. Вот у поваленного т е к е т кровь с соплями.

В голове ее теперь новая толчея. «Кровь с соплями, кровь с соплями, кровь с соплями... соплянка-кровинка, кровинка-соплянка, кровянка-соплянка...» С чего это они до крови дерутся?.. Будь у Крысы сейчас соевая шоколадная конфета «Кавказская» по рушь восемьдесят кило, она бы этому в кровяных соплях, может, ее и дала бы, а может, сама бы съела...

Тут бабочки затевают плясать друг возле дружки и сразу отстают.

Обычно, когда она добирается домой, мать кряхтя встает с койки, ковыляет к керосинке и, чему-то радуясь, напевает:

В городке Электросварщицке  
Перевелся возраст старческий.  
Барыня-барыня,  
Полюбила парыня,  
Барыня-барыня,  
Парыня-татарыня!

Сегодня, правда, мать невеселая. Во-первых, сильно разболелась грыжа, во-вторых, бормочет о ком-то, кого встретила на улице: «Пивом от сволоча так и разит!»

Мать в самом деле нет-нет и встречала отца. Приметит, что невдалеке маячит оборванная фигура и от прискорбной фигуры этой несет, как на ее нос, пивом, и в такие дни бывает не в духе.



Маля слышит недовольное материно бормотание, но почему оно, не знает, да и по правде говоря не очень вслушивается.

Всего чаще мать встречала отца на свалке, где он, ковыряясь тоже, составлял ей по части цветного металла конкуренцию. Меж них доходило даже до драки, однако в конце концов слабый от выпивания отец спасовал и – уstraшенный – на цветной металл претендовать прекратил, перейдя на тряпье. А значит, слонялся сейчас по помойкам, хотя словесно был так же требователен и повелителен, как до пропащей жизни.

Эх, свалка-свалка! Пишу я о тебе, пишу и никак не опишу. Никак не опишу тебя, огромную и смрадную даже зимой. Какая же ты, свалка, все-таки свалка! Какая ты грязь и мразь на земле! И на макароны по-флотски похоже твое вещество, и мутные лужи повсюду, и стекляшки сверкают. И пахнешь ты нищим стариком, хотя запаха, как все нищие, держишь при себе и по сторонам не пускаешь. И сатанинские на тебе мерзкие куколки. И экскременты недр. А теперь еще вдобавок – по утрам, когда туман и тишина и солнце на бугор не выползло, – какая-то тощая фигура поднимается из-под куста и вся прямо трясется. То ли оттого, что за ночь озябла, то ли с голоду, то ли похмелиться надо. И вот – пожалста! – пошел по свалке тощий человек, весь черный, а кажется, что серый, согнулся, сгорбился и заштрихованный своим житьем куда-то направляется, серая в тумане и пропадая в нем, как верблюд какой-нибудь...

– Еще чего выдумала – оглоблю присобачивать. У меня же грызь! – запротестовала мать, не постигавшая идеи дополнительных занятий. – Я тебе что, не мать?!

Маля заплакала:

– Ты мне не мать, ты бабушка!

– Бабушка, да? Бабушка! Да у меня же лытки вон какие еще тонкие!

И обе стали прилаживать в беседке перекладину, за которую будет держаться дочка, чтобы, вздымая, как ее научили, ноги, не валиться набок.

Для перекладки этой, почему-то именуемой Малькой «станок» (хотя станки всегда железные и намащенные, как на материном заводе), они решили приспособить оглоблю. Сломанная пополам оглобля была брошена возницей возле их забора еще зимой, когда упавшая лошадь переломила ее своим туловищем. Возница лошадь пинал, орал на нее худыми словами, хлестал, а когда заставил подняться, из второй оглобли приспособил как все равно дышло и, сказав «с дышлом нечистый ездит», сломанную забирать не стал.

Кровля над беседкой была о четырех углах, а сама беседка – о шести (сколько уже раз Крыса их пересчитывала!) и обводилась низкой оградкой из нехитрых баясин. Был в беседке и темный от времени дощатый пол. Неширокие его доски, каждая выгнутая желобком от земляной сырости, перемежались щелями для сороконожек и мокриц, и в щели эти, если что закатится, не достать.

Пропустив один беседочный угол, они положили оглоблю на идущие поверх баясин перильца, и мать кривыми гвоздями стала приколачивать к перильному бруску ее концы. Заколачивала мать старые рыжие гвозди почернелым пестом непонятно для какого обильного толчения служившей когда-то здоровенной ступки, которую ей отдали Крюковы. При этом в месте, которым пест ударял об гвоздь, сразу начинала виднеться желтая л а т у н я.

Когда они колотить заканчивали и уже вечерело, вдруг затрещали кусты, словно сквозь них ломился незнакомый какой-то мужик. Они здорово испугались, но это – вот ведь зараза какая! – был самый настоящий еж.

Еж-пердеж,  
Куда идешь? –

стала приговаривать развеселившаяся мать – легко же пойманный зверь оказался совсем не колючим, а просто, скатавшись в шар, тяжелым и мя-

систым. Держать его в руках получалось у Мали с натугой. Живое всегда тяжело держать. Еж был черно-серый, как свалочная находка. К тому же в увесистом ежином колобке что-то пульсировало, сопело и хрюкало, словно бы он сморкался в кулак.

Ежик попил из блюдечка молоко, а потом всю ночь, топая как мужик, ходил по дому и не давал спать. Жить с ним получилось бы веселей да и уютно бы он всех извел, но от гостя пришлось избавляться, потому что он во многих местах липко нагадил.

Когда ежа уносили обратно в огород, мать с сожалением сказала: «Их же цыганы едят! Может, Маховше продадим? Нам такого здоровенного не съест. Да я и не знаю, как его жарить».

Дни стояли тихие. Сухие, ясные и совсем не душные. Славные, в общем, дни. Летали одуванчиковые пушинки, народившиеся воробьи поднимали с утра шум и гам. Скворец в ожидании своих маленьких распевал в соседском дворе и приглядывал за кошкой. На всё садились мухи. Обыкновенные и зеленые – помоечные. Вы как хотите, но я такие дни считаю прекрасными. А уж вечера!

Крыса принесла в беседку всех кукол и рассадила их у балясин, чтоб глядели, как она занимается. Заниматься, однако, оказалось тревожно – за забором угадывалось полно глаз. Цельная орава Вовынь, похоже, подглядывала за ее упражнениями.

Тогда она решила переложить дополнительные занятия на вечер.

К вечеру мать пошла варить ужин, а она отправилась в беседку. Теперь заниматься было можно, но бессчетных, как в театре, глаз, подглядывавших сквозь щели в заборе, вроде как не хватало. Ей, правда, такое в голову не пришло.

Оглобля оказалась кривой, куклы на Крысу глядели без интереса, а когда она принималась выворачивать им по-балетному ноги, тряпичные ноги, как всегда, валились свисать. Словом, дополнительно заниматься оказалось неинтересно.

Между прочим, куда-то подевался Вовыня. Латунькин муж. Самая главная кукла. Мать сперва подумала ясно на кого (он же все тряпичное в утиль сносит!), потом на ежа, потом на мальчишек, но Крыса решила, что Вовыня после того, как ему на глиняных желваках пустили кровянку, обиделся и уехал на девятом троллейбусе.

«Ну и пусть! – сказала она. – Надоед не знаю как!»

В беседке становилось темно, на щелястом полу особо ногой не шаркаешь, и заниматься ей расхотелось совсем. Кроме того, с утра понадобилось подкладывать тряпочку.

Однако нужные движения можно было делать и по-лежачему – в классе некоторые из упражнений сперва пробовались лежа. Бывший в беседке сколоченный из горбыля стол прекрасно для этого подходил. В потолок же она глядеть привыкла, потому что после школы приучилась отдыхать, укладываясь навзничь, отчего перед глазами оказывался низкий комнатный потолочек, оклеенный пожелтелой и отставшей, где оклейка переходила на стену, бумагой.

В беседке же под кровелькой был черный из брусков крест, на котором, как все равно артисты за кулисами, суетились длинные – сами бурые – муравьи, таскавшие куда-то белые яйца.

Она лежит на столе, а когда перестает шевелиться, слышит словно бы чье-то дыхание, к тому же мимо на мягких растрепанных крыльях что-то бесшумно пролетает. Между прочим, это сова из останкинского парка, о которой никто из нас понятия не имеет, да и вряд ли кому-нибудь придет в голову, что у нас водится Минервина птица. Они же летают по-совиному неслышно, а если по ночам кричат, то в парке или Дубках, которые за церковью Святой Троицы, но оттуда из-за расстояния ничего донестись не может. Почему нам тогда знать про совиные полеты?

С первого взгляда может показаться, что Крыса пока что неумело, однако производит на столе женские уже, взрослые движения. Но это с виду –

на самом деле она просто повторяет учебные премудрости. Вот, вытянув мысок, вертикально поднимает напряженную ногу, вот, отложив эту ногу – согнутую теперь в колене – она напряженной до невозможности стопой касается колени другой ноги, а потом – переменяв ноги – делает всё наоборот. Затем упирает одну в другую подошвы и тянет ступни, не размыкая их, к себе, а это можно сделать, если донельзя разложишь колени.

Еще Крыса то и дело вертит ногой не по программе. И одной, и другой. Так интересней, чем повторять школьные упражнения. И ноги при этом куда лучше виднеются.

В голове ото всех усилий начинает шуметь. Там ходит по своим ходам глупая девчачья кровь. Кровянка-соплянка, кровянка-соплянка... Вечерняя трава и кусты, производя свои запахи, тоже шумят. Вдобавок у Крысы в ушах шуршит, и шуршание это отделить от кустового невозможно. Тряпочку приходится подправлять.

Тут кто-то как будто задышали и вроде бы потянуло пивом. Пивного запаха Крыса не знает и потому про него не думает. Кусты, цветки и летняя трава без того пахнут по вечерам многими дурманами. Крыса на беседочном столе снова вытягивает подъем, а потом, снова согнув ногу в колене, натянутыми пальцами касается другого колена. От напряжения сразу сдвигается голова, отчего в кровельной дырке вмиг возникает луна. Совершенно желтая. Появившись, она тут же начинает втискиваться в беседку, словно Крыса черную только что дырку протерла кончиком ноги с белым отцовым веществом на мыске и сразу засверкало как все равно у мальчишки с подсвечника. Увы, кровельная дырка оказывается луне тесновата, потолок от натуги чернеет, и из него начинает плыть яркая золотая желтота. Крыса опять поправляет тряпочку. Кусты затрещали пуще. Это наверно еж... еж-пердеж... еж-пердеж... И сильнее задышали пивом...

И сквозь дырку втекает желток небес, а на беседочном столе лежит ленивая девочка в золотых от обнаглевшей лунной латуни трусиках...

Пивом так пахнуть может, если выпить его, продававшегося в деревянной будке и сильно разбавляемого нахальной торговкой, – много-много. А чтобы столько выпить, надо набрать по помойкам довольно тряпья и кашля, и согнувшись под огромным узлом, оттащить всё к корыстному старику, который у Пушкинского рынка...

А потом хорониться за кустами и глядеть на Целку, выхваляющуюся на столе.

Если так повернется сюжет...

*Февраль – лето 2004*



Анатолий НАЙМАН

*Было дело, написал я поэму и читал ее на квартире у друзей. Друзья – молодая пара, актеры, и все собравшиеся – тоже актеры, их приятели. Они тогда играли в театре пантомимы. Как говорил наш общий знакомый, музыкальный критик, «в полном кочуме». От лабухского «кочумать» – «молчать».*

*Мы сидели в гостиной, она же столовая. А за дверью, чуть приоткрытой, стояла старая хозяйка – разглядывала и слушала. Такая старая, что во избежание распросов, чего это она такая, юная хозяйка, голубоглазая и золотоволосая, звала ее бабушка. Меня она невзлюбила сразу, как увидела, и все, что я дальше делал и говорил, укрепляло ее первое впечатление.*

*Поэма начиналась так:*

*Октябрь – очарование очей.  
Бесцветно все, но вдруг в порыве ветра  
пейзаж вдали качнется, и ручей  
окажется в легчайшей части спектра.*

*И еще 350 строчек.*

*Когда чтение кончилось и кто глубокомысленно, кто, наоборот, изящно высказались и стол покрылся бутылками и тарелками, а хозяйка пошла за закуской на кухню, тетя-бабка встала на пути и, презрительно усмехаясь, проговорила: «Он что, вам сказал, это е г о стихи? Это П у ш к и н а стихи!» Слова тотчас были оглашены, все их оценили – кто красноречиво, кто мимически. Когда стали расходиться, приоткрыта была уже дверь боковая. За ней, устремлены на меня, горели глаза, выражающие беспримесное отвержение. Я сунулся в щель и пробормотал: «У Пушкина октябрь – месяц, а у меня – литературный и общественно-политический журнал».*

*Это было сорок лет назад, журнала «Октябрь» я в глаза не видел, только слышал звон. Теперь я в нем печатаюсь, захожу в помещение, более или менее в курсе дел. Не сказать, что «очарование очей», но на дифирамб изящно-глубокомысленный тянет.*

*И Осавиахим, и Допф,  
И даже Термидор Французской революции –  
Названия довольно куцые  
В сравнении с Ж у р н а л ь д' О к т о б р .*

Владимир КАНТОР

*Как-то Маяковский сказал Бабелю: «Опубликуйте свои рассказы у нас. Мы на юру. Вас сразу все заметят». Бабель, как известно, согласился. Разумеется, дело было не только в журнале, но, конечно, в таланте писателя. Хотя журнал в России всегда являлся своего рода трибуной, с которой мы привыкли слышать, извините за старомодное слово, правду о нашей жизни. Есть трибуны, с которых слышно всех, даже тех, у кого не очень громкий голос, но зато истинные интонации, которым люди доверяют. Более того, журналы были точками роста и нравственного собирания людей. Многого изменилось в нашей жизни. Но, к счастью, такие журналы еще у нас есть.*

*Я хочу говорить об «Октябре». Снобы скажут: «Само имя говорит о старорежимной большевистской традиции». Попробую возразить.*

Мы живем в стране опрокинутых понятий. Октябрьская революция, если говорить о восприятии европейцев, произошла в ноябре, как и предсказал Пушкин в «Медном всаднике». А месяц октябрь он любил. Впрочем, подтверждая то, что месяцу не имел никакого отношения к большевистскому перевороту, годовщину «Великого Октября» мы в советское время тоже праздновали в ноябре. Ноябрьский ужас стыдливо прикрывался октябрём.

А октябрь – на самом деле месяцу удачливый, когда окончательно завершён сбор всевозможных урожаев. И мне хочется думать, что журнал так и назван в честь месяца, а не в честь революции. Конечно, существовал и кочетовский «Октябрь». И все-таки даже он печатал Владимира Максимова, да и романы самого Всеволода Кочетова по остроте своей вызывали безусловный болезненный интерес у интеллигентного читателя.

Чем дальше двигалась история, тем неожиданнее становились ее повороты. Началась «гласность», привычная для русского уха замена понятия «свобода слова». «Эра благодетельной гласности», как острили в XIX веке. Мне больше нравится, однако, понятие «цель истории», как назвал такие просветы русской судьбы один советский философ. И тут именно «Октябрь» стал собирать роскошнейшие плоды этого «просвета». Печатается ахматовский «Реквием», затем самый великий роман о войне и сталинизме – «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана». Конечно, это был не просто сбор, а еще в те годы и риск. Строго говоря, «Октябрь» перехватил функцию твардовского «Нового мира» – открывать новые имена. Ведь даже роман Гроссмана, писателя известного, был, по сути, открытием нового имени. Перечислять публикации современной классики в «Октябре» нелепо, их много, они и создают поле духовного напряжения и притяжения читателей. Однако не могу не сказать о публикации романа моего покойного друга Владимира Кормера – «Наследство». Я помню, как известные литераторы клялись на поминках Кормера приложить все силы, чтобы опубликовать его наследие. Потом некоторые из них имели возможность, возглавляя отдел прозы в одном из толстых наших журналов, свое обещание выполнить. Но как же! Ведь есть журнальная политика! А проза Кормера в эту политику не вписывалась. Ни одной строчки они не напечатали. Журнал же «Октябрь» рискнул опубликовать в трех номерах самый большой роман Володи. А ведь несмотря на премию Владимира Даля, учрежденную во Франции, он был тогда совершенно неизвестный в России писатель...

Мне повезло: я не только читатель, но еще и автор этого журнала.

Естественно, что любой мало-мальски рефлектирующий человек ищет некое единство самого себя. Чтобы его многосторонняя природа обрела бытийственный смысл. Я всегда чувствовал себя живущим в «двух домах». Как назвал свою первую повесть, так оно в жизни и случилось. С одной стороны, культурфилософ В.К. Кантор, с другой – писатель и Dichter – Владимир Кантор. Одни знали меня так, другие – эдак. В примечании к одной моей статье был я обозначен как «философ и писатель», и я на момент оцутыл чувство воссоединения с самим собой. Но двум домным я в своей литературной жизни все-таки оставался. Двудомным, которого все хотели поселить в одном из домов. Скажем, для «Вопросов литературы» я навсегда остался ученым, постоянным автором, но о прозе говорить не приходилось. Да и в других толстых московских журналах тоже. Чего этот литературовед и философ в прозу полез?

Существуют идолы рынка, писал английский философ Френсис Бэкон: как на рынке назвали, так тебя и воспринимают. Мое философское прозвище все больше и больше давило меня. Начало своего воссоединения с самим собой я отсчитываю с 1995 года, когда в течение одного года в «Октябре» были опубликованы рассказ и статья.

«Октябрь» стал печатать не только мою прозу, но и культурфилософские мои статьи. А быть самим собой, выйти из состояния шизофренического раздвоения, – об этом может мечтать любой российский человек.

Вот так и оказался в моей жизни журнал, без которого я теперь и не мыслю своей жизни...

Повторю то, с чего начал: журнал издавна заменял в России кафедру и трибуну. Только опубликовавшись в журнале, писатель или мыслитель получали шанс на

*внимание публики. И многое зависит от высоты трибуны, от той возможности свободного высказывания, которое предполагает та или иная трибуна. «Октябрь» сегодня стал трибуной подлинной свободы. Где критерий один – позиция свободного человека и литературное качество. Мимо этой трибуны пройти невозможно.*

---

## Дмитрий БАК

---

*Поздравлять «Октябрь» легко и приятно. Сколько замечательных романов, мемуаров, поэм в первые годы после перестройки снова обрели читателей благодаря «Октябрю»! Сколько маститых прозаиков, поэтов, публицистов на долгие годы связали свои творческие судьбы с журналом!*

*Впрочем, мне кажется, что правильнее будет говорить не об успехах, а о надеждах. Журнал не поживает на лаврах, вместе с братьями-«толстяками» продолжает определять основные координаты современной литературной ситуации. Взгляните на списки претендентов на престижные премии – и все комментарии окажутся излишними. И еще об одном умолчать не могу – о внимании, которое традиционно оказывается в редакции «Октября» дебютантам. В прошлом году десять молодых критиков, опубликовавших рецензии и эссе в рубрике «Штудии», были отмечены годовой премией журнала. Я уверен, что для многих из них это событие станет началом профессиональной литературной работы, и не могу этому не радоваться. Вот такая нынче в «Октябре» царит смелость, я бы даже сказал – дерзость!*



## Михаил ТАРКОВСКИЙ

---

*От редакции. Михаил Тарковский тоже хотел поздравить нас, но живет он далеко и связаться с нами не имеет никакой возможности. Мы с большим трудом окольными путями смогли передать ему, что повесть выйдет в юбилейном номере, и, когда номер уже сдавался в печать, вот какую телеграмму получили в ответ:*

**«БАХТА КРАСНОЯРСКОГО ТУРУХАНСКОГО**

**МОСКВА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ»**

**ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТПРАВИЛ ТЕПЛОХОДЕБОРА ВАМ ДОЛЖНЫ ОТПРАВИТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ЗАПОВЕДНИКЕ ТАРКОВСКИЙ».**

# Енисей, отпусти!

ПОВЕСТЬ

## Глава I

1

Глаз человеческий так устроен, что враз один только кусок жизни видеть, и если стоять на берегу реки или океана, то углядишь лишь воды сизую полосу, да камни, да ржавый винт, да домишко с дымом, да еще что-нибудь заскорузло-простое, вроде ведра и лопаты. А бывает, во сне ли, в какой другой дороге так от земли оторвет, что аж зудко станет, как глянешь вниз – сначала будто облачка пойдут, потом забрезжит что-то промеж них, а дальше присмотришься – и вся махина памяти разворачивается, будто плот, и куда ни ступи – все живей живого, и одинаково важно каждое бревнышко, а вовсе не то, что последним подцепил.

Один человек был женат трижды. Прожил он долгую и трудную жизнь, идя в ней по велению сердца и делая то, что считалось правильным среди его товарищей – простых и работающих людей, промысловых охотников. С первой женой прожил он несчастливо и расстался, потеряв сына. Позже встретил и полюбил он другую женщину, но и с ней долгих отношений не вышло. Тогда он совершил поступок, многими наотрез не понятый: оставил тайгу и все в ней нажитое и уехал в город. Там он вскоре сошелся с доброй и приветливой женщиной, однако привычка к промыслу оказалась столь сильна, что через несколько лет он затосковал и решил вернуться ненадолго в те таежные места, где, как ему верно казалось, он только и был собой.

Неоглядный снег и лед встали перед глазами с первых дней жизни в городе и уже больше не отпускали. Виделось все по-зимнему отчетливо: меловой яр с гранеными откосами и черными языками тайги, деревня с такими вертикальными дымками, что казалась подвешенной за них к небу. Синяя алмазная даль, резные торосы, залитые снегом, словно мчатся единой и неистойвой стаей, и за каждой торосиной с подветренной стороны шлейф, стрела, нисходящее снежное ребро с точеным лезвием.

Солнце низкое и густое, будто пробиваясь сквозь кристаллический воздух, перегорает от натуги, да и дня-то нет – один закат. Все резкое и нежное, словно выделено главное, и внутри все чувства тоже окрепшие и

самого густого замеса. Снег на заторошенном Енисее рельефный – бескрайнее горное покрывало, и у каждой вершины один склон нежно желтый, а другой – синий.

Прорубь с засаленной прозрачной водой и рыбина с огненными пятнами на боку, замирающая, чуть коснувшись снега, будто тот под морозом, как под током. Обратная дорога с сети, терпеливое переваливание ревущего «Викинга»\* через торосы, полет вдоль берега и избяное тепло, медленно доходящее до лица сквозь забрало куржака. И чувство, когда и точная тяжесть пещни, и холод, и арктическая ширь Енисея, и жар печи доведены до такой обжигающей остроты и так режут по душе, что все прочие лезвия как посаженные.

Пока месить снег или ворочаешь засевший в наледи снегоходище, ослепительность снежной окрестности будто выключена и становится наградой лишь по завершении дела, когда, переодевшись в драную фуфайку и таща в избушку охапку дров для раскаленной печки, боковым зрением уловишь догорающее небо. И именно эта вековая драная фуфайка и ватный зуд в перетруженных ногах и дают право на этот алмазный снег, рыжую икру в мятой алюминиевой чашке и красно-зеленое зарево северного сияния, набранного из фосфорно светящихся иголок – точно таких, на какие по весне рассыпаются непомерные обсохшие льдины.

Колка дров, скрип полозьев, легкие и крепкие звуки, будто все пространство поскрипывает на морозных шарнирах, и ликующие дни в начале зимы – с бледно-рыжей взвесью солнца в воздухе и огненным желтом над местом его погружения, и законченное совершенство округи тем непосильней, чем раздрызганной людская жизнь. А дальние и ближние предметы одинаково четко глядятся сквозь стеклянное пространство меж небом и землей, и оно заполнено то синим, то рыжим, то сизым гелем и лишь в оттепель отмокает в бесцветном растворе.

Загар самый жестокий весной, когда день длинен несказанно и синева в воздухе то прозрачная, то шершавая с седым песочком, но всегда обложная и затухает лишь на ночь. С утра и до полудня мороз и округа еще под слоем железного снега, и человек в тайге ли, на реке ли – всегда в дороге, и лицо выделано потом и выдублено налетающей смесью солнца, ледяного воздуха и снежной пыли. С ветра кожа красная и ночью во сне остывает, как заготовка, доспевает смуглостью, зато лоб под шапкой всегда голубовато-белый, и граница – как по линейке. Ниже нее рыжина, смуглина, охра – луженая, жухло-кремневая, будто вековая; глянешь – вот и кедровая плаха такая же, и смола на затеси, и жир на подвяленной рыбине – все одного хозяйства инвентарь, одной далью мечено.

Было тогда что-то дальнобойное и в облике Прокопича. Лоб, лицо прямое, брови, выгоревшие до белизны, скулы обожженные, каленые, каркас их высокий, крепкий, будто для раздвижения пространства, отбоя ветра. Лицо густо-желтое, и на передыхе-остановке на нем в прозрачные капли топится снежная пыль. Кожа чуть подсочена, подсушена морщинками, и дело не в возрасте, а в постоянном прищуре, выглядывании дороги то в слепящей бесконечности, то в мутном молоке. Теперь лицо Прокопича розовато-белое и дряблое, словно лишившись загара, осталось без пропитки от старости.

## 2

– Знаешь, Прокопич, поезжай – я тебе уже и рукавицы сшила. Поезжай – и тебе, и мне легче будет, я тебя прождала столько, что уж три месяца не разговор. Все равно жизни нет... с твоим Енисеем. Садись пилимени ись, – говорила Зинаида Тимофеевна, женщина негромкая и умная тем крепким и добрым умом, которым бывают так сильны простые русские люди, хлебнувшие лиха и выжившие внутренним светом.

\* «Ямаха-викинг» – название снегохода.



Енисей, выбираясь из города, начинался постепенно, ширясь с каждым днем дороги и, словно щадя, забирал душу постепенно. Толкач буровил его двумя спаренными баржами, заставленными контейнерами, бочками, железками. Все это было нагромождено так плотно, что, казалось, вот-вот рухнет и только держится друг на друге, как на клею. Баржа сидела низко, и вода перекачивалась через нее, как через плот. Прокопич то поднимался в рубку к капитану, крепкому дельцу и давнишнему знакомому, то стоял на палубе в неуклюжем оцепенении, раздавшейся фигурой вбирая простор.

Скалистые лесные хребтики, дымка, проблеск автомобильного стекла на берегу – все казалось огромными пространствами для счастья, куда можно вместиться своей кубатурой, а лучше двумя смешанными, заполнить, чтобы оно наполнилось смыслом, заработало, а не пропадало ничейной и дразнящей далью.

В А., последний большой поселок перед деревней, пришли утром и встали на разгрузку. С борта тленно-речной запах берегов, смолистый – леса доходил только слабыми волнами, отрывками и теперь догнал и поглотил. Галечный берег, грубо развороченный колесами и гусеницами, полого восходил к высокому угору, вдоль взвоза стояли в разных позах ржавые баржи и понтоны, мимо них медленно спускались к воде трактора и машины. На рейде плавкран поднимал лес на грузовое судно.

Обилие техники должно было поглотить, закоптить, но все это грохочущее железо оказывалось ничтожно мелким, незначительным по сравнению с огромным Енисеем, с дымкой, белесой не от снега, дождя или тумана, а от запредельной задумчивости пространства. И чем дальше к Северу, тем сильнее ощущались осенняя тугота пространства, его наполненность каким-то выматывающим смыслом, от которого сосало под ложечкой и казалось, что все люди с их судьбами нечто подсобное, а главная тяга где-то рядом гудит в навалившемся поднебесье.

Весь день ждали кран, усланный на другую работу, и Прокопич прибил к вареву прибрежных мужиков, необыкновенно невозмутимых на любую проволочку, отточенных на слово и мастерски притертых к окружающей обстановке. Обсуждали дизеля, легко кочующие с машин на баржонки и наоборот, и продирались по самым сложным узлам с такой свободой, что любая запчасть, протертая их комментариями, набиралась невиданной живучести. У каждого была прорва техники, и они, как руки, продолжались ею в тайгу и на реку и теперь из затишка передышки озирали свой размах, и без их участия будто хранящий форму.

Терся при них поддакивающий и никем не замечаемый мужичок, давно уже существующий при утечке водки, как жадная тряпочка. О своем вечном похмелье он рассуждал, как о чем-то отвлеченном, внешне планетарном, и исключал всякую его связь с собственной волей. Он с тихим раздражением бубнил, что если не похмелится, с ним снова будет то-то и то-то, и требовал подмоги с чистым сердцем. Не встречая в других отклика, он почти жалел их за трудное и многогранное существование, и если у всех окружающих жизнь имела неизбежные перекладные и пустоты, то лишь он один казался обеспеченным монолитным делом до конца.

Обладал он своеобразным географическим сладом с пространством и, рассказывая о родных, с точностью до градуса давал хозяйский направ-кивок головой: «в Хатанге», «в Алинске», «в Чиринде». Примечательно, что прострел «в Южно-Курильске» звучал так же просто, как и «в Шишмаревке».

Нужный кран в тот день так и не приехал, и разгрузка баржи перенеслась на утро. Небо расчистилось, и на фоне заката плавкран монотонно вращал стрелой, взрабатывая дизелем и нанося соляркой. Пароход с лесом ушел, и над головами вместо строп носился огромный трехстворчатый ковш, которым кран брал у себя из-под борта грунт. Ковш, раскрыв пасть, с грохотом рушился в воду, отяжелело поднимался, полный гальки, и из его сжатых челюстей мощными лентами сыпалась вода. Вечерний холодок подобрал дымку, и даль с металлической толчеей волн и темно-синим хребтом будто сложилась, и в душе тоже все сжалось в одну крепкую

картину при взгляде на пылающее рыжее небо, на фоне которого продолжал метаться черный и отчетливый ковш.

Утром подошел снизу катер с баржой, и Прокопич еще продолжал kutatся в остатки сна, казавшиеся тем уютно-спасительней, чем настойчивей врзалась в сон упругая сирена. Воздух был режуще свеж, когда он вышел из затхлой каюты, спустился по трапу и, прохрустев мокрой галькой к воде, умылся ледяным Енисеем.

Поворот скрывался в тумане. Катер работал, пенилась белая вода из-под кормы, парнишка-матрос, сидя на сырой бухте каната, курил папиросу, и дым был острым и давнишне знакомым. Темный берег стоял стеной, но солнце уже холодно лучилось сквозь лиственницы, чайка кричала с реки вольно и отстраненно, и все эти безошибочные штрихи брали глубоко и вязко, будто подлинность жизни была в прямой зависимости от ее сырости и стыни.

И Прокопич все больше терялся в густом и плотном тумане происходящего, и каждый день за ним смыкались мысы, как глухие двери, и то, что значило все, с утра рвало душу, а к ночи рубцевалось и отпадало отсохшей корочкой, и все было неправдой – и эти глухие, как туман, створки, и эта корочка, и эта требовательная даль; а правдой были только совесть, память и то, как укладывается неподъемная бухта жизни в сердце и голове.

Палуба баржи, на которую он поднялся, была со швами сварки и вся в испарине, и на ней стояли оббитые трактора без фар, ящики, узлы и бродил сутулый кержак в энцефалитке.

## 3

Прокопич держался на том, что святее и единственное той жизни, которую он вел, нет ничего на свете, а когда уехал в город, оказалось, что остальные людские пути сосуществуют в мире с таким стальным и равнодушным равноправием, что его судьба чуть не распалась. Другая жизнь была униженно рациональней и требовала опоры, но любая из этих опор по сравнению с Енисеем казалась искусственной и нуждалась в постоянном укрепе. Да и плотность этой жизни казалась чрезмерной по сравнению с сельской, происходящей из естественной утряски людей по земной поверхности. Она-то и давала и разреженность, и волю, делая из каждого человека событие.

Относиться хуже к людям он не стал, но именно в вынужденности людской близости, не подкрепленной никакой обобщающей далью, и была основная потеря городского сожителства. Худая близина эта заминала какие-то важные закраины души, и что-то в ней гило, отмирало и гасло, и даже во сне толпы посеревших смыслов клонились и мялись в ее волнах, как водоросли.

И много тяжелой воды утекло, прежде чем Прокопича выдавило сквозь слои осознания и вернуло жизни, но уже на других правах, и теперь все, что он встречал, находилось с ним в особых отношениях, которые нельзя было назвать иначе, чем последняя близость всему существу. Все живое и неживое стало так право самим фактом своего существования, что прежний опыт уже не давал ничего, кроме чувства великого незнания, и бывшего единственной силой. И чем гуще оказывалось вещество окружающей обстановки, тем сильнее ощущал он собственное разрежение и тем сильнее манила заострившаяся знакомость жизни.

И кержак на барже был тоже давно знакомый, с плохими зубами и рыжей клочковатой бородой, у всех староверов растущей с горестной вольностью, из-за какой облик их и обретает выражение той потрепанности, по которой они безошибочно узнаются. «Асон, – представился он и срифмовал, как запомнить: – Сон – Асон». Был он словоохотливый, но когда Прокопич спросил, чьи трактора, пожал плечами и только позже, прощупав разговором, негромко поделился: «Мои».

– С Объединенного? – догадался Прокопич.

– Но. Поужнее перебираюся. К сыновьям. Жена там уже.

– А чо так?

– Да надоело. Бьешься-бьешься – и все без толку. Договорился с начальством, что картошку, капусту принимать будут. Бесполезно. Одни обещания. Они, оказывается, в городе набирают и сюда везут – дешевле. Прошлый год сулились ягоду принять, так в разговор и ушло, а мне пришлось семьдесят ведер в Дудинку везти. – «Ведер» он произнес через «е».

Некоторое время Асон рассказывал, как гостил у брата в Бразилии.

– Ну и чем там ваши занимаются? – спросил Прокопич.

– Ну, в общем, этой – агрокультурой.

– А живут лучше, чем здесь?

– Конечно, лучше! – возмутился Асон. – Там пахарей ценят. Это только у нас простой труд не нужен никому.

– А чо ж возвращаются-то? – спросил Прокопич.

– А здесь Бога больше, – ответил Асон.

– А как там звер-птица? Шарится хоть живность-то кака-то? – сгрудилась мужики.

– Да вот было дело: решили раз с братом пройти охотой.

– И чо добыли? – застыла компания.

– Тропическу чушку.

Приехал кран и за час все разгрузил. Прокопич поднялся на буксир. Заработал дизель, и баржи с мокрым шорохом сползли с берега. Казалось, прошел целый год, пока Прокопич торчал на берегу. В ушах звучали голоса, перед глазами стояли потрепанный Асон и похмельный мужичок, переспросивший про «тропическу чушку» и привычно кивнувший в сторону Бразилии, причем на юго-восток, будто взгляду было привольней прошить Сибирь, Китай и Тихий Океан, чем тесную Европу.

## 4

Слушая с уже родного уютного дивана рокот двигателя, глядя с палубы на берега, Прокопич вдруг поймал себя на зачатке мысли о том, что он никуда не хочет приезжать, потому что чем ближе была деревня, тем сильнее давила душу тревога и беспокоил вопрос, примет ли его тайга. Он ощущал себя, как молодой парень, который бросил любимую, а счастья не нашел, и на душе тоска, и кажется, стоит девушку увидеть одним глазком, как покой вернется и его можно будет, не оставаясь, унести, будто плащ. Он долго добирался и у двери понимает, что время ушло, неизвестно, что у девушки на уме и цела ли забытая одежда.

Никогда Прокопич не чувствовал себя таким обостренно обидчивым к происходящему. Парень заводил мотор и что-то кричал на отходящий толкач, бабенка передавала посылку, и все показывало, что жизнь движется подчеркнуто независимо от Прокопича. Хотелось встретиться с ней глазами, убедиться, что признала, но она глядела мимо и особенно ласково окучивала волной убогую лодчонку паренька и его обшарпанный мотор, будто награждая за неподкупную связь с Енисеем. Он принадлежал этим берегам с головой, а Прокопич, несмотря на свой осанистый вид и законное похаживание по палубе, был раздвоен выбором и отлучен от главного, потому что Енисей брал на духовное иждивение лишь тех, у кого выбора не было.

Как ни готовился Прокопич ко встрече с родной деревней, всё – и берег, и камни, и даже дым ребячьего костра – оказалось неузнаваемо другим, отличным по цвету, выражению, будто предметы остались теми же, но были обведены контуром совсем иного состава. Он и раньше замечал, как меняется мир каждый год, и давно понял, что дело только в глазах и что как по-разному напишут десять художников один камень, так и сам он за десять лет увидит его в десяти разных копиях.

Еще с города виделась Прокопичу сухенькая предосенняя погодка, аскетический рядок изб на угоре, сизое небо. Галечник, пески – все ровное, строгое, прямое от горизонта до горизонта, вышколенное и отутюженное до стальной линейности речной работой ли, памятью ли уехавшего человека.

В деревню пришли утром, а с вечера напоздла незаметно сплошная и тихая туча, ночью пошел дождь, а утром, когда Прокопич по крутому трапу сошел на берег и чуть не споткнулся о трос, натянутый меж лебедкой и чьей-то лодкой, все казалось особенно парким, синим, дымящимся и будто снятым с гигантской и сырой печи.

Необыкновенно заросшим новой, дикой и сочной травой казался подъем к угору, и волнами валили пряные и спелые запахи земли, дерна, навоза, какой-то сладкой падали. Все было расхристанным и раздрызганным: кусты новой травы и осыпавшийся угор с норами береговушек, жирно чиркающих над головами несмотря на осень, рыжие куски гнилого дерева, ржавая шестеренка, запчасть собачьей челюсти. И на угоре пористые углы старых изб, выступающие вразной торцы с рыхлыми звездами трещин, истлевший брус с крепким рыжим сучком под осыпавшейся серой мякотью, кусок которой мертво валялся рядом. Лохматая сучка с репюхами в штанах, прихрамывая, пробежала с настолько деловым видом, будто опаздывала на важнейшее собачье заседание, где решался вопрос, запускать ли охотникам собак зимой в избушки, и если да, то начиная с какого градуса. Еле узнаваемый в усохшем пенсионере остяк по кличке Пушкин брел с похмелью и было рыпнулся к новому приезжему с предложением мгновенных и неограниченных пушных и рыбных услуг, но узнав Прокопича, открыл рот и восхищенно застыл едва не на неделю.

Кдесяти завязался ветерок, тучи раздуло и вода из мокрого дерева стала уходить, сжимаясь и собираясь пятнами по пепельному полю, и буквально за час небо вытянуло всю влагу в мутную дымку и унесло за горизонт.

Остановился Прокопич у Володьки, тут же со сказочной строгостью отправившего его в баню («Тоже Баба-Яга!»). Володька нагонял пар, пока тот не достиг такой обжигающей силы, что казалось, из-под веника идут ледяные сквозняки по всем закоулкам души и тела. До поры это не приносило ничего, кроме сладкого зуда, но вдруг после одного гейзерно-долгого выброса пара от жгучего удара веника невыносимо зачесалась спина и каждый его охлест начал приносить сумасшедшее наслаждение, будто меж телом и веником вилась невидимый гнус и его припечатывали распаренной березой к спине, как мухобойкой. Прокопич выскочил из бани и, взревев, вывалил на себя ведро стылой осенней воды, почерпнув из дождевой бочки.

Он сел на крыльцо. Сердце стучало ровно. Выжав лишнее, оно поджалось и окрепло и, целиком взятое в оборот, впервые за многие годы не успевало думать.

Забрезжил утраченный натяг жизни, без которого происходящее замирало и, объединившись с Прокопичем в одно целое, окрашивалось в цвет его тоски. Как во всяком человеке, она, будто ветер, могла дуть сутками, потихая лишь, когда происходящее отрывалось и шло хотя бы на полкорпуса впереди.

Задувала с ночи и к полудню катала душу свинцовым валом, отливая на солнце, и он знал, что так и будет, потому что слишком мало времени, чтобы правильно переделать все троса жизни, в которой и всего-то два берега: окружающие люди да великая плоть Земли, а все меж ними залито трудовым Енисеем родного дела и мечтой о доме, без которого погибель. Но даже если все и как надо сделано, то все равно найдет дырку свербящий ветерок и надует положенную недостачу счастья.

Сидели за бутылочкой – плотный, раздавшийся Прокопич и худощавый бородатый Володька, с розово поблескивающим тонким, чуть шишковатым носом. Володька он был только для Прокопича, а остальные звали Степанычем этого трудного мужика, которого ничего не интересовало, кроме его тайги и куска Енисея, где он жил навечно, как пристойная рыба. Казалось, полста лет бил он в одну точку, но только эта точка была таких размеров, что ее ускользающее яблочко сводило воедино все жизненные прицелы. Охотничий участок Прокопич, ухава, отдал Володьке, и тот прибрал его лучший кусок, куда теперь Прокопич и собирался.

Пришли человека четыре близких, да еще забрел Борька, осеребренный, ссутулившийся и как две капли воды похожий на своего покойного отца, знаменитого механика. Его возврат в образе Борьки давал ощущение и горькой остойчивости жизни, и ее вечного размена, потому что Борька в подметки не годился отцу.

Мужики обрадовались Прокопичу по-человечески просто, в объезд его раздумий и не требуя объяснений. Прокопич, в себе самом только и ценивший причастность к Енисею, не догадывался, что многие его товарищи, особенно приехавшие позже, эту жизнь и открыли через него и ему подобных и поэтому не сомневались, что Енисей в таких не кончается.

Всю неделю до отъезда в тайгу Прокопич готовился сам и помогал Володьке прибираться к зиме. Досняли картошку, вывезли лодки, оставив только деревяшку, скатали бревна, испилили и перекололи остатки дров. Погода стояла солнечная. Прозрачный северок остужал потеющее тело, и жара сколько приходило, столько и уходило. Подчищенный сухой огород с одинокими копешками ботвы, трактор со слитой водой, перевернутая бочка – все оцепенело, обещая, что снегу хорошо будет ложиться.

Отъезд в тайгу представлялся огромными воротами, которые так окрепли и отстоялись в воображении, что казалось, когда он войдет в них по-настоящему, сотрясут все его существо до самых глубин, но шаг за шагом вдавался Прокопич в будущее, и ничего не происходило несмотря на то, что он уже сидел в деревянной лодке на горе груза, Володька ворочал румпель и мимо набирал ход галечный берег с осиротелой кучкой провожающих.

Стык должен был пролегать между рывком шнура и первыми проворотами винта, но ничего не сотрясалось ни внутри, ни снаружи, и он близоруко озирался, чтобы не прозевать долгожданную дверь, а она стояла так близко, что он был ее частью, а она таилась и ждала, когда он скроется, чтобы спокойно и навсегда затвердеть.

Не было никаких ворот, вообще никаких сооружений на входе в постепенное и упругое настоящее, и даже наоборот, вода казалась совсем плоской, и Прокопич как-то особенно голо укрывался от ветерка, обтрепывающего груз, но о том, что перевал произошел, говорило ощущение нового открытия. Оно состояло в том, что главным потрясением, ожидавшим его столько лет, была полная простота произошедшего.

Вода Феофанихи, впадая в Енисей, долго текла вдоль берега, не смешиваясь, и была темно-синей, а Енисей казался рядом с ней грязно-мутным и разбавленным. В эту горную воду они въехали тоже постепенно и незаметно и принадлежали Феофанихе с упреждением. В устье глядел с берегов частокол карандашно-острых, будто из-под точилки, пихт. За поворотом в галечном перекате мотор выворачивал прозрачную воду как плугом, и под ее стеклянной кожей проворно и длинно вился за винтом пенный смерч. Через пять верст встали по берегам кедровые увалы, через пятьдесят река подсушилась и ощерилась камнями, а через сто возстала грозовой синью над ней горная даль. Русло сжалось, и они долго ехали сквозь зубчатое нагромождение ржавых кирпичей и кубов, и, пока поднимали порог, хребты настороженно нависали, а когда прошли верхний слив, успокоенно расступились и стали поодаль.

Отвезя друга на базу, Володька оставил его одного.

## Глава II

### 1

Как ни тепло и понятно было Прокопичу с Зинаидой Тимофеевной, просторы брошенной жизни заявляли о себе неумолимо, но едва попал он в ту обстановку, о которой тосковал, как струнулось и завращалось неподъемное колесо памяти и он стал принадлежать себе еще меньше.

Все самое главное протекало для него в этой тайге, здесь сколачивал он окалину людских отношений, выстаивал мутную взвесь событий до зимней ясности, здесь тосковал по дому, маялся разладом с Людой, виной перед сыном и здесь горел любовью, когда появилась в его жизни Наталья. Мысы с камнями хранили каждую складку его лица, а теперь, намолчавшись, заговорили без спросу, и едва напомним ствол лиственни изгиб женского тела, как душа с детской послушностью пустилась в путь, волоча Прокопича по старицам прошлого. К вечеру обострились запахи дыма, тайги, горькой травы на жухлых берегах, и отверзлось, насколько привязан он к этому миру и насколько велика ноша этой привязи.

Под нарами валялась баночка от Андрюшиного детского питания, просроченный ящик которого был отдан Прокопичу в тайгу, и они в Володькой даже пытались им закусывать.

Острые на новое и производительное охотники давно уже обезжиривали соболей женскими колготками. Отрезали нижнюю часть, и получался капроновый носок, который надевался на руку. Такой варежкой и одиралась жирная и ускользящая мездра – капрон оказывался хватче остального. Колготки увозились в тайгу с запасом, служа предметом шуточек: дескать, барахляных этих девок вытрясаем, а колготки в дело запускаем. На гвозде висел увядший слепок Натальиной ступни.

Воистину сосуд человек и послушно наполняется окружающим, а когда кончается заряд привычного, мается неприкаянный и открытый ветрам, пока в извечной работе не соединится с жизнью в новой застройке. Однако ничего не рушится в сердце, а только прячется, оберегая, поскольку нельзя одновременно идти по двум бортам реки, не порвав душу.

Но в какой цвет не окрашивались река и тайга в то или иное время, разговор Прокопича с этими строгими собеседниками никак не был связан со сменой женщин или другими потерями и тянул высоко и ровно, пока остальная жизнь его же грешной тенью взмывала на вершины и сбегала в ущелья. И обе эти половины были равно важны и несоединимы, и, пока крепла тайга осенью и свежела первым снегом, стыл Прокопич на семи ветрах памяти, и одному небу известно, сколь кубов тоски и отчаянья прогнало сквозь его душу в те дни в ту и другую сторону.

## 2

В пору, когда самыми синими были великие дали, что влекли тысячи людей расширять поля своего применения, казалось, нельзя жить под этой синевою и не зарядиться ею, но выходило, что можно да еще как. Первую жену звали Людмилой, и был у них сын Андрей, и сошелся он с ней из-за того, что дурак бы не сошелся с одинокой, красивой и работающей соседкой, с которой даже картошка в одной ограде и граница по колышку.

Вот она, как сейчас, – в большом окне с тяпкой и в купальнике. Лучшие в деревне ноги светятся, как створы. И надо бы тоже к тяпке, да сети не смотрены, а соседка так рыбу любит, что проще колышек вынуть.

В деревне каждый больше, чем просто мужчина или женщина, и острее раздел: та даль, что за оградой, – хозяйина, а та, что внутри, – хозяйкина, и чья бездонней – еще поглядеть. Если добытчик мужик, вся окрестность, как брага, на него работает и к горловине дома стекается, а уж перегнать ее да на любви-заботе настоять – это хозяйкино дело, и такое это варево неподъемное-неразъемное, что кажется, целые уклады пространства бродят и требуют единения. И некогда пытаться друг друга на схожесть, когда работы по горло, а ты силен и молод, и все бы ничего, да только жена стала понемногу огорчать Прокопича, оказавшись из тех недалеких женщин, что в прежние времена звались «злая хозяйка».

Как желудочный сок, вырабатывается в одних радость, а в других извечная желчь и осуждение. До женитьбы Прокопичу казалось, что Людина раздражительность происходит от ее одиночества, усталости, слабости, что душе ее нехватает жара, чтобы варить то, что положено, и надо

помочь, догреть ее, но ничего не получалось, и чем больше она привыкала к Прокопичу, тем меньше сдерживалась в зверином недовольстве, которое накапливалось в ней, казалось, от самого течения жизни.

Первая выходка насторожила и поразила, но он не придавал ей значения, и бездна бед открывалась позже с каждым повтором. Люда сидела за столом и вдруг слово за слово начала нести настойчивую околесицу, бывшую всего лишь внешним проявлением чего-то ужасного, что происходило внутри, и повод был случайным, то есть тем, на котором это ужасное ее застало. Истерика состояла в повторении одной и той же глупости, но с разной глубиной захвата, по мере нарастания которой она теребила рукой коробок или терла одной рукой другую. Пальцы у нее были тонкие с выпуклыми суставами. Несмотря на то что ее возмущение могло быть связано с чем угодно, например, с тем, что сучка Укусовых лаяла на их телку, виноватым всегда оказывался Прокопич.

Уйти было нельзя, потому что без зрителей представление срывалось, переносясь на другое время, переговоры только возбуждали, а молчаливое наблюдение приводило в бешенство. Прокопич испробовал все от полного умиленья до выволакивания на мороз и утирания снегом. Когда отпускало, она удовлетворенно улыбалась и о происшедшем не вспоминала.

Все это было внешней стороной дела и говорило о внутренней тесноте, о том, что порода души здесь самая небогатая и что золотишко тепла, если и водится, то либо самое непромышленное, либо там, где не взять. И вот эта пустая порода и ворочалась, и разрасталась, и чем шершаво-серее была, тем сильнее сама в себе вязла и истирала других.

Прокопич знал, что настоящая любовь светит во все стороны и нельзя любить одним лучиком, как нельзя по-настоящему понимать собаку, человека или реку – и не понимать остальную жизнь. И именно зная, что такое любить, верила Зинаида Тимофеевна Прокопичу, именно потому и понимала, что Енисей для него больше, чем река.

Воистину, то, чем богатой душе прирасти в радость, то у бедной последнее отберет. К себе относилась Люда со всей мещанской серьезностью, не допускающей ни шуток, ни совета, и малейшее положительное явление воспринимала как упрек себе, поэтому всегда ходила надутая и обиженная, осуждая всех, и чем ближе стоял человек, тем больше не устраивал и в большей мере делке нуждался.

Крепче всех доставалось Прокопичу, потом шли остальные в последовательности: Андрей, собаки и коты, бывшие самой привилегированной кастой. Когда у нее заболела голова, а это происходило при легчайшем дуновении ветра, она обкладывалась ими, как подушками, и лежала целый день.

Было их штук пять, никаких мышей они не ловили и кормились на такой убой, что казалось, в доме чем бесполезней житель, тем больше ему почета. Звали их Цветиками, Лютиками, Ветерками или чем-то в этом роде. Одного фаворита облизывала особо, брала под одеяло, кормила специальными кексами, причитая: «Иди, слядкий мой, к маме».

Коты вились под ногами, когда Прокопич нес кружку кипятку или горячую сковородку, и она вылетала, рассыпав рыбу, под матюги растянувшегося хозяина, в то время как виновник, весело задрвав хвост, уносился к отдушине. Мыши заедали.

В зависимости от погоды кошарня заселяла разные уровни, в мороз лепясь по шкафам, печкам и столам, а в тепло спускалась на пол. Чувли заранее, и, когда полосатое воинство вместе с зоной игрищ поднималось на новый этаж, дома ждали морозов. В двадцать пять градусов осваивали табуретки и диван, в тридцать – телевизор и спинку дивана, в сорок – книжные полки, а в пятьдесят – верха шкафов и печи, и дай волю забрались бы и на люстру.

Падали, срывали календари и шторы. Пришедшему из тайги Прокопичу не давали выспаться. Лезли часов с четырех. Сначала одавливали пудовыми задами ноги, потом живот, а к утру, как танки, подбирались к шее. Самый жирный, кажется, как раз Ветерок, забраться не мог, норовил привалиться, и Прокопич несколько раз его придавливал и просыпался от вопля.

Делиться с Людой чем-либо было делом неблагодарным, все оказывалось несмешным, неинтересным, неглубоким, будто весь душевный инструмент в ее присутствии тупился. Зато сама вся состояла из правил и, когда их нарушали, задиралась, как сырая доска под рубанком, и каждая заноза заявляла о своих правах и требовала справедливости. Дела отставлялись, как утюг, включался аппарат попреков, и раздражался глупый и великий скандал.

После ссоры никогда не мирилась первая и, казалось, могла сколько угодно жить под одной крышей отдельно и равнодушно. Когда шел мириться первым, чтобы прекратить глупую растрату жизни, улыбалась и разговаривала, будто ничего не произошло. В недели отчуждения начинала готовить еще вкуснее: мол, стараюсь, ни на что невзирая, масть держу, а вы все не цените. Считала, что мужик без жены обречен на грязь и голодовку, и главную свою нужность видела в «накормить-обстирать», не вслушиваясь в Прокопича, повторявшего, что может сам себя и накормить, и обстирать «лучше любой бабы» и что ему друг нужен.

Губы у нее были крупной и капризной отливки, а глаза небольшие, стеклянно-дымчатые, в розоватых припухлых веках и с ресницами чуть склеенными, не то росисто, не то воспаленно. В разрезе глаз, в веках, в сходе ресниц, когда она их прикрывала, был тот же богатый и вольный росчерк плоти, что и в губах. Тонкие выгнутые брови высоко огибали глаза, и лицо казалось неподвижным, напоминая маску, которая тем сильнее походила на лицевой диск совы, чем отвлеченней был предмет разговора, и лишь ночью упруго расцветало требовательным ртом. Тело имела сильное, незагорающее-белое и веснушчатое.

Спала спокойно, независимо от препирательств, и даже, казалось, тем крепче, чем сильнее был накал вечерней свары. Во сне лицо ее менялось, становясь неожиданно тяжелым. И, глядя на приоткрытый рот и грубо-большой подбородок, чувствовал Прокопич дикие приступы духоты, которые терпел только ради Андрея, да и развод в замкнутом пространстве деревни при общем хозяйстве был делом хлопотным.

Считается, что если с женщиной душевная рознь, то тошно к такой и прикоснуться. Но, насидевшись в тайге, еще как прикоснешься, да еще наткнешься на детское, жалкое, что примешь за доброту, и, когда у промороженного, иссохшего мужика сводит шею от нежности, некогда делить близость на низовую и верховую, и кажется, одна подставит крылья и другую перенесет через пропасть, а красота все зальет, и все простит, и, когда погаснет, в памяти такой слепок счастья оставит, что сто раз повторить захочется.

За разлуку такая надежда в Прокопиче настаивалась, что чудилось, чуть-чуть – и найдет в жене то главное, ради чего вместе, и продолжал впускать, погружать ее в себя, и каждый проблеск понимания был как победа, и чем реже они случались, тем казались драгоценней. Наутро выяснялось, что у Прокопича слишком расслабленный вид, что он в тайге «смотрел красоты», а она здесь работала, и что если он явился отдохнуть, то лучше бы и не являлся, и что может хоть сейчас оставить их с Андрюшей в покое и «упереться в свою тайгу досматривать, шо не досмотрел». На что Прокопич отвечал, что никуда не поперется, но постарается сделать все, чтобы уперлась как раз Люда и не ближе, чем «обратно в Хохляндию к мамаше», и что если она будет так громко кричать в расчете на Андрюшины уши и так топтать, то он выдернет из места крепления ее хваленые ноги и выкинет под угор, где их будут таскать собаки, потому что они больше ни на что не годятся. Ноги, конечно, а не собаки... А Люда отвечала, что он сам ни на что не годится, что она давно мечтает уехать к маме в Житомир, и дальше начиналась та мерзость, к которой Прокопич за девять лет жизни так и не сумел привыкнуть.

Хотя считается, что дети объединяют, но в плохих семьях они бывают как раз главным стыком розни, где неродство оголяется до такой степени, что дом расползается по швам.



Трудно в детстве, когда и то охота, и это, и топор тяжелющий и идет как-то косо, и ружье вроде вытесывал из доски, а оно такое корявое вышло, что стыд. А будущее так тянет, что из кожи бы вылез, лишь бы побыстрее вырасти, да тут еще взрослый парень от мотоцикла отогнал и чуть поше не надавал за то, что «за газ лапал», и вот набегаются мальчуганчик – и назад в детство, к маминим оладушкам: «Мам, у нас чо-нибудь есть вкусное?» А если заболит, то и совсем в пеленки закатится, в жар да туман, где только мамина забота и нужна, а никакие не мотоциклы. А потом снова на улицу, и так мотает мальчишку меж двух огней, да еще родители каждый своего масла подливают, мать – подсолнечного, а батя – автолу. Один чуть не палкой во взрослую жизнь гонит, а другая назад тянет и так облизывает, что бате тошно, и начинается:

– Ты зачем его так балуешь, поднимай его, хватит валяться!

– Пускай парнишка поспит, еще успеет наработаться!

– Ничо не успеет, пускай сразу привыкает, а то в армию пойдет, будет как хлюпик, был у нас один такой, смотреть противно.

И бывало, давно на улице парень или, наоборот, спит без задних ног, а они все через него жизнь делят, все свое решают – не нарешаются. Мать нужной хочет быть, а отец помощника растит, да такого, что самому ему сто очков по неприхотливости даст, – так в разные стороны и тянут. И растет парень, как деревце, у которого отец подпорку отберет, а мать обратно поставит, и начинается:

– Ведь сказал же ей и палку выкинул, а ведь нет, дождалась, пока ушел, нашла и подставила, да еще ленточкой перевязала.

– Прямо изверг какой-то, с такой силой эту палку зашвырнул, еле нашла. Иди, сыночка, иди, моя! Иди покушай!

– Со мной парень как парень, с охоты приду, не узнаю: такой разваженный!

– И, главное, концерт идет, мы с Андрейкой смотрим. А там ребяташки, все в костюмчиках, аккуратненькие – прелесть, со стрижекками, и артистка-то эта, ну полная такая, знаешь... И ты представляешь, ворвался, пульт вырвал, хорош, говорит, пучиться, так и сказал: «пучиться» (бескультурный какой!), поехали, сына, на рыбалку... Прямо дались эти сети, то неделю не смотрят, а тут как приспичило!

И такая вокруг мальчишки каша, что какое уж прошлое-будущее, настоящего-то нет! Так и шло все враздрай, а кончилось тем, что Люда, забрав сына, уехала, но, к счастью, до Житомира не добралась, осталась у тетки в Ирбейском районе, и Прокопич раз в году навещал Андрюху, а на лето забирал к себе.

## 4

Наталью он встретил в пору, когда душа уже испытала и жизнь, и женщину и ждала любви со знанием дела, не тратясь на пустяки....Бывает, мельком увидишь и запомнишь человека, а потом выяснится, что звать его Петькой, что он брат Лариски Краснопеевой и работает в кочегарке, и хотя дела и нет ни до него, ни до Лариски, все кажется, будто порядка в жизни прибавилось.

Будучи весной по делам в А., Прокопич познакомился с Натальей в гостях, испытыв то же чувство разгадки, поскольку видел ее раньше у них же в деревне, на площадке. Она стояла у вертолета в шубке и чернобурочьей шапке и давала разнарядку коробкам: «– Эти Кукисам, эти Фабриченко, а эти Шароглазовым...». И все время улыбалась, просто сияла, словно была хозяйкой не только груза, а и всего снега и солнца на свете. Было столько блеска в ее облике, в желтых очках, прозрачно пропускавших глаза, в улыбке, стоявшей на лице, как погода, что Прокопич вынужден был, побакланив с пилотами, показательно взрыть гусеницей снег и, поставив «Викинг» на дыбы, унести в белом шлейфе и не оборачиваясь. Гари так наподавал,

что у самого мурашки побежали, как со стороны представил, а что уж о женщине говорить!

– Где бы я тебя заметила, там народу столько! Да и не до того было, я с мужем развядилась. Папа говорит: слетай хоть куда-нибудь, протрясись, а то лица на тебе нет, – говорила она за столиком в баре, и углы рта расходились широко и щедро, вмываясь в щеки, и глаза лучисто светились в нежных и неглубоких морщинках. Долго сидели возле ее дома в машине – черном дизельном «Мистрале»\*, и, когда он взял ее руку, она ее медленно забрала, не переводя взгляда, и в этом выборе руки было гораздо больше, чем в том, что она говорила.

Днем уже всю жарило, солнце, углядев черновину, рвало воронку и угольным шлаком и лужами вытаивали дороги поселка. Прокопич уехал ночью, дождавшись, когда та как следует настоится на синеве и морозе, чтобы, скатившись на Енисей, упоить холодом «Викинг», не новый, но очень хороший и специально заказанный на малоизвестном рынке в одной финской деревеньке. Прибавляя большим пальцем газ, он словно протупывал темную даль на податливость, и, когда чуть выдвигал лицо за кромку стекла, от обжигающего удара ледяной стены оно моментально немело и расплозались по вискам слезы.

Деревня вытаивала зимним хламом. Ближе к весне привозили из тайги хлысты на дрова, тут же пилили, и у каждого дома копились горы опилок. Внутри ледяные, днем они отмякали рыжим ворсом, меж ними сочилась водица и проглядывала черная земля. Она липла к подошвам, и ее отирали о снег, зернистый и рыхлый. На Енисее тоже отпускало, все пешее и моторное валилось в сырую корку, и только холод был единственной управой над расстояниями.

С вечера небо глядело особенно ясно, и к утру протаявшая земля обезвоженно серела, светился ледок, и все – дрова, щепка, опилки – было подсушено и прохвачено намертво. Енисей стыл в волне надувного снега и звал в дорогу, как сведенный мост, и если одолеть вперевалочку заскорузлый кочкарник деревни, то до Натальи оставалось часа четыре лету.

На подъезде к А. вставало солнце, и горело лицо, и сквозь темные очки дорога казалось покрытой сизым лаком, и чем мягче была дымка, тем ярче сияла за краями стекол слепящая голубизна. Мотор пел ровно, и жилы морозного воздуха, пропущенные сквозь заборники в капоте, держали ревущую машину, как тросы, готовые, будто в сказке, рухнуть с окрепшими лучами солнца, и Прокопич успевал.

В багажнике лежала рыба и ведро сохатины, уже порезанной, поперечной, пересыпанной луком и пропитанной уксусом. Магазин так и назывался «У Натальи». Возле него стоял черный «Мистраль».

– Приве-ет! – удивленно и расслабленно протянула хозяйка, улыбаясь и выходя из машины. – Ты откуда?

– Все оттуда! Принимай гостинцы!

– Значит, на шашлыки поедем?

Ее руки по-детски беспомощно держали его голову, рот был приоткрыт, и меж губ отворялась мягкая и знобящая бездна. И думалось, ничего не скажешь о ней, не испытав этих губ, а они с каждым приездом набирали единственности и однажды сказали, что, Феофаниха-то, оказывается, впадает в Енисей ровно на половине между деревней и А. и что «тебе, Кураев, какая хрен-разница, откуда на охоту заезжать?»

Разница была главная, что жить теперь пришлось в чужом доме, но Прокопич так горел любовью и столько отваги было в Натальином ответе, что уронить отношения с дорогой высоты он уже не мог.

Не было в А. той первозданной близости к земле и тайге, как в деревне, где жил он на берегу Енисея, как на краю студеного кратера, и даже

---

\* «Тойота-сурф» и «Ниссан-мистраль» – японские джипы, их зеркальные копии известны к западу от Урала как «Тойота-4-раннер» и «Ниссан-геррано-2».

кровать стояла у енисейной стены и голова его, покоясь у окна, и во сне оставалась открытой его излучению. Из А. до Енисея приходилось добираться, и он пролегал отдельно и поодаль, не мешаясь в удобную, с водой и отоплением, жизнь. Но в том, как, приближившись, озарял синим просветом, вычерпывая через глаза и забирая дыханье, как неусыпно переливался в расплаве вала, и сквозило, сколь условна всякая от него свобода.

Енисей здесь называли «берег», ездили до него на машинах, а лодки держали на платной стоянке. А-ская жизнь была слоистой, и народ рассыпался прихотливым спектром от прожженнейших бичуганов до самых сложных чудаков. Фон же создавали гонористые и искусственные мужики, каждый из которых считал себя лучшим рыбаком и охотником.

Наталья жила в отдельном доме с ванной, телефоном и тремя комнатами: гостиной, спальней и детской, где обитал Витала, ровесник Андрея. Дедушка, начальник экспедиции, обожал внука и приезжал с другого конца поселка, солидно тархтя вишневым «Сурфом».

Прокопич был в ту пору и знаменит, и хорош, и обаятелен и у некоторых, особенно у начальства, даже вызывал ощущение, что мог бы распорядиться собой достойней, чем «шарахаться по тайге и колотить соболей». И хотя никто не знал, чего именно «большого» он заслуживает, кроме разве главной роли в документальном сериале про Енисей, но его великолепие и заключалось в том, что он жил, беря свое и не зарясь на чужое. Пересуды же о «лучшей доле» оставались на совести окружающих, которые всегда стараются из зависти выдать таких людей в некие корыстные дали, вместо того чтобы остальную жизнь дотянуть до их сияния.

Попав в новый переплет, Прокопич вжимался в него с самым естественным видом, и лицо его так умело выражало некую правду происходящего, что все сверялись с ним, как с зеркалом, и с удовольствием расчищали любое поле. Был у него какой-то тям\* к обстановке, всегда он оказывался наиболее находчивым, остроумным или решительным, а лицо могло сшиться самой можжевельной улыбочкой или каменеть листьяжным косяком, даже когда душа трепетала, как сиг в ячее. Тяготило теперь лишь житье не в своем доме и отдаленность от Енисея, лежащего не прямо под окнами, а в неподъемных семистах метрах. Но Наталья перевешивала все, а остальное не заботило, пушнины он добывал, сколько было надо, и в тяжкую минуту помогал Наталье в расчетах с коммерсантами.

После льда ездили в Острова. Все было залито водой на многие версты, и светлой ночью дальние выстрелы бухали так, будто совсем рядом отрубали что-то глухим и отрывистым топором, а ближние повисали настолько картинным эхом, что оставалось загадкой, в какие объемы ссыпается его пространное тело. И вся окрестность лежала не то пластом стекла, не то крышкой огромного рояля, по которой малейший звук, как льдинка, катился без остановки в любом направлении.

На второй день вдул северо-запад, заполоскал выцветшую палатку с жестяной трубой и так нажег лица, что, едва их касался жар печки, они набирались по края огненной тяжестью. Солнце, выйдя из облака, желто наливало потолок, и все внутри озарялось – стеганое одеяло, мягкий дырчатый хлеб, малосольный сиг, поротый со спины, и горячий утиный суп, на поверхности которого ходили, переливаясь, стаи золотых колец. Все было в этом жиру, и руки, и Натальины губы, и жаркое, как печь, лицо, и ее слипающиеся глаза тоже были будто вымыты и смазаны этим жиром.

– Ну не возишь ты так, Кураев! Прямо встряхнул меня всю! Я же объелась.

– А ты не спи, давай выпьем лучше!

– За что?

– За тебя.

– Ты подхалим. За меня пили.

– Тогда за наших супругов бывших, они хоть и редкостные болваны

---

\* Тям – способность к чему-либо.

были, но вовремя чемоданы собрали. Будь здоров, Коля, будь здорова, Людочка! Спасибо тебе, хоть ты и стерва.

- Стерва, зато порядок любила.
- На столе да на полу.
- А тебе где надо?
- А мне надо в жизни. Давай приоткроем, я зажарился, как этот чирок.
- Тогда укрой меня. Любишь ты холодрыгу!
- Зато Енисей видать. Смотри, утки прут! Давай выпьем!
- За что?
- За порядок!
- За какой порядок?
- А за так-кой, ш-ш-шоб никакой вольницы!
- А свобода?
- А свобода – это когда любой маньяк... Ты почему такая вкусная? Или любая маньячка... Ты маньячка?
- Я маньячка... а ты угкой пахнешь...
- ...может сказать, что важнее его пупа нет ни хре-на.
- Оно и есть так.
- Не так!
- Так!
- Не так! Объяснить? Вот мы едем на лодке, да?
- Нет, не едем! Мы на острове сидим, и ты ко мне пристаешь!
- Говори: едем на лодке?
- Ладно, едем, только не души!
- А куда едем?
- В Острова.
- Правильно. В общем, прем в Острова, все по уму, а ты говоришь...
- «Поцелуй меня, дурак!»
- Не перебивай. Ты говоришь: «Дрель давай!»
- Я так не скажу.
- Ну давай скажешь! Короче: «Дрель давай!» «Зачем?» «А хочу дно продырять в лодке. Моя личность требует, чтобы дыру пробуровать и скрозь нее в рыбьев глядеть. Как они икру мечут».
- Ну и что, ведь интересно же. Продырявлю, чуть посмотрим, и ты сразу чопик\* забьешь!
- «Чопик»! Ты откуда такие слова знаешь?
- Муж научил.
- А еще чему он тебя научил?
- Погоди, покажу. Давай выпьем! За что?
- А что главное в жизни?
- Икра!
- Щас!
- А что тогда?
- Курс – главное! И никакой икры без курса!
- А курс кто знает?
- Мужик знает!
- А баба?
- А баба в дырочку смотрит. На рыбьев.
- И чо?
- И молчит.
- Класс какой! Приехали, называется, на остров... Слушай, а ты так и скажешь мне: «Цыц, баба!»
- Иди сюда...
- Нет, стоят! Говори, Кураев! Скажешь мне: «Цыц, баба?» Почему у тебя борода в чешуе всегда?
- Цыц, баба! Я люблю тебя! Давай выпьем!

---

\* Чопик – деревянная клиновидная пробочка, заглушка, затычка универсального назначения.

– Ты знаешь, вот мой муж... Он вроде и так себе мужичок был, а мне с ним как-то проще казалось. А с тобой, ведь знаю, ну... что ты лучше в сто раз, и ты не представляешь... насколько труднее от этого. Иди...

## 5

Всегда ничтожно маленькими кажутся цепки утиных табунов на фоне хребтов и разливов, но, когда идет их пора, все, замерев, служит им, вернувшись домой. И сам Енисей свой поход строит под этот пересвист, и так неподкупна их магнитная точность, выводящая острие ледохода к Океану, что во славу им стоят скалы, льды сияют по берегам и шумит ветер в голых крестах лиственниц.

Еще по морозному льду начинается ночной ножевой налет, когда с бешеным свистом падают с неба на окошко воды свиза и черношей, дресвяники и саксоны\*. И, оглядевшись, расцветают изломами снежных линий и бежевых разводов, рыжих и зеленых углов, желтых и красных щек и лиловых зеркалец. И ликуют души людей, переживших зиму, и от идущей с неба переклички навсегда повисает над Енисеем обнаженное сердце охотника, когда, сухо звякая трелями, слаженно, будто конница, заходит, на посадку незримый табун острохвостов.

Прошел лед, а они все неслись дымными небесами – подвешенные к стремительным крыльям и по шеи залитые жиром тельца с туго уложенными кишочками и свежими завязями яиц под спинками. И хорошо было двум людям любить друг у подножья этих небес, мыслящих ветрами, лучами и облаками и любящих могучими перебросами крылатой плоти.

И снова был шелестящей бег по Енисею, взрытому валом, глухой дроботок волны по днищу лодки, и поселок в частоколе труб и антенн. Был стол на просторной белой кухне, и Наталья с обожженным лицом поднимала хрустальный стопарик и чокалась с Прокопичем осторожно и нежно, глядя в глаза.

Было в ней какое-то одуряющее обаяние, высшая женская проба в каждом движении, стелила ли она постель, прикуривала от веточки или, включив в машине любимую музыку, подпевала с наигранным иступлением, в такт мотая головой и жмурия глаза, или вдруг, выпустив руль, делала сжатые в кулачки руками ерзающее, будто в танце, движение. Любила все сильное, дорожное, речное. Любила вернуть что-нибудь заправско-моторное и, управляясь с собаками, могла прикрикнуть, а могла долго смотреть, как щенок, откликаясь на голос, смешно наклоняет голову, будто сливая через ухо лишнее любопытство, или распекать: «Ах, вот ты какой хитрый, это ты из-за хлеба такой послушный!» и гладить не сильно, но точно – чтоб тот млел. Когда кто-то лез на дорогу или не так ехал, могла очаровательно поругиваться, а могла, оперев локти в стол, держать лицо в ладонях и, глядя неузнаваемо раскосыми глазами на едящего Прокопич, сказать: «Ну что, хорошая я... тебе жена?»

Еду Витальке уносила на большой тарелке с размашистой россыпью распластованного помидора и сырной корочкой тостов, а он, не поворачиваясь, копал вилкой, уставясь в компьютер и елозя лазерной мышью с багровым отсветом. Время от времени срывался и набрасывался на баскетбольный мяч, который в прыжке кидал в корзину, облепив сверху тренированной кистью. Зайдя на кухню за куском торта, разворачивался на пятке и, вдруг подпрыгнув, уходил обратно за компьютер. При первой попытке ночевки Прокопича устроил такую истерику, что пришлось остановиться у товарища и вживаться по шагу и пристально.

---

\* Енисейские названия уток: черношей – чернеть, дресвяник – чирок-трескунок, саксон – утка-широконоска, острохвост – шилохвост.

«Без дикой любви тайга мертва, как мертвая капля смолы»<sup>\*</sup>, – пронзили однажды Прокопича стихи в журнале, и повторял он их много недель подряд, потому что, как обострено чувство женского в тайге, только охотника и знает.

Видится оно во всем, в ногах собаки с резными жилками, в оттепели, привалившейся сыро и тягуче, как женщина, что отчаялась вернуть окрепшую душу любимого и все доказывает, будто подлежит возврату прошлое. И так настаивает, что уже заморозит по-зимнему, а его парной очаг вдруг откроется в мшистом нутре ручья под ледяной оправой, да так живо, что голая смородина, стоящая рядом, тоже пыхнет тало и пахуче.

В запахе норки или горностая с его нашатырным удушьем, по краю всегда отдающим духами. В березе с жестяной листвой, что вдруг зашумит и обдаст извечным, уже и не таежным, и не деревенским, а просто жизненным, русским. В пихте, обвинившей кедр, или в елке с раздвоенным стволом, страшно и понятно похожей на женский стан. В мокрой одежде, облепившей бедра, в валящем снеге, в треске печки.

Всякий запах и звук подчеркивают нехватку второй половины, и ее доля того огромного и простого, что испокон веков вмещало труд и усталость, еду и отдых, тепло и холод, так переполнит душу, и та вот-вот не выдержит – настолько непосильна двойная пайка жизненного великолепия.

Когда Прокопич возвращался к Наталье, тело ее казалось огромным и желанным домом, и он лежал с ней под одеялом, как под крышей. И не только сам, а все бескрайнее, что за ним стояло, оказывалось прилажено к этим губам, и как отмычка к жизни, был оладышек языка, который она вкладывала в его уста.

Засыпала она постепенно и недвижно, как даль осенью, и он любил сползти головой, чтобы совпала скула со впадиной под ключицей и душе легко и прикладисто стало в ее покое.

Казалось, от счастья должен осоловеть человек, оглохнуть и ослепнуть, но у Прокопича второй нюх открылся, и все лучшее, что привлекал он для завоевания Натальи, вместо того чтобы отпасть, с ним и осталось. Погоня ушла из души, и перестало казаться, что вечно чего-то не успевает, и поэтому виноват.

Стало больше читаться и думаться в этой просторной квартире, куда не долетала поступь Енисея и где слабело вечное на него равнение и думы, не передует ли дорогу, не подмоет ли лодку и не пропадет ли рыба в сетях, пока север гуляет.

Какая-то жалость к предметам, собакам появилась. Мог часами складывать дрова или, дотошно помешивая, варить в ведре над костром собакам, а потом смотреть, как они едят, следя, и подправляя, и находя в том тысячи оттенков своей нужности. А потом менять сено в будках и наблюдать, как они смешно оживляются от его запаха и укладываются, отапываясь и крутясь на месте.

Стал с Виталей разговаривать, об Андрее больше думать и звонить по три раза в неделю – и тут, словно в ответ, происходящее в прежней семье потребовало вмешательства: истерия Люды довела ее до больницы, и Прокопич забрал сына.

Андрей приезжал к ним и летом, но вопрос о его житье не стоял, поскольку большую часть времени они проводили с отцом в тайге, а главное, был он здесь в гостях. Но, когда Наталья спросила Виталю, как он отнесется к тому, что с ними будет жить еще один мальчик, тот скривился не на шутку – так был приучен к приему заботы. И так требовал, чтоб готовностью утолить любое желание сочлились даже стены комнаты, личные, как одежда.

---

\* Строка прекрасного стихотворения «Жизнь» Владимира Богатыря, поэта, охотника и старинного товарища автора.

Прокопич снял квартиру и зажил на два дома. Наталья приходила к ним, они к ней, все чего-то ждали, хотя все было сказано сразу:

– Ну да, такой вот он, избалованный и мной, и дедушкой. Ты его таким и застал, ну что теперь делать? Ты же помнишь, что с ним было, когда ты первый раз остался? Он тогда едва от нашего развода с Николаем оправился. И вот он к тебе только начал привыкать, и тут Андрюша появляется. Ну не могу я его ломать! Не могу! А главное, вот ты уедешь в тайгу, а Андрюша-то на мне останется, а у него мать есть. Ее подлечат, не дай Бог, ой, прости, Господи, и она начнет звонить или вдруг приедет. Что я буду делать?

Больше ничего и не могла добавить, делала все, чтобы не пошатнуть равновесия, и выходило, один Прокопич вечно недоволен. Что-то в ней изменилось, подоглохла, подослепла, как в начале материнства, и материнское ощущение, что если придется выбирать между Виталей и любимым мужиком, то выберет Виталю, так сквозило, что Прокопич, хоть и не слышал этих слов, но чувствовал всем существом.

Ждал он другого и знал, что ни в его семье, ни в семьях близких ему людей такого противопоставления быть не могло. Крепчайше сидела в нем память о военных временах, о житье в поселенческих бараках или в пору освоения новых просторов, когда сходились люди во имя общего будущего, брали женщин и соединяли их детей со своими, не видя разницы. И дело было ни в поступи эпохи и ни в жестокости условий, а во внутреннем ощущении жизненного замысла, не выполнимого поодиночке, в неписанных правилах обоюдного доверия и поддержки, которые не может пошатнуть никакое благополучие, если люди по правде хотят быть вместе.

Андрюха был в самом бестолковом и неприкаянном возрасте, долговязый, с огромными ступнями и голосом, который то брал грубо и басовито, то срывался и визжал вхолостую. Сдружился с ним Прокопич невероятно, и, когда тот к нему приваливался, сжималось сердце, и он знал, что ради парня сделает все.

Учился Андрей хорошо, но кровного интереса к призванию не выказывал, и надо было следить и править его, тем более поступать и учиться дальше он собирался в городе. На городское жилье приходилось зарабатывать в тайге, и, чтобы он путем доучился и подготовился, пришлось отправить его в Красноярск к старому товарищу Прокопича с живописной фамилией Евланов. Тот работал на алюминиевом заводе и жил с семьей в двухкомнатной квартире. Андрей спал в одной кровати с Вовкой, евлановским сыном, и вместе с ним готовил еду, прибирал в доме и находил время на учебу.

Прокопич снова жил с Натальей, но отношения изменились, и вся Наталья семья, и гладкое обустроенное житье – все будто лишилось запрета на раздражение.

Дедушка влип с лосями, которых его пилоты вместе с начальником милиции и главным охотинспектором лупили в дивном количестве и без лицензий, и Наталья с возмущением говорила о молодом следователе («сопляк, тоже»), который вызывал дедушку на допрос. Прокопич не только не поддержал ее, но и сказал все, что думает: «Еще понятно, когда браконьерничает безработный мужичонка, у которого семеро по лавкам, но не люди, всё и так имеющие».

Едва пришел под Новый год с охоты, прилетел из Норильска одна кашник-охотовед, и так накатило старинным, товарищеским и незаслуженно забытым, что загуляли они крепче крепкого. Пили дома, шарились по гостям, и Наталья устала, а Прокопич не мог остановиться.

Стала вырываться наружу обида, да и вожжа под хвост попала, что не указ баба, раз с мужиками сидит в кои-то веки. Наталья, чтобы закруглить дело и вернуть Прокопича, избежав застоля дома, предложила пойти всем в кафе, и мужики настроились, а ей вдруг расхотелось, и Прокопич с охотоведом засели на несколько дней уже в другом месте.

Прокопич, если надо, мог быть и грубым, и жестоким, и вредным, и нашла коса на камень, он не звонил Наталье, Наталья не искала его и только выговаривала подруге:

– А я не знаю, где он! Может, он у бабы! Откуда я знаю, что он у Сереге? Нет, так не будет! Что это такое: хочу – прихожу ночевать, хочу не прихожу? Это не гостиница!

Потом он приехал с Серегой за какой-то кассетой про росомаху, и был глупый разговор с Натальей, в котором каждый гнул свое и считал разное: Наталья – что раз он мужик, то должен первым и мириться, а он – что не сойрлся и, если надо, в два счета нашелся бы у Сереге.

– Развожусь, Сереежка, никогда не женись, – сказала Наталья, пока Прокопич рылся в поисках кассеты. Ненакрашенное лицо ее было усталым и выцветшим.

Когда Прокопич пришел домой, там стояли его собранные вещи. Он отвез их товарищю, снял в банке деньги, забрал соболей и уехал в Красноярск. Там он удачно сдал пушнину и купил однокомнатную квартиру на Взлетке, где и зажил вместе с сыном.

## 7

Ложь начинается, когда нельзя говорить о том, что волнует, и трещина в доверии, как в скальной породе, стоит ей появиться – уже не сойдется, а обида и раздражение – вода да мороз – год за годом разопрут и в крошку развалят. И главное в этой лжи, что, чем больше люди любят друг друга, тем сильнее не могут простить, и круг замкнутый.

Прокопичу казалось, так неразрывно соединился он с этой милой и легкой женщиной, что, как жить, решали уже не они по отдельности, а их некое общее и теплое устройство. Оно было погружено в него на такие глубины, что, когда вдруг разделилось, сотрясение оказалось чудовищным и необратимым.

Он предлагал продать ее дом и построить большое, на всех, жилье, и Наталья соглашалась, но из-под палки и с доводом, что квартира дедушкина и она ею не распоряжается. Ее: «Я не знаю, что делать» – звучало, как «Оставьте меня в покое», и выливалось в очередное обсуждение границ, дальше которых она не может отступить, а он вторгнуться, будто враг или оккупант. Постоянное требование водораздела казалось таким несправедливым, что таскание туда-сюда всего этого забора было уже делом десятым. Из людских слабостей Прокопич не знал ничего хуже сытого деления на мое – не мое, так давившего его в Люде, и, когда это душевное сальце почудилось ему и в Наталье, настала катастрофа.

Острее всего была обида за Андрея, в котором не захотела она увидеть Прокопича, почуяв его только по-бабы, через Люду. И что не на любовь опиралась, а на правильное, но низовое соображение, на какое-то «вдруг приедет Люда» и устроит сучье разбирательство.

И, как на два дома располовинило Прокопича, так и Наталья на две части разделилась: женской, сладкой осталась, а главной, человеческой ушла, и худо было Прокопичу в его двух домах с этой опустевшей женщиной. И чем дальше уходила она человеческой половиной, тем жарче, отчаянней и молчаливей жгла женской. Никогда так не понимал он ее нежность, и не была она такой кровной, именной и раз выпавшей, и худо было одному в тайге, и не хотелось жить. И пронзительно-близкой, вернувшейся казалась она, снясь в избушке, словно знала, что действие ее кончается и из морозной дали видится жизнь в остывшей и окончательной расстановке.

Хуже всего было при Андрюхе в поселке, где Прокопич хоть и старался быть веселым и жизнелюбивым, но забывался, и сын заставлял его на выражении сохлой прищуренности, с каким сидят возле сварки или еще чего-то испепеляющего. После прежней радости само течение времени становилось невыносимым, а застарелость жизни казалась такой телесно-близкой, словно жилы их были общими.

Когда отправил Андрюху и спал изнурительный разлив на два жилья, то как бы ласково ни ждала его Наталья на устье, текли они дальше уже, как



раньше, не смешиваясь. Но так доверчиво струилась она рядом, так ровно дышала и так о чем-то подрагивала на его груди ее раскрытая кисть, что обида Прокопича уже к ней не прибавалась и была только его заботой.

Хоть и не охота бывало маячить на виду со своей бедой, а к людям все равно тянуло, и уж раз зашел, то надо поддержать разговор, поинтересоваться, а на месте души одна рана, да в таких заскорузлых бинтах, что любое слово – лишняя боль и шевеление.

И хуже всего, что в беде человек и добрее должен стать, и к чужому чутье, а Прокопича, наоборот, так объяло болью, что сам валился, и других рушил. Соседский парнишка хочет с ним на мотоцикле прокатиться, деду-соседу охота на лавочке посидеть-поговорить, и оба раздражают, и он рычит: отойдите, мол, не трогайте, не до вас – потом.

Кобель ласки просит, рвется на цепи, в глаза заглядывает и скулит, а человек отмахивается: не трави, брат, душу, ведь рвешь ее, напоминаешь, как гладил тебя, в силе будучи, как бы сейчас приласкал, если б до тебя было. И собака, видя, что мимо порыв, возвращается к будке, промахнувшись, и смотрит опустело и спокойно. И вовек не простить, что тебе худо, а собака виновата, и что припас тепла для счастливых времен бережешь. Дескать, когда в радости буду, тогда полюблю и пойму, а сейчас грех к живому прикасаться и только делу порча. И такой липой от этого благородства обдаст, что стыдом охлестнет, потому что хоть и обесцвечивает человека беда, но зато себя насквозь видать.

### Глава III

#### 1

Серого Прокопичу принесли незадолго до его неожиданного и все перевернувшего отъезда. Ждал он его несколько лет, заказав у хозяина знаменитого зверового кобеля. Сбитый, крутомордый, с крепкими ушами и толстыми тут же затоптавшими лапами, оказался он тогда как нельзя нужным и таким отличным, какими бывают только щенки лаек. Спросонья был особенно теплым, тянулся, горбом выгибая спину, и зевал, выпрастывая язык дрожашей ложечкой, оживал, вилял всем телом и гулко побряхтывал, поскрипывал какими-то мягкими глубинами. Оставил Прокопич Серого вместе со всеми надеждами об их таежном будущем и отправил Володьке, но у того хватало собак, и кобель так и оказался без дела и хозяина. Одну осень брал его Володькин сосед, но упущенный Серый требовал труда и внимания, а тот отступил, и с тех пор собака сидела на цепи.

Эта загубленная собачья судьба все и решила – Прокопич взял на охоту Серого.

Бывает, пожилой человек набирает охапку дров и два последних поляна не помещаются, валяются, а оставлять неохота, и вот старается, прилаживает, а потом встает с колена, опираясь на поленницу, и тащит. Рука отнимается, да еще спина с одышкой добавляет, но когда совсем не вмоготу, то возьмет, второй, свежей рукой обнимет беремья сверху, подхватит – и сразу первой руке подмога, и передых от нее по всему телу расходится. Да и по тайге любой знает, как в работе отдыхать, и, когда лямка в плечо чересчур зарезалась, большой палец подсунет и на кисть примет, и вроде груз тот же, а телу легче.

И когда пошла у Прокопича работа – рыба, птица, ловушки, – перелого в душе от избытка мест на новые, и полегчало. Без надлома вернулось все, что казалось отвыкшим, и снова Прокопич придумывал зазор, а его и не было ни между ступнями и лыжами, ни между руками и топориком, словно их только подправляло, и они оживали раньше хозяина.

Серого кидало, как без рулей, и он то лаял на бурундука, то гонял зайцев, и горько было смотреть на этого сильного и крупного кобеля, столько упустившего в своей жизни. Но Прокопич старался, да и кобель оказался

не безнадежным и, наткнувшись случаем на соболешку, хорошо залаял, и надо было теперь закрепить дело.

На особо зверовые способности Прокопич уже не надеялся, что и подтвердилось, когда Серый взлалял во тьму с подвывом, но далеко не убежал, возвращался, носился рядом с хозяином со вставшей холкой и, заходясь дрожью, длился в диагональ с задней лапой, пружинисто оттянутой и взрывающей снег. Наутро Прокопич набрел на след медведя, отвернувшего задолго до избушки. Судя по целенаправленности, с какой он поднимался в хребёт, зверь шел ложиться. Прокопич представил, как заводил-закачал он мордой и отвернул, почуяв человека, и как уходил, слыша лай, и было что-то непостижимое, в том, что шарашится он по тайге, как по дому, не ища ни угла, ни своей половины, и, большую часть жизни проводя в одиночестве, считает это в порядке вещей.

Пора было настораживать, но навалилось оттепель, перейдя в страшный снег, и Прокопич, сходя по путику, не встретил ни следа, не говоря о белке или глухаре. Крупный сырой снег валил пятнистой завесой, облеплял стволы и хвою, и чем глуше становилась ватная обивка и чаще вздрагивали, сбрасывая груз, ветки, тем сильнее хотелось мороза. Казалось, проще перенестись за тридевять земель, чем дожидаться, когда в небе пердернет огромный затвор и с ночи так хлестанет стужей, что сотрясенная округа осыпется хрустальной крошкой и откроет точеную даль тайги.

Ближе к вечеру сменился ветер и под краем клубящейся тучи стал открываться темный бок хребта в тальке кухты. Прокопич занимался с дровами и снова глянул на небо, только когда нежно запылал под ногами снег и засветились рыжие поленья. Синева уже отстоялась, и в ней медленно всплывала облачная рябь, напоминая не то перо тундряной птицы, не то елочку мышц самой серебряной рыбины. Солнце садилось, охлаждаясь и застывая, и на фоне его бледно-синего следа гравиурно тонкими казались силуэты лиственниц, голых, чуть припорошенных и недвижимых. Гнутый и протяжный излет ветвей придавал такую манящую силу небу, что все виденное в тайге за долгую жизнь расплеталось в душе на струистые реки.

В Сибири по какому притоку ни едешь, тысячью километров ли восточней, западней, всегда кажется, что это только край самого главного, и черты, которые так привораживают, лишь за горизонтом достигают своей полноты. И поэтому так манит все неуловимое, вроде сладкого дыма листвяжных дров или той невиданной чухлости, которая сразу отличает тайгу от любого другого леса.

Особенно остра она весенними белыми ночами, когда елки с прозрачными слоями веточек вытянуты в такую напряженную струнку, что от неподвижности рябит в глазах, и на их илистом подножьи с той же нежной оцепенелостью стоят, не касаясь земли, стрелки черемши, и салатовые веретёна чемерицы, кажется, спустились с небес на тонких и потусторонних струнах.

И кроны кедров или лиственничника хоть и бударажат расхристанностью вздетых ветвей, но даже и в их свирепом разноеесть свой кристаллический порядок и глубочайшая сосредоточенность на внутреннем замысле. И когда в прозрачном заборе ельника брезжит горная даль, то верится, что, если нельзя слиться с нею преследованием, то можно размыть, разесть ее отступающее стекло трудовым потом. И в рукопашной схватке с работой, замесив в одно соленое тесто снег, опилки, кровь, рыбью слизь, бревна и соляренный выхлоп, надеяться, что заметит небо твой грубый хлеб и в один великий вечер так одарит закатом, что не останется сомнения – признало.

Так виделось в юности, пока глаз не приспел и не убавил распашку, а допроявлялось уже позже и урывками в пору трудовой мужичкой зрелости, когда и товарищество, и соревнование перемешаны воедино, и люди, много делающие, становятся все более раздражительными на безделье и прочее ротозейство.

Да и, казалось, слишком бывалый он для восхищения, и порой сам красоту затирал, стесняясь, как новичок, нового приклада или свежего топо-

рища. Так ко дню жизни набрала она сок, да притухла, отошла, как рыба, от берегов, чтобы к ночи вернуться.

## 2

Нет ничего трудней начала, будь то охота, рыбалка или какая другая добыча, и чем дольше не сдвигается дело, тем больше изводит закупорка. И начинает казаться, что никогда не попадется свежий след и не раскатится вдали лай, слитый эхом в один протяжный и бесконечный окрик.

Горбатую гору с курумником на вершине скрывал берег, с других точек ее тоже что-то загоразживало, и по-настоящему открывалась она почти с ее же высоты, а если идти по лесу, приближение оказывалось тоже слепым, настолько заросшим крепкой и высокой тайгой был ее бесконечный склон. Каменистая вершина уже белела от снега, и ее опоясывали худосочные пихты, абсолютно вертикальные, игольно голые и лишь на концах оперенные густыми ершиками хвои.

Ночью Прокопич несколько раз выходил на улицу и глядел на подошедшие звезды, которых после оттепели всегда в несколько раз больше. Завязывался морозец, и он щупал снег и, густо дыша, повторял пробы пара, все никак не устраивавшие.

Проснулся он рано, растопил печку и дождался рассвета уже готовый к выходу. Больше всего на свете хотелось, чтобы Серый нашел соболя, но Прокопич так отяжелел за последние годы, что не знал, справится ли сердце с ходьбой, если это произойдет далеко.

Дорога в гору нуждалась в первой же насторожке, потому что была на той стороне реки и уже шла шуга. Вода текла по камням плавным пластом, и вся поверхность невообразимо шевелилась звездчатыми комьями шуги и тонкими льдинками. Каждый ком ходил по кругу, переворачивался и, задев за камень, выпрастывал серебряное стеклышко, в котором вспыхивало солнце. Комья были глубоко синими, но синеву то и дело, волнуясь, высасывала река, и обезвоженные иглы пульсировали жидким оловом.

Пересекая реку, ветка участвовала в двойном движении: с мягким шорохом резала шугу, и одновременно ее вместе с расступающимся месивом волокло вниз, и под борт головокруглительно неслась янтарная рябь каменного дна.

Едва Прокопич вытащил ветку и оглядел вполглаза голубую кожу реки с темно-синими ежами, как Серый спугнул табун косачей и принялся гонять их с дурацким лаем, гордо взглядывая на взбешенного хозяина. Уже на дороге он побежал по старому соболиному следу и поднял глухаря, которого Прокопич добыл и, радуясь почину, повесил на елку. Потом долго не было свежих следов, и Серый дважды вернулся, когда хозяин слишком долго возился с кулемками.

Прокопич знал, что чем больше думать о следе и о лае Серого, тем дольше не будет ни того, ни другого. Он прошел больше половины дороги и решил попить чаю, и, конечно же, едва закипела вода в котелке и Прокопич всыпал туда шершаво осевшую горсть заварки и продырявил топором банку сгущенки, откуда-то издали и сверху залаял Серый.

По-настоящему Прокопич вздохнул, когда увидел сахарно-свежий соболиный след с размашистым конвоем собачьих лап. Некоторое время он смотрел на след соболя. Было столько великолепия в стремительном прочерке меж парами следов, в самой этой парности, и в косой растяжке каждой пары, сохраняющей на всем протяжении летучую синхронность. На донце следа различались отпечатки подушечек, а весь овал обрамляла мягкая корочка, и края были в нежнейших щербинках.

Когда собака лает на горе, чем ближе подходишь, тем хуже ее слышно, а под навесом вершины попадаешь и вовсе в мертвую зону. Чем выше пробирался Прокопич через ковер пихтового стланика, присыпанного снегом, тем больше поддавался новому волнению: если Серый орет на самом верху, то соболю ушел в курумник и его не взять.

Показался среди лилового частокола стволов просвет вершины, и Прокопич остановился, переводя дух и выглядывая Серого. Тот ходил взад-вперед, задрав морду. Соболь сидел на пихте у самого края леса. Дальше бугрилось присыпанное снегом полотно курумника.

От волнения Прокопич несколько раз смазал, но добыл зверька и дал вволю потрепать Серому, а через полчаса грел у костра невыпитый чай, расслабленно прислоняясь к кедрине. Сердце билось ровно и счастливо. В ушах стоял ликующий лай Серого, а перед глазами достывало все то огромное и постепенное, что он видел с вершины, куда не поленился подняться, несмотря на камни под шершавыми снежными шапками.

Такого прилива сил, как во время подъема, Прокопич не испытывал давно. Легкость, с которой он поднимался, усиливалась, словно слабело притяжение тоски, и боль разрезалась и оседала на каждом слое тайги, как на гребенке.

Весь оковалок простора до поворота реки, ближайшей горы и облака заполнял податливый синий воздух, и глазу лежалось привольно на огромных пролетах, где, чуть поведя зрачком, можно было ошагать целый пласт расстояния. Потому и гляделось без прищура и дышалось вразмах, и чем больше было плечо взгляда, тем сильнее утечка душевного напряжения.

Даль начиналась под ногами и уходила постепенно и осеяземо, и в десяти верстах состоя из того же заснеженного камня. Безлесные верхи были отертыми и гранеными, таежные склоны шероховатыми, а оплывшие ноги с белыми складками ручьев – литыми, как стылая лава. Волнистое покрывало так нарастало и копило такую тяжесть, что, казалось, продолжает доливаться и опадать. И его великая успокоенность рождалась именно из-за того, что, будучи одушевленным, оно не могло не быть зрячим, но зрение его было направлено в самую молчаливую и бескрайнюю глубину.

Стойкая минута эта не требовала ни прошлого, ни будущего, и, когда пути ее и человека неумолимо разошлись, Прокопич, не отдавая себе отчета, пора или нет, повернулся и пошел вниз, лишь у границы леса еще раз обернувшись. Ослепительно белая вершина стояла, опоясанная пихтами, и их черные верхушки горели с тропической четкостью.

Что-то в природе сорвалось, не дозрев до настоящей зимы. Посерело небо, протяжно загудел юго-запад. Подступал вечер, и, насторожив еще несколько капканов, Прокопич повернул к дому и, пройдя с километр, услышал далекий лай Серого, доносившийся с того же места, откуда он недавно спустился.

День был настолько емким и законченно-прекрасным, что возврат казался уже лишним, несмотря на всю радость за успехи Серого. Насколько устал, Прокопич понял, только когда пошел вверх, ступая по старым следам и срывая перемычки между ними с конским понурым усердием. Из-за ветра стал теплеть и тяжелеть воздух, но он все шел, время от времени останавливаясь, и прислушиваясь к лаю, и даже тайно надеясь: вдруг Серый ошибся и попадетя навстречу. Серый лаял уверенно и со знанием дела. Лай затихал по мере приближения горы, и слышался только шум ветра.

Тяжко давалась высота, не будучи в охотку. Пихтовые ветки шуршали по голяшкам бродней, снег и мох проминались под ногой, и железные лбы камней казались тем тверже, чем мягче подавалась подстилка. И с каким бы запасом Прокопич ни заносил ногу, она осаживалась, теряя половину высоты, а запоздалый упор сбивал с шага. Склон становился круче, но ступалось прямо и верно ходил сустав, хотя в коленях давно кончилась смазка. Сухожилия горели и держались за кости, как корешки пихты за камень, и ноги продолжали в бесчисленный раз распрямляться меж тяжестью тела и базальтовом прессом горы.

Наконец Прокопич дошел до верха. Серый стоял на краю леса и лаял в камни. Ветер свистел в пихтах, и внизу гудела и ходила посеревшая тайга. Прокопич взял Серого на веревку и, успокаивая, оттащил от камней и повел обратно, катясь вниз неловким и расхлябанным ядром. Совсем степило, отсырел снег, мох срывался рыхлым скальпом, и камни сидели беза-

лаберно непрочно и выворачивались, ударяясь с трезвым и холодным звуком. Мешался Серый, то попадая под ноги, то натягивая веревку. На дороге Прокопич отпустил кобеля, и он, словно зарядившись от нее домашним настроением, побежал вперед.

Бродни сыро валились в грубую смесь давленной черники и снега, и вспоминалась варка варенья и засыпанная сахаром ягода. Хотелось чаю, морсу, киселя. Прибавились оставленные лыжи, которые теперь пришлось тащить под мышкой. Едва кончился разгон склона, мокрого Прокопича накрепко осадил усталостью, прижимая сквозь подстилку к каменному дну, и он тонул. Тело было ватным, и в его мягких полостях пересыпались кульки с дробью, а главный узел бессилия сидел в сладком очажке под ложечкой.

Смеркалось, и, хотя дорога была знакома до каждой кедрины, оставшийся кусок дотошно множился подробностями. Спустя годы они воскресали с пожизненной силой. Казалось, вот сейчас будет капкан рядом с выворотнем, за ним ручей, а там еще десяток ловушек и берег, но тут вырастал упущенный памятью поворот с длинной затеской, и она напирала с плотской точностью. Мокрая от пота одежда обводила хватким контуром, словно кто-то лепил его из холодной глины. В ходьбе она то отлипала, то прилипала, и где-то подогревалась от тела, а где-то набиралась уличной стылости.

Когда не оставалось сил, Прокопич стелил лыжи и ложился на них пластом, и не было большей тяжести, чем тяжесть усталого стынувшего тела, и не было ничего спасительней.

Рухался на спину и лежал головой к дому, и вес этого отдыха был несопоставим с теми короткими отрезками дороги, на которые он набирался сил во время своих лежанок. Они проносились молниеносно: похоже пролетают расстояния, когда кончается бензин и нарастание скорости накрепко связано с исчезанием его остатка.

Страшно хотелось пить, и Прокопич ел снег, топя под языком и катая по рту. Вернулся Серый, лизнул, сунулся мордой в лицо, шею и собрался бежать, но Прокопич приобнял и задержал его. Серый сидел напряженный, напружиненный, а Прокопич лежал, прижавшись к его боку. Бок был твердым и пах псиной, мокрым снегом и хвоей. Когда Серый внюхивался в ветер или лизался, бок вздрагивал.

Кобель возвышался над Прокопичем, а он лежал у его лап и думал о том, что ничего не знает об этом огромном существе и о том, сколько лет просидел он на цепи и сколько пихтовых веток не доскользили по его бокам, сколько верст снега, моха и камней не добежали под его ногами. Ноги Серого уходили высоко вверх, как пихты, и по ним передавался гул его сильного тела, и оно казалось ему полным чего-то главного, чего не было в нем самом.

Такое же чувство испытал он давным-давно, когда привез жену с родов домой, и ночью Андрюша спал в кровати, а она лежала рядом, и лицо ее с закрытыми глазами излучало такую красоту, что свечение это искупало весь ее нелепый характер. Налитые молоком груди были нежно оплетены набухшими жилами и тоже светились в темноте, и все пространство было напитано сырым вздрогом обновленной плоти, ушито молочной вязью ее дыхания, и Прокопич парил в этом молоке, и оно вымачивало его просоленную душу, облегалo и мыло сердце, и заполняло все пустоты. Покой был стойким и густым только в пределах дома, и, стоило выйти за порог, сворачивался, слоился на тоску и звал обратно, туда, где каждый час совершалось неповторимое.

Там еще всю дымилось и рубцевалось пространство, но слишком неравными были разъятые глубины, поэтому, когда недостаток жизни в одной становился таким же вопиющим, как переизбыток в другой, в Андрюшке что-то срабатывало и он, как усохшая деревина, раздражался истощенным скрипом, и Люда, не просыпаясь, срывалась с кровати и вкладывала в его сведенный рот вспухший бутон соска, и он в несколько судорожных хватков прилаживался и затихал так пронзительно, что, казалось, даже время в эти минуты бьется глотками.

Серый снова завозился, что-то выкусывая в бок, и переступил лапами возле глаз Прокопича, которые еще хранили отпечаток огромной многоки-

лометровой дали и теперь будто соединяли белую вершину горы с подножием собачьих лап. Ноги Серого тянулись вверх, и, повторяя их мачтовый натяг, длились еще выше лиственни и кедры и мялись под ветром шумно и истоиво. И казалось, что люди – как деревья, и если листвень смолёвая и тяжелая, как камень, то никто не требует от нее кедровой легкости. И когда выбирают осину на ветку или кедрину на матицу\*, то сначала ищут прямую, без бугров, и несбежистую\*\*, а потом уже валят, а если кто загубил лесину зазря, то сам и виноват, потому что она могла на другое погодиться или просто расти.

Если бы Прокопич не видел, с какой силой Андрюха жамкает деснами Людины соски, то никогда бы не узнал, почему они стали такими огрубевшими и измятыми. И почему эта веревочная измятость и перевязывает всех троих самой крепкой привязью, которую дети чувствуют гораздо лучше своих отцов и матерей и в которую никто и никогда не вмешается, потому что рассчитана человеческая совесть лишь на разовое родство. И потому грудь любой другой матери, пусть и самой прекрасной и ласковой женщины, покажется такой непривычной и свято-чужой, и женщина эта останется навсегда при своей молочной дали, дорожке которой для нее не будет ничего.

И, когда зверь бродит в одиночку, сизый от лунного света, есть в этом что-то и рвущее душу, и величественное, и лишь человек жалок в своем бездомье, и нет ничего важнее дома. Но для мужчины жизнь – нарастание главного, и ширится он постепенно, а женщина чуть не с истока главным разрешается, а потом всю жизнь дотихает им, поэтому и живут оба в разные стороны, и нет ничего труднее дома.

Есть великие излучения природы, и женщина их часть, и, чтобы детей вывести, ей даже от самой себя заслон нужен, и не товарищ она там, где суждено бродить тебе, как зверю, в извечном одиночестве. И есть две тайны в жизни – глубь женщины и даль пространства, и, как ни тщишь, не пересечь их за горизонтом.

## 3

Все это думал Прокопич, уже лежа на нарах в избушке. Перед этим была темнота, и белый знакомый берег, и гулкая ветка, и медленность каждого движения, в которое он влипал, и оно отпускало не сразу, а продолжало держать и взвешивать, словно в раздумье, допускать ли к следующему шагу.

В черно-белом слесветье все было мягче, чем утром, и резак носа легко рассекал частую и высокую рябь с остатками шуги, и вода шелестела легко и безлично. И каждое новое действие, например, попытка поправить веслом упавшую за борт веревку, становилось таким серьезным препятствием, будто совершалось впервые. При этом все время казалось, что он выясняет какие-то застарелые отношения с пространством и предметами, и не было ничего родней этого чувства. И если у других ощущений были какие-то отличия, оттенки, то это оставалось единственным безошибочно узнаваемым и так вмещало остальную жизнь, что казалось, память разжижило, и все, жившее в ней по отдельности, парило теперь в ее расплаве свободно и ровно.

Уже протопилась печка, просохла одежда на вешалах и чайник опустел по второму кругу, когда Прокопич вышел покормить Серого, и тот отяжелело отошел от таза с кормом и залез в кутух, завешенный мешковиной. Ветер уже улегся, и успокоенно проглядывала белая звездочка в усталом и мутном небе, и луна освещала темные лиственни и кедры вокруг избушки. И по знакомой и доверчивой худосочности, по расслабленной обтрепанности и мятости, по какому-то особенно простоволосому виду леса после сильного ветра, сбившего кутуху и оборвавшего ветки, видно было, что тре-

\* Матица – потолочная балка, глядящая в избу и держащая главный груз потолка.

\*\* От слова «сбежистая», что означает «морковистая», то есть с сильной потерей толщины от комля к вершине.

вожиться Прокопичу больше не о чем и приняла его тайга, так что ближе и не бывает. Но покой не настаивал, и, как из темного нагромождения сопков выплывала одна с игольчато-стройным пихтачом и алмазной вершиной, так на месте прежнего вопроса вставал новый, еще более важный: а готова ли душа Прокопича принять так же полностью и безоглядно извечную красоту тайги?

Утро он встретил бодрым и выспавшимся, восход солнца проводя в хозяйственных заботах. Когда колот крепко завитую чурку, короткое эхо, отдаваясь о стену избышки, сливалось с отрывистым ударом колуна, и сухие поленья отлетали с поющим звуком.

Когда спело последнее полено, Прокопич поднял голову и увидел верхушки лиственниц, гравюрно прорезавшие серебряные облака. Отсвет неба лежал на алюминиевой канистре, на снегу, и даже на лабазке под навесом ярко серебрился подсолоненный сижок и блестела затертая обойма от карабина. Прокопич стал думать о словах и о том, что «обойма» происходит от глагола «обнимать», и вспомнил, как первый раз улыбнулась ему Наталья, а он спросил: «Как тебя зовут?»

И прозвенела в этом гулком и протяжном «зовут» такая вечная разлука, такая надежда на слияние человека с человеком и такая близость к женщине, что хоть и давно оглохла даль от ее имени, а потребность звать осталась на всю жизнь.

Так он и звал ее этим утром, звал сквозь обиду, сквозь Люду, сквозь Андрюху и Зинаиду Тимофеевну, и так сильно и искренне звал, что почудилось, в небесном просвете медленно обернулась Наталья и махнула крылом облака, а Прокопич встал в снег на колени и помолился, чтобы серебряно и легко отлила от души ее уходящая нежность...

## 4

– Бывают мужички, к которым вечно ходят советоваться. Он уж давно отпахал свое по артелям да экспедициям, отшумел и отжил, а у молодого с трактором неполадки, и ответ один: «Иди вон у Петровича спроси». А у Петровича ни мотора, ни трактора, ни куска тайги, только избенка на берегу, да ведро, да лопата, которой он тихонько копается в огороде. А копнешь самого, так он спокоен и так не сомневается, что все мыслимые просторы с ним навеки, что нет истинней его власти над жизнью. И горше одинокой старости в забытом Богом поселке. Пойдем, Серый... – говорил сам себе Прокопич, отходя от избышки и подправляя топориком затесь.

Небо сквозило все серебряней в ячее ветвей, и каждая листвень стояла прямо и ровно, а одна, с двойной вершиной, держала на отлете кедровку. И все было на месте в то утро, и каждый был занят своим делом. Небо, где перегоняли отставшее облако к сизой и перистой стае, и собака, и пожилой человек, приехавший попросить прощения за неловко прожитую жизнь. И придумавший разлуку, которой не было, и теперь очень удивленный и все будто ощупывающий душу и не верящий произошедшему. И опасаящийся что заскорузла она, переродилась сальцем и остыла к вечно сиянию природы.

К вечеру Серый облаял соболя, и Прокопич, добыв его, не удержался и поднялся на хребет, откуда долго глядел на белую гору, сначала освещенную солнцем, а потом погасшую и ставшую еще четче.

День был ясным и длинным, но, каким далеким ни казалось бы его начало, Прокопич знал, что навсегда душа в том серебряном утре и не будет вовек ей остуды.



*Кто бы что ни говорил, а жизнь все же чарует и дарует с непредсказуемыми последствиями. Вот, например, журнал «Октябрь». Он некогда был организован группой товарищей как центр объединения творческих сил пролетарских писателей. И десятилетиями имел соответствующую позу лица, плавающего в железном коммунистическом потоке имени А. Серафимовича, одного из первых главных редакторов этого идейного периодического издания. В «Октябре» вечно псчитались разные отъявленные советские писатели, перечислять которых совершенно не хочется, чтобы не тревожить их одиозные тени. Во времена моей юности подъяремная советская прогрессирующая интеллигенция любила закатывать глаза: как же, ведь здесь Всеволод Кочетов, супостат нашего дорогого «Нового мира»! То, что здесь впервые была опубликована Белла Ахмадулина, с октября 1967-го по август 1968-го в редколлегию «реакционного журнала» входил будущий создатель и главный редактор антисоветского «Континента» Владимир Максимов, а «Новый мир» уже отметилсЯ тогда не только «Иваном Денисовичем», но и бессмертной прозой «дорогого Леонида Ильича», общественное мнение никак не колыхало.*

*А между тем все кануло. Мы живем теперь в новой реальности, нравится это кому или наоборот. В этой реальности слово «октябрь» ассоциируется скорее не с хулиганским осенним переворотом 1917 года, а с бессмертными строчками Пушкина, которые знает любой россиянин, потому что их заставляют учить в школе. В журнале, который стал независимым за год до независимости России, пропечатались за это счастливое время многие из тех, кому было отказано в праве на жизнь или существование все эти долгие годы чумной коммунистической зимы. Но «Октябрь» не шафрахнулся в другую крайность и не выдает себя за апрель-май-июнь, флаг, символ или новое руководство к литературному действию. Он занял свое достойное место в достойном ряду русских толстых журналов, и тот, кто швырнет в него камень, попадет в себя.*

*Слава Богу, нынче метанием камней мало кто увлекается. А то, что Россия оказалась страной не только Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, но и обиталищем самозванцев, кушинных рыл, смердяков-вух и мужиков, не желающих слушать Гайдна, совершенно не должно смущать тех, кто любит свою страну и хорошо знает ее историю. Это у них там «вечная весна», а в России «вечная осень», если повезет – золотая. Одним словом – «Октябрь».*

## Из цикла «История болезней»

### ЗУД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКТИВНЫЙ

**У**Джерома К. Джерома, английского писателя конца прошлого века и автора книги «Четверо в лодке, не считая собаки», есть персонаж по имени дядюшка Поджер, вполне приличный человек, положительно ха-



рактируемый по месту его службы бизнесменом, но у которого есть одна маленькая странность. Он любит делать собственными руками работу, к которой совершенно не приспособлен.

К примеру: черным днем для его добропорядочной семьи является день тот, когда дядюшка решаетса самолично повесить в доме зеркало, утверждая, что специальный нанятый человек сделает все не так да вдобавок еще потребует, чтобы ему навалили за этот труд огромную кучу английских денег.

Дядюшка засучивает рукава и приводит в действие всех домашних. Один несет ему молоток, другой – гвозди, третий держит стул, чтобы дядюшка с него не навернулся.

В результате мистер Поджер сначала бьет молотком по пальцу вместо гвоздя, за что кроет родственников британским матом, а затем все же летит со стула, попутно разбивая вдребезги дорогое зеркало, которое, сохранись оно до наших дней, было бы сейчас бесценным антиквариатом.

Сам того не ведая, писатель изобразил для нас симптомы распространенного со времен седой старины и до наших юных дней заболевания личности, которое имеет название «ЗУД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКТИВНЫЙ», однако с того 1927 года, когда Джером Джером переместился на тот свет, заболевание это значительно прогрессировало, а в последние годы даже имеет шанс приобрести характер эпидемии.

Здесь мы имеем в виду даже и не прошлую нашу эпоху, когда сапожники управляли государством, а интеллигенты клеили заплатки на свои дырявые башмаки.

И не позапрошлую эпоху, когда химик Бородин взял да заодно и написал оперу «Князь Игорь» про светлую древнерусскую личность и противостоявшие ей половецкие пляски, а калужский учитель Циолковский изобретал космические корабли, на постройку которых ушли последние советские деньги.

Дело гораздо серьезнее. Ведь те эпохи – одна давно, другая недавно – канули в небытие, а нам приходится жить во времена внезапно активизировавшихся подобных больных.

Рассмотрим случай больного А. Он всю жизнь работал режиссером провинциальных театров и играл Бабу-Ягу в детских спектаклях, став замечательным профессионалом двух этих почтенных профессий. В начале 90-х какой-то вихрь разметал ровную поверхность его незамутненной души, а глупые люди, покоренные его актерской выразительностью, замешанной на системе Станиславского, дали ему немного денег, которые он сначала приумножил, но к августу 1998-го все потерял и теперь сидит в тюрьме, радуясь, что его вообще пока не убили. Мы слышали, как о подобной судьбе пел в электричке красивый бомж в засаленном джинсовом костюме: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда».

А вот пример, как говорится, из другой оперы. Оперный дирижер, назовем его Б., тонкий ценитель, знаток и профессионал музыки, имеет зарплату \$2400 USA в месяц и дачный участок размером 0,10 га в каменисто-глинистой местности, расположенной на северо-западе нашего родного Подмосковья. Выходец из маленького промышленного городка, бывший сирота, он теперь знаменит во всем мире, но мало кто, кроме меня, знает, что каждую весну его болезнь обостряется и он, забросив все свое творчество, отправляется на упомянутую дачу, где неделю возится в ледяной жиже, закапывая в землю различные деревья, злаки и овощи, широко улыбаясь при этом и повторяя: «Земля... Землица...» После чего еще около недели вынужден соблюдать постельный режим, страдая от сопутствующих его ЗУДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ других болезней (кашель, насморк, грипп, воспаление легких, артрит, полиартрит, ревматизм, бурсит, вода в колене). Временно излечившись, он временно покидает Москву и вообще Россию, чтобы продемонстрировать свое искусство другим жителям планеты Земля. За это время его участок зарастает бурьяном, деревья сохнут и зве-

нят, злаки не колосятся, овощей нет. Однако рано или поздно наступает следующая весна, и все повторяется с логической точностью в очередной раз, вследствие чего от него недавно ушла жена.

Несмотря на все успехи современной медицины эффективных средств от этой болезни пока нет. Попытки лечить ее гипнозом и алкоголем обычно приводят к обратным результатам, а медикаментозное вмешательство путем введения в организм больного антипсихотропных препаратов запрещено законодательством. Остается лишь уповать на волю Божию, что и сделал больной В., в прошлом известный поэт и лауреат всяких советских премий, который сумел преобразовать описываемую болезнь в свою пользу. На выделенной ему Литфондом даче в пос. Пер-но Московской области он выстроил инкубатор и теперь успешно торгует домашним куриным яйцом и битой птицей, что для него оказалось гораздо более выгодным, чем сочинять всякую чушь и пресмыкаться перед любым из сильных мира сего. А в капитализм он все равно не верит, потому что не так воспитан. Недобросовестные исследователи любят приводить в качестве положительного примера якобы исцелившегося олигарха Х., который зудом своей деятельности поднял нашу страну на дыбы, но серьезная наука считает их доводы шарлатанством, а мы должны верить серьезной науке, иначе пропадем, как на корабле «Титаник».

### ***РОЖА ПОСТСОВЕТСКАЯ БЛАГОПРИБРЕТЕННАЯ***

Относится к разряду типичных инфекционных заболеваний, распространившихся после изменения общественно-политической формации на территории бывшей страны СССР, а особенно в той ее части, которая ныне именуется Российской Федерацией. Характеризуется перманентной лихорадкой, имитирующей гражданскую деятельность, тяжелейшей интоксикацией здравого смысла, поражением тех участков коры головного мозга, которые позволяют здоровому человеку оставаться свободным вне зависимости от политического режима, существующего в его государстве, сильным слюноотделением при виде недоеденных кусков с барского стола, непроизвольным словоиспусканием в экстремальных ситуациях (восторг, ужас, страх, упущенная выгода), а также полной потерей памяти о собственном прошлом.

Основным источником этой инфекции, как традиционно полагает наука, являются коммунисты, а в особенности те из них, что, натихую, пряча глаза от приятелей и собутыльников, вступали в партию при покойном Брежневе, чтобы, как они при необходимости это объясняли, «улучшить ее изнутри», затем повторяли вслед за Горбачевым шаманскую формулу «больше социализма», а при Ельцине публично жгли свои партийные билеты или закапывали их на собственных дачах, полученных от прежнего, немотивированно ставшего им ненавистным режима, при котором они большей частью катались, как сыр в масле. Однако новейшие исследования доказали, что дискретное заражение очарованных особей может происходить также трансмиссивным, контактно-бытовым, а также (в условиях эпидемии) и гипнотическим путем посредством средств массовой информации вне зависимости от исповедуемой больным идеологии.

Так, например, больной А., который раньше был латентным антисоветчиком и вынужден был эмигрировать под давлением властей в г. Париж (Франция), теперь вдруг на старости лет возлюбил Сталина всеми фибрами своей смятенной души, написав об этом немало статей и отдельных книг, пользующихся большим успехом не только у других больных, но и у персонала соответствующих лечебных учреждений. И, наоборот, больной Б., всю свою прежнюю жизнь посвятивший изучению трудов В.И. Ленина и хорошо служивший в советских газетах, новый период истории отметил развитием бешеной деятельности по низвержению своего пре-

жнего кумира и коммунизма, заняв тем самым вакантное место больного А. Оба они сейчас гневно клеймят действия федеральных войск в Чечне, однако не с позиций здравого смысла, а с точки зрения их тяжелого недуга и собственной выгоды.

Интересен случай и с больной С. Занимая при советской власти пост секретаря Союза писателей, она неоднократно прилагала свою творческую руку к обличению так называемых диссидентов, так называемую «перестройку» встретила с изумлением и растерянностью, однако вскоре целиком ушла в болезнь и теперь снова критикует здоровых людей за аполитичность, обывательщину и пренебрежение интересами России, которую она гипертрофированно воспринимает, как свою собственность. При попадании ее возбудителей в кровоток текущей жизни происходит генерализация инфекции с формированием вторичного изменения личности окружающих инфицированную пациентку людей, отчего недавно она снова заняла руководящую должность, и все мы еще послужим под ее началом.

Характерно, что некротические формы указанной болезни встречаются крайне редко, подтверждая тем самым известный постулат нетрадиционной медицины: «Дурак-дурак, а мыла не ест», что позволяет оптимистически оценивать перспективы излечения и профилактики этой тяжелой болезни.

Однако всегда следует помнить, что душевные травмы разной степени сложности, а также общая обстановка перманентной гнилости окружающей среды обитания могут вызвать рожистое воспаление в тех случаях, когда снижена защитная функция организма человека или имеется повышенная чувствительность по отношению к возбудителю.

Этим объясняется и то, что заболевание нередко рецидивирует. В течение инкубационного периода болезни, длящегося от нескольких минут до десяти лет, больной, который до этого жаловался на душевную апатию или даже впал в бред покаяния и уничижительной самооценки, вдруг чувствует острый подъем температуры своего общественного темперамента, непреодолимые и частые позывы к учительству и тому явлению, которое в науке носит название «пасти народы», после чего мы вновь видим его приподнятым над остальной массой наших сограждан. Лицо его может быть красным, белым, голубым, зеленым и др., однако он будет уверять вас, что именно это и есть нормальный цвет человеческого лица, с таким же жаром, с каким при соответствующем изменении обстановки в стране и личной жизни он будет уверять вас в обратном.

Диагноз этой болезни несколько затруднен, потому что точные симптомы могут иметься и у вполне здоровых людей, которые действительно озабочены общественно-политическими проблемами страны, в частности, тем, чтобы она в очередной раз не накрылась окончательно медным тазом, а не занимаются болезненной имитацией этой озабоченности.

Однако таких людей не так уж и много и все они находятся на постоянном учете.

Специфического лечения РОЖИ ПОСТСОВЕТСКОЙ БЛАГОПРИБРЕТЕННОЙ не имеется. Диагноз ставят на основании анамнеза, характера и результатов деятельности больного, а также общей клинической картины вялотекущей жизни. Инъекции тоталитаризма ведут больного к летальному исходу, последствия введения настоящего, а не дикого капитализма на ход течения болезни пока что не исследованы ввиду отсутствия лекарств, общей пауперизации и беспредела.

### **ЧЕСОТКА ЛЕВАЯ ВНЕИСТОРИЧЕСКАЯ**

Как известно, в любом воздухе проживает огромное количество самых разнообразных микробов и пытаться извести каждый из них не только устанешь, но и замучаешься. Самое главное, чтобы эти микробы не разве-

лись в диких количествах, вызывая эпидемию, которая уносит неизвестно куда и тела, и души, а все потом говорят: «Примите наши соболезнования, мы вас предупреджали».

Это конкретно касается и ЧЕСОТКИ ЛЕВОЙ ВНЕИСТОРИЧЕСКОЙ, являющейся, как многие ошибочно полагают, следствием болезни ЛЕВИЗНЫ ДЕТСКОЙ, которую описал в начале века кремлевский ученый ЛЕНИН, но серьезные исследователи в последние годы пришли к правильному выводу, что ТОТ ЕЩЕ ВОЛОДЯ в данном случае не совсем прав.

Поясним это на конкретных примерах. Современная русская писательница поехала на конгресс, чтобы прочитать там доклад на тему «Женщина и власть». Конгресс проходил в одной из северных демократических стран на открытом воздухе в начале июня месяца, когда северная земля еще не окончательно прогрелась, хотя на ней уже выросла замечательная травка, а над травкой зазеленели деревья, как в учебнике ботаники за пятый класс. Писательница хотела поразить западных коллег своим интересным докладом о царице Екатерине Второй, которая несмотря на корону тоже была писательницей. Однако вместо этого она была поражена сама: западные коллеги, которые все как на подбор почему-то оказались страшненькие и злые, зачем-то уселись теплыми попами прямо на холодную землю, неизвестно отчего совершенно не заботясь о собственных гениталиях.

А вместо всяческих докладов тут же стали протестовать. Дело в том, что в традициях этого конгресса была финальная шутивная игра в футбол под не меркнувшим в это время года северным небом. Так вот эти люди (по случаю ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ их строжайше запрещается называть дамами и целовать им ручки) заявили, что футбол – игра МУЖСКАЯ, ШОВИНИСТИЧЕСКАЯ, поэтому нужно, во-первых, ПРОТЕСТОВАТЬ, а во-вторых – придумать для такого солидного международного сборища такую забаву, которая была бы одинаково интересна и женщинам и мужчинам.

Писательница сострила, что она уже знает одну такую забаву, КОТОРАЯ ОДИНАКОВО ИНТЕРЕСНА И ЖЕНЩИНАМ И МУЖЧИНАМ. Ее поняли, но посмотрели недоуменно, а доклад ее восприняли с брезгливым сочувствием, тут же умозаклучив, что Россия – страна рабов, страна господ, где Екатерина – госпожа, а докладчица – рабыня. Писательница в сердцах решила, что все они – лесбиянки, но тут она, признаться, тоже ошибалась, как упомянутый Володя. Вовсе уж не стопроцентно все они были лесбиянками, да и потом – кому какое дело: лесбиянки да и лесбиянки, каждый делает, как хочет. Однако зачем уж такую-то совсем ни к какому ДЕЛУ хреновину плести про футбол? Да все затем, потому! По случаю ЧЕСОТКИ ЛЕВОЙ ВНЕИСТОРИЧЕСКОЙ, профессиональной болезни интеллигенции и в особенности тех ее представителей, которые вышли из народа, а вернуться обратно забыли.

Вот и еще пример. Гремел пышный бал художников на Манхэттене в городе Нью-Йорке (США). Бал был устроен в честь восходящего метеора, знаменитого русского художника, который прибыл за океан, чтобы, свесившись с тогда еще существовавшего небоскреба World Trade Center, лично и прицельно насрать на голову своего соавтора, украшенную мексиканской шляпой сомбреро. Я знаю, я читал – кажется, это называется ПЕРФОРМАНС.

Все восхищались талантливым русским пареньком, столь дерзко внесшим свою лепту в копилку современного искусства. Рекою лились виски, джин, другие богатые напитки, когда я вдруг увидел среди прочей богемы довольно небритого мужика с накрашенными губами, одетого в полупрозрачный женский пеньюар, в колготках и туфлях-лодочках на высоком каблуке.

– Ты, поди, думаешь, что это пидор? – с укором обратился ко мне мой старый товарищ, с которым мы когда-то вместе учились в Московском гео-

логоразведочном институте им. С.Орджоникидзе. Ставший теперь богатынским новым американцем с двумя паспортами.

– Мне что за дело, – невнятно ответил я.

– А вот ты и ошибаешься. Этот знаменитый профессор лингвистики – мужчина совершенно гетеросексуальный, но он таким образом протестует. Здесь такое можно, потому что тут так принято, – ликуя от успехов своей второй родины, солидно пояснил мне соученик.

– Протестует против чего? – не понял я.

My old friend задумался.

– Протестует... Если честно сказать, я тоже не знаю. Ну, наверное, **ВООБЩЕ ПРОТЕСТУЕТ**, – смутился сей тип, не чуждый богемы, однако имеющий кой-какой бизнес со своей родиной первой, которая для него началась с картинки в букваре, а закончилась сами видите где. Из этого я сделал вывод, что основные симптомы описываемой болезни – бурный протест против незнамо чего, а также символические полеты дерьма в пространстве и времени. Прыщи, нарывы, истерика, желание научить других тому, чего ты сам не ведаешь, относятся к вторичным ее признакам. Таким образом, **ЧЕСОТКА ЛЕВАЯ ВНЕИСТОРИЧЕСКАЯ** прогрессирует только в условиях стабильного общества, когда граждане не боятся полицаев и ментов... Когда практически у всех, даже у самых убогих, водятся кой-какие неплохие по нашим меркам денежки... Когда есть закон и порядок, а счастья и воли все равно нету, отчего всех **ЛЕВАКОВ** и корежит со скуки. Заметим, что нашей веселой стране, где вечно пляшут и поют, левая чесоточная эпидемия пока что всерьез не угрожает, потому что страна наша, широкая, родная, погрязла в перманентно творящемся на ее просторах бардаке, личных богатств трудящиеся имеют мало, а, как только у них заводится копейка, ее тут же у них отнимают нетрадиционными методами. Они тогда со злости идут в магазин, а отнюдь не в **ЛЕВУЮ СТОРОНУ**.



*Теперь не упомяну, когда я впервые появился в редакции «Октября». Надо полагать, в середине 80-х годов, когда над родной литературой только-только забрезжила свобода слова, и еще никто не знал, что она будет дана нам как наказание. Затем, надо полагать, последовал инкубационный период, неизбежный для всякого начинающего автора, пока, наконец, мои сочинения не пошли в ход. Это было время, когда литературным трудом можно было безбедно существовать, характер «Октября» во второй жизни еще не определился, и нельзя было выпить с главным редактором на брудершafft.*

*С тех пор на этом фронте произошло множество отвратительных перемен. И две симпатичных: о первой умолчу по личным причинам, а также из чувства такта, другая же метаморфоза заключается в том, что журнал «Октябрь» превратился едва ли не в самое интеллигентное повременное издание в стране, где всё враждебно интеллигентности и она стала таким же уникалом, как, скажем, цыган в очках. Такая фронда в высшей степени благородна, хотя, с одной стороны, авторы «Октября» чувствуют себя робинзонами среди людоедов, но, с другой стороны, нельзя предсказать, как повернется жизнь. Не исключено, что в обозримом будущем русский язык станет мертвым, как латынь, однако же и то не исключено, что всё в конце концов вернется на круги своя и интеллигентность вновь будет нормой, как в наши лучшие времена.*

*Впрочем, кое-что осталось неизменным. Что до «Октября», то это вежливые дамы в приемной, «старшая сестра» – ответственный секретарь Инесса Климентьевна Назарова, дух единой команды и культура словесного ремесла.*

## Путешествие по моей комнате

**Д**аром что граф Ксавье де Местр, сочинивший от скуки и по случаю заключения на гауптвахте знаменитое «Путешествие вокруг моей комнаты», был неинтересный писатель и дилетант, у него нашлось множество подражателей, вплоть до Сомерсета Моэма, который озабоченного сочинения даже и не читал. Это неудивительно еще и по той причине, что история изящной словесности знает немало случаев, когда писатели выдумывали сюжеты, которые были не в состоянии разрешить. Понятное дело, преемников подмывало исправить недоработку, по-новому и вполне использовать выдумку предшественника, что, впрочем, удавалось натужно и не всегда.

То есть неудивительно, что в один прекрасный день и мне грешному показалось страсть как заманчиво попутешествовать по моей комнате, передать свои странствия в картинах и ображениях, присвокупив идущие к делу воспоминания, и, таким образом, освободиться, исторгнуть из себя наболевшее за последние десять лет. Писателю почему-то время от времени требуется освободиться, исторгнуть из себя наболевшее – види-

мо, потому, что он не умеет рыдать, сводить счеты, жаловаться и разговаривать по душам. А тут сама собой подворачивается возможность совершенно избавиться от того, что наболело за последние десять лет. Наболело же ох как много, поскольку вот уже десять лет, как на дворе бесчинствуют зловредные времена, и, с другой стороны, легче всего высказаться посредством путевых записок, жанра вроде бы легкомысленного, но синтетического и необъятно поместительного, как дедовский чемодан.

Начать следовало с вопроса: «Зачем люди путешествуют?» – обращенного к себе грешному и вонне. Зачем они крохоборничают одиннадцать месяцев в году, отказывая себе чуть ли не в хлебе насущном? Зачем вступают в нудные препирательства с шалопаями из туристических агентств, которые запросто могут надуть? Зачем долго и тревожно собираются, собираясь с путанными списками, и при этом обязательно забудут что-нибудь такое, без чего невозможно прожить и дня? Зачем они томятся по вокзалам, едят не вовремя и черт-те что, провоцируют рост преступности, оставляя свой багаж без присмотра, терпят притеснения от транспортников и портье, а главное, ежечасно рискуют жизнью, которой даже экзотическая инфекция так не угрожает, как обыкновенные пароходы, самолеты и поезда?! Одним словом, к чему это все, если хотьба по московским тротуарам в ноябре месяце не менее опасна и так же полирует кровь, как восхождение на Эльбрус? Если в окошке напротив угадываются такие открытия и тайны, какие не подразумевают даже неразгаданные халдейские письмена... Сдается, общечеловеческая страсть к путешествиям – это от недостатка ментальных сил.

Совсем другое дело, когда путешествуешь по своей комнате. Дорожный костюм самый обыкновенный: ситцевый халат, пошитый бывшей супругой на манер японского кимоно; сверху не каплет, сквозняков не бывает, температура воздуха благоприятная, около 20°С даже в самые лютые холода; безопасность полная, ну разве что шальной самолет снесет твой двадцать второй этаж, что представляется маловероятным, если принять в расчет максимальную удаленность от всех подмосковных аэродромов; средства передвижения предельно надежные, пересадок бывает только две, а именно с дивана на ноги и с ног на диван, где вообще полеживается так ловко, так даже сладостно, что кажется, будто ты воспаряешь над своим ложем от избытка ментальных сил; питание регулярное и качественное, то есть на столике у дивана заранее поставлен термос со сладким чаем, хрустальная икорница со свежей кетовой икрой, масленка с маслом, подернувшаяся слезой, коробочка с фесталом, блюдо с бутербродами и парой яиц, сваренных в мешочек, которые в простывшем виде особенно хороши. Наконец ты ни от кого не зависишь, и ничто не может отравить тебе путешествия: ни исламисты, ни жулики-туроператоры, ни забастовки транспортников, ни колики в животе.

Итак, в путь. Глаз уже сам собой наострился, нервные окончания точно обнажились, в голове сделалось как-то прозрачно – и всего тебя вдруг охватывает нервное чувство свободы, какое, наверно, всегда открывалось в человеке на вокзальных перронах и за последним городским шлагбаумом, чувство тревоги перед неизведанным и еще гнетущее чувство, как будто ты оставил невыключенным утюг.

Начну непосредственно с пункта А, то есть с моего дивана, который представляет собой центральный пункт моей комнаты в моей компактной однокомнатной квартире на двадцать втором этаже моего синего небоскреба, где я поселился вскоре после развода с моей женой. Тогда же я и купил диван; он поместительный, темно-синий, с валиком в изголовье и двумя подушками-думками, вышитыми крестом. Замечу, что мой диван вот уже много лет как хранит невинность, то есть он никогда не знал женского тела, потому что со мной вдруг что-то произошло.

Я потерял интерес к женщинам. Этот интерес, причем в самой острой форме, неизменно сопровождал меня примерно с пятилетнего возра-

ста, и вдруг несколько лет назад женщина перестала меня занимать как объект физиологических вожделений, но, правда, тогда же сильно заинтересовала как другое – не высшее и не низшее, а именно что другое, иное, – существо. Хорошенько обдумав свой опыт общения с нежным полом и, в частности, с бывшей моей женой, я пришел к следующему заключению: разница между мужчиной и женщиной отнюдь не та, что вообще существует между самцом и самкой, а та, что обособляет такие разнокачественные понятия, как фотосинтез и минерал. Во всяком случае, это различие показалось мне столь глубоким, что нам логичнее было бы жить раздельно и сходитья время от времени только для продолжения рода, каковой, по спорному мнению Льва Толстого, вряд ли стоило б продолжать. Недаром в последнее время кажется как-то страшно лечь в постель с женщиной, и соитие представляется актом в высшей степени неприличным, особенно как на себя посмотришь со стороны.

Но страшней всего оказалось то, что в годы, далекие от преклонных, с тобой может произойти такая непонятная и резкая перемена: а вдруг тебе ни с того ни с сего откажут аналитическая способность, пищеварение или слух?

Таким образом, на моем диване ничего не происходит, если не считать, что на нем я провожу лучшие часы жизни. Правда, однажды я тут медленно умирал. Как-то под вечер неожиданно поднялась температура, пересохло в горле, перед глазами пошли оранжевые круги – и несколько дней я провел в бреду. Бредил я, как это ни странно, по преимуществу вопросом: отчего в детстве все люди пишут стихи, а потом ничего не пишут, кроме заявлений и объяснительных записок? – и с болезненной настойчивостью приходил к выводу, что виной этому феномену детский страх; наверное, детям страшно, что они всю жизнь будут прозябать, предаваясь этому нелепому и праздному занятию, вместо того чтобы испытывать новые образцы огнестрельного оружия или строить межпланетные города. Следовательно, вдруг повзрослевший человек опасен, как домашний хищник, познавший кровь.

Но, с другой стороны, все-таки премудро устроен человек! Я потому знаю, что я не как-нибудь, а форменно умирал, что по бесконечному милосердию Божию меня раздражали любые проявления жизни вроде воркованья голубей за окном и неудержимо влекло в небытие, однако же на пятый, кажется, день я пришел в себя. Я пришел в себя, и жизнь снова открылась с привлекательной стороны.

Вот ведь еще напасть какая: оказывается, можно неожиданно помереть.

В изголовье дивана, над моим левым ухом, висит ковер – туркменский, ручной работы, больше отдающий в зеленое и бордо. Даром что я из крестьян Дмитровского уезда, поверх ковра развешено холодное оружие, как это водилось в курительных и диванных комнатах хороших домов в стародавние времена. Центр композиции обозначен копьём с бронзовым накопником, который относится к началу первого тысячелетия до рождения Христа и попал ко мне необычным образом: я его выиграл в преферанс. Старинный морской кортик мне подарили на день рождения, немецкую блохеровскую саблю времен наполеоновских войн и боевую рапиру с золингеновским клинком я купил в антикварном магазине на Арбате, японский меч левой руки мне привез один знаменитый театральный режиссер, русский четырехгранный штык, прилагавшийся к мосинской винтовке, я самолично нашел у деда на чердаке. Все эти приобретения случились примерно в одно и то же время, когда я примеривался к историческому роману из эпохи дворцовых переворотов и наивно полагал, что нужно по возможности окружить себя материальными свидетельствами минувшего, прежде чем взяться по-настоящему за роман. Я в те поры думал длинно и витиевато, и, вместо того чтобы тратиться на антикварное оружие, мне следовало бы научиться писать вразумительней и подробней. Ну куда это, в самом деле, годится:



«По причине той занятой закономерности, что интерес к фундаментальным предметам чаще всего возбуждается малозначительными, а в другой раз и прямо посторонними обстоятельствами, идея настоящего повествования вышла из совершенного пустяка, именно из газетной заметки, которую можно было бы даже и не читать, кабы в ней не сообщалось о том, что разнорабочий Бестужев, весовщик Завалишин и водолаз Муравьев привлечены к уголовной ответственности за незаконное врачевание, однако же, как выяснилось впоследствии, к декабристам эта троица никакого отношения не имела, и предки их оказались всего-навсего однофамильцами наших великих мучеников, но уже было поздно: заметка бесповоротно навела на цепные человеко-исторические размышления, то есть сначала на ту догадку, что, вероятно, угодить в историю можно так же нечаянно, безотчетно, как в глупую переделку, затем на ту мысль, что раз не все беззаконники проходят перед судом, то, может быть, и в историю не попадает значительная часть тех, кто ее непосредственно совершает, недаром Александр Николаевич Радищев подозревал, что-де бурлак, идущий в кабак повесить голову и возвращающийся обгаренный кровью от оплеух, может решить многое, доселе гадательное в истории российской; наконец, было неясно, что обрекает одного Бестужева на историческое деяние, а другого – на мелкое колдовство».

Дело было в 1991 году, однако я отчетливо помню, что и первоначально идея моего исторического романа была не та и вышла она не из газетной заметки, а из полного собрания сочинений Ключевского: я у него вычитал, что князь Меншиков так основательно пообчистил казну, что его личное состояние превышало государственный бюджет на три миллиона рубликов серебром. Первоначальная идея скомкалась потому, что в это время случился государственный переворот, на улицы вышли танки, и я нагло захопнул в своей квартире и долго не мог думать решительно ни о чем.

Теперь же, глядя на свою коллекцию, я думаю не о философии истории и не о литературе, но о космогоническом значении той искорки, которая обозначается местоимением «я» и на мгновение затесалась между вечностью позади и вечностью впереди. Вот наконец-то копьё, выкованный неведомым мастером задолго до Великого переселения народов, видимо, при сарматах, когда мои пращурьы еще таскались по приазийским степям, продвигаясь километрами на сто западнее в течение жизни одного поколения, туда, где теперь по весне клубятся над Днепром хохляцкие вишневые и абрикосовые сады. Эти сады я видел, приазийские же степи нетрудно вообразить: под ногами песок и глина, спекшаяся, как кирпич, высохший ковыль и невесомые жлужки перекасти-поля, которые кажутся живыми, саманные колодцы с мутной водой, пахнувшей навозом, небо над головой, выгоревшее от зноя, точно спецовка, жарко так, что мнится, будто ты дышишь не воздухом, а огнем.

Или вот моя блохеровская сабля, которую неведомыми путями занесло на Арбат из какого-нибудь баварского Аугсбурга, где сплошь стоят милостивые беленые домики с черными внешними балками и миниатюрными цветниками по подоконникам, а за городским шлагбаумом начинается мощеная дорога, обсаженная аккуратными липами, в кронах которых запутались изморозь и туман. Двести лет прошло, как нет в живых хозяина сабли, а он стоит перед глазами, баварский гусар с нафабранными усами, глупыми выпученными глазами и налившейся грудью, похожей на барабан.

Левее туркменского ковра дверь, через которую в разное время ко мне попадало множество разного люда, приходившего по делу, без дела, в силу служебных обязанностей, из корыстного интереса и попросту навестить. Никого из великих моих современников среди них не замечено – по той простой причине, что великих давненько нет, – но раз побывал человек из Новой Зеландии, страны людоедов, который подарил мне тамошний камешек, отдаленно похожий на изумруд. Помнится, это случилось на той неделе, когда у нас украли районную поликлинику: во вторник она еще сто-

яла на своем месте, между магазином «Копейка» и детской музыкальной школой, а к вечеру среды в ней открылся конспиративный публичный дом.

Теперь уже не упомяну, чего ради новозеландец очутился в моей московской квартире, но камешек по-прежнему возбуждает воображение и заводит невесту куда. То есть, напротив, маршрут известен: минуем наши восточные области, Заволжье, Уральский хребет, просторы Западной Сибири и над Иркутском резко берем южнее, держа курс на Улан-Батор. Тут надо задержаться, как говорится, на пару слов...

В книжном шкафу у меня выставлена фотография, на которой изображен дворец монгольского богде-гэгэна, управлявшего страной до середины двадцатых годов и сидевшего в Улан-Баторе, тогда – Урге. Строение так себе, и даже сильно напоминает добротный двухэтажный купеческий особняк где-нибудь в Семипалатинске: нижний этаж из кирпича, верхний – деревянный, крыша крыта железом, выкрашенным нашей зеленой краской, оконные рамы общероссийского образца. Вот что интересно: богде-гэгэн сидел на троне во втором этаже и, чем бы ни занимался, с утра до вечера держал в руке толстенную веревку, которая шла через два внутренних двора и другим концом выходила на улицу через отверстие в массивных воротах, так что за нее мог подержаться последний из аратов, пожалавших таким образом прикоснуться к высшему существу. Поскольку сейчас на Земле нет народа тише и задумчивее монголов, то хорошо было бы ввести что-то вроде этой практики и у нас. Например, можно было бы вскрыть гроб Михаила Юрьевича Лермонтова, предварительно заручившись специальным разрешением Президента, привязать ему к запястью (или что там от него осталось) толстенную веревку, вывести ее за пределы склепа, и пускай желающие приобщаются к высшему существу. Не исключено, что в результате такой новации лет через двести-триста уже никому не придет в голову преобразовать поликлинику в публичный дом, не будут протекать потолки (в нашем доме постоянно протекают потолки), и молодежь перестанет резать стариков, чтобы завладеть их смехотворными сбережениями (у нас недавно на седьмом этаже молодежь зарезала старика).

Так вот, берем курс на Улан-Батор. Дальше мысленно пролетаем над Пекином, Шанхаем, Манилой, островом Папуа, мимо восточного побережья Австралии, а там рукой подать и до Новой Зеландии, страны людоедов, со всех сторон обложенной океаном, который в ветреную погоду дает приятный бутылочно-синий цвет. Мой камешек прибыл ко мне, собственно, с острова Антиподов, и я вижу этот остров точно в хорошем сне. Не сказать, чтобы жарко, небо скорее серенькое, песок бесцветный, густозеленые пальмы низко склонились в южную сторону океана, и не понятно, по какой логике, поскольку именно оттуда дуют свежие антарктические ветры, напоенные едва уловимым запахом вечных льдов.

Словом, нет ничего подвижней воображения, хотя, может быть, это и нездорово, ибо один эпилептик Мухаммед умудрялся облететь Вселенную за семь секунд и как ни в чем не бывало вернуться под отчий кров.

Слева от двери идет стена, параллельная моему положению на диване. Она начинается двумя живописными полотнами, повешенными одно над другим, которые я рассматриваю, кажется, пятый год и все вдоволь не нагляжусь. Верхнее полотно изображает несколько фантастический пейзаж: река поздней осенью или в начале зимы, когда берега уже бывают усыпаны снегом, голый тальник дает прелестную путаницу багряного с темно-серым, вода черна и холодна до того, что мурашки бегают, как присмотришься, с левой стороны видна заброшенная деревня, с правой стороны торчит половина деревянного моста – куда девалась вторая половина, не у кого спросить.

Спросить потому не у кого, что автор давно покинул наше отечество и живет в Новом Йорке, то ли где-то в Квинсе, то ли на Брайтон-бич. Ясно вижу металлургические конструкции надземки, места тронутые ржавчиной, замусоренные тротуары, двухэтажные дома с бедными магазинами,

как, скажем, у нас во Ржеве, роскошные автомобили и, кажется, даже обоняю запахи французской горчицы, прачечной и духов. Оборванные негры греются у бочек из-под солярки. в которых догорает смрадный мусор, старички с орденскими планками и в скукожившихся соломенных шляпах режутся в домино...

Речь не о том, что якобы рекомый художник сменил кукушку на ястреба, речь о том, что я всегда завидовал соотечественникам, которые так же легко меняют гражданство, как я, грешный, московские адреса. Я, положим, настолько укоренился в российском способе существования, что когда единственный раз в жизни попал по профсоюзной путевке за границу, то прослезился, увидев на улице родную «четверку» с треснувшим лобовым стеклом, а они, сукины дети, переедут на постоянное место жительство за три моря – и ничего! То есть я им потому завидовал, что все же затруднительно жить в стране, где невозможно купить хороший автомобиль, поскольку его немедленно угонят, нельзя выписать газету, оттого что мальчишки обязательно подожгут твой почтовый ящик, рискованно положить деньги в банк, так как банкир того и гляди улизнет с твоими кровными за три моря, бессмысленно строить загородный домик, ибо его скорей всего сожжет природный поселанин, издревле ненавидящий горожан.

Впрочем, пейзаж, оставленный эмигрантом, только в последнее время навеивает грустные мысли, а много лет тому назад он как-то навел меня на веселые ассоциации и я написал рассказец «Чаепитие в Моссовете» – сочинение благодное, даже комическое, хотя оснований для особенного веселья уже и тогда не было никаких. По сути дела, оно представляет собой пространное объяснение тому феномену, что всю свою зарплату я расходовал на такси...

«Я сорил деньгами не потому, что их у меня было уж очень много, а потому, что я не переносил нашего городского транспорта, а этот треклятый транспорт я, в свою очередь, не переносил вот по какой причине: меня раздражают рожи. Поскольку Россия и безобразия неразлучны, я готов был мириться с тем, что поутру, между семью и восемью часами, втиснуться в наш автобус совсем не просто, и с тем, что «водитель везет дрова», и с тем, что в разных концах автобуса вспыхивают то и дело гадкие перепалки, и даже с тем, что из-за толкотни я постоянно лишался пуговиц, но стоило мне поднять глаза и увидеть рожи – прочные такие рожи, константно кислые, точно мои попугайчики не живут, а бесконечно мучаются желудком, – как со мной сразу делалась некая внутренняя истерика и хотелось как можно скорей сойти. Поэтому лет, наверное, десять кряду я всю свою зарплату расходовал на такси.

И вот столица нашей родины опустела: ни тебе автобусов, ни такси, ни очередей в магазинах, ни толп на площади Трех Вокзалов – одинокого прохожего, и того увидишь не каждый день.

Выхожу я как-то из дома в родимом Скатертном переулке, иду себе в сторону Никитских ворот и на Москву нарадоваться не могу – ну пристойный город, не будь я, как говорится, Сергей Иванович Большаков! Такое впечатление, будто улицам сделали дезинфекцию: и дома выглядят обновленно, и точно дремлют вдоль панелей умытые автомобили, похожие на больших животных, которым пригрелся луг в цветах, и воздух чист, как родственный поцелуй, и зелень буйствует повсеместно, а главное – тишина. И еще интимное какое-то, транквилизирующее безлюдье: за тридцать минут прогулки я встретил на углу улицы Герцена и Леонтьевского переулках одного-единственного прохожего, с которым мы раскланялись самым учтивым образом, хотя были, разумеется, незнакомы и разделяло нас метров сто.

Добрел я до Скобелевской площади и остановился напротив здания Моссовета, «Зайти, что ли, – думаю, – поболтать с председателем, как говорится, о том о сем?» Так я скуки ради и поступил: зашел в подъезд, поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, миновал приемную и вторгся прямо к председателю в кабинет.

Председатель Моссовета сидел за столом и что-то писал, скривившись на правый бок.

– Мемуары сочиняете? – с игривостью в голосе спросил я.

– А-а! Сергей Иванович! – воскликнул радостно председатель и с протянутыми руками вышел из-за стола. – Сколько лет, сколько зим!

– То есть как это – сколько лет, сколько зим? – сказал я, немного оторопев. – Позавчера вроде виделись, говорили о том о сем...

– Гм... действительно, – замешкался председатель. – Ну садитесь, рассказывайте: какие новости, как дела?

– Да, собственно, нет экстренных новостей...

– Погодите, – перебил меня председатель. – А не выпить ли нам чайку?

В ответ на это предложение я кивнул, а председатель нажал на какую-то специальную кнопку и начал ждать.

– Так вот я и говорю: нету экстренных новостей. Хожу, любуюсь на нашу Первопрестольную и не нахожу слов, чтобы выразить свой восторг... Между прочим, кнопочку вы зря нажимали, все равно никто нам чаю не принесет.

– Тьфу! – символически сплюнул председатель. – Все никак не привыкну, что я один на весь Моссовет и есть.

С этими словами он протяжно вздохнул и сам стал готовить чай.

– Ну так вот, – принял я за старое, когда чай уже был залит крутым кипятком, хорошенько настоялся и благоухал у меня под носом в старинной китайской чашке. – Хожу, любуюсь на нашу Первопрестольную и не нахожу слов, чтобы выразить свой восторг. Это поразительно, до чего изменился город! Между прочим, где вы брали этот чудесный чай?

– Да напротив, угол Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Совершенно свободно лежит прекрасный английский чай!

– Так вот я и говорю: это поразительно, до чего изменился город! Тишина, спокойствие, достаток, народ все чуткий, порядочный, склонный к общественно полезному труду – цивилизация, ё-моё! Между прочим, Нина-то, ваша бывшая секретарша, что пишет из Мавритании?

– Пишет, что там больше не принимают. Желаете еще чашечку?

– С удовольствием! Ну так вот: цивилизация, ё-моё! Я неделю тому назад авоську оставил у Елисеева, возле упаковочного стола. Вчера захожу, а она, родимая, дожидается меня возле упаковочного стола, только балычок, конечно, уже того... А все почему? Потому что благодаря мудрости некоторых руководителей, – тут я сделал многозначительную паузу, – в Москве теперя народ живет, а не население, разных национальностей публика, но народ! Между прочим, я давеча написал статью в «Русское слово» о необходимости выхода России из Европейского сообщества. Помилуйте: они там все перепалались меж собой, в Испании бушует черносотенное движение, в Люксембурге процветает воровство на бензоколонках, в Нидерландах свирепствует коррупция среди полицейских – опасаясь, как бы наши не переняли...

– Напрасные опасения, – хладнокровно сказал председатель. – Кому перенимать-то? Строго говоря, некому все это перенимать. Желаете еще чашечку?

– С удовольствием! Ну так вот: написал я статью и, знаете ли, доволен – хлестко вышло, основательно, глубоко. Между прочим, вы-то что давеча сочиняли, как я вошел? Неужто действительно мемуары?

– Молод я еще мемуары-то сочинять. Это я писал обращение в Думу по поводу отмены закона об эмиграции. Ведь к чему все идет: к тому, что мы с вами двое только и останемся куковать! Двое москвичей будет на всю Москву: председатель Моссовета и Сергей Иванович Большаков!

– И очень хорошо! – весело сказал я.

Самое любопытное, что если бы наши мальчишки не имели этой повадки – жечь почтовые ящики, я бы чувствовал себя в некотором роде обобраным, словно бы обделенным, вот как постом, когда полуголодным вылезашь из-за стола.

Другой картине, симметрично висящей под пейзажем, положительно нет цены. Это карандашный рисунок Врубеля, сделанный им в психиатри-

ческой клинике доктора Усольцева в Петровском парке, где великий художник лежал время от времени, мучимый жестокой психопатией, алкоголизмом и омертвением зрительного нерва, но при этом без усталости рисовал. На рисунке изображен человек в больничном халате, похожем на арестантский, который сидит, подавшись вперед, на манер роденовского «Мыслителя», и подперев голову кулаком. В глазах у бедняги нет ни веселого идиотизма, ни опустошенности, даже больше характерного для умалишенных, нежели веселый идиотизм, а вроде бы ему просто скучно и он не прочь завалиться спать. Может быть, это настоящий страдалец, а может быть, уголовник, симулирующий душевное заболевание, или какой-нибудь эсер, скрывающийся от охраны, задумавший на время затеряться среди сумасшедших, санитаров и докторов.

Здание, в котором помещалась клиника Усольского, сохранилась по наши дни, но увяло от старости и стусебалось в соседстве с мрачным стадионом «Динамо», больше похожем на тюрьму, и в окружении многоэтажных барачных корпусов, какие обыкновенно строили для простонародья большевики. А прежде тут был настоящий парк, знаменитые московские рестораны «Яр» и «Стрельна», поместье младшего Рябушинского «Черный лебедь», где давались феерические балы, театр, гулянье, по воскресным дням играл оркестр военной музыки и фланировала немного чопорная толпа. Тут не захочешь, а увидишь, как под сенью черных лип прогуливаются дамы в кисейных платьях и громоздких, но невесомых шляпах на проволоке, суетятся надворные советники с усами на ширину плеч, высокомерно покуривают гвардейские офицеры в нелепых, куцых тужурках (вообще им запрещалось курить вне помещений), детишки в смешных костюмчиках и соломенных шляпках играют в серсо (они потом частью лягут на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, а частью сгинут по сталинским лагерям), и вдруг сверкнет надраенная каска брандмайора Пречистенской части, известно го своей болезненной полнотой.

Кажется, целая вечность прошла с того дня, когда бедный Михаил Александрович рисовал в этих местах с натуры, точно со времен династии Селевкидов, мир два раза перевернулся, матерная брань, которая преследовалась даже в рабочих кварталах, давно стала речевой нормой, доносительство уже сто лет, как возведено в государственную добродетель, а не сразу поймешь, что все это было недавно, можно сказать, вчера, если поднять свое тело с дивана, пересечь комнату и дотронуться до рисунка Врубеля, еще источающего тепло, которого когда-то касалась его рука.

Тем не менее сколько метаморфоз! Какой стиль общения пресекался, какие повывелись человеческие типы, какой язык умер, какая, словом, изысканно культурная страна канула в вечность, словно ее и не было никогда...

Далее следует книжный шкаф. Если бы это был обыкновенный сборный шкаф с раздвижными стеклами, которые набиваются всякой всячиной, от разрозненного собрания сочинений Мамина-Сибиряка до годовой подшивки журнала «Юный техник», то о нем и речи не стоило бы заводить; а то это старинный, резной, двустворчатый книжный шкаф с толстыми стеклами и двумя ящиками внизу для рукописей, писчей бумаги, канцелярских принадлежностей и черновики, которые я храню, хотя и не знаю, зачем храню. В этом шкафу я держу только книги избранные, драгоценные в силу их редкости, происхождения, или потому, что я их перечитываю чуть ли не каждый день. К последнему разряду относятся, например, «Старосветские помещики» Гоголя, к предпоследнему – том «Братьев Карамазовых», который я украл из музея Достоевского в Ленинграде (Угол улицы Марата и Кузнечного переулка), к первому – прижизненное издание поэмы Богдановича «Душенька» из библиотеки Петра Аркадьевича Столыпина с его пометками на полях и личным факсимиле.

Сколько же люди пишут! Если не знать, что они еще любят воевать, баллотироваться, зарабатывать на разнице котировок, бродяжничать, заниматься любовью... ну и так далее, то можно подумать, что они только и

делают, что сочиняют книги, судя по тому, сколько за последние две тысячи лет написано дельных и лишних книг. И ведь это только в моем книжном шкафу помещается четыреста пятьдесят томов, а какая пропасть книг у меня на кухне, в соседних квартирах, других домах, прочих ближних и дальних городах, странах! Ум расстужается, как говаривали наши соотечественники в стародавние времена.

Немного сбивает с толку то подозрение, что, покуда ты полеживаешь и мыслишь, в направлении твоего синего небоскреба уже летит самолет, сбившийся с курса, который как разнесет твой двадцать второй этаж, или в подвале давно заготовлены мешки со взрывчаткой, и катастрофа – вопрос минут. А так настойчиво думается о том, что вот ведь мало-помалу руки опускаются, по крайней мере уже не так увлекает литературное дело именно потому, что уж больно много книг понаписано авторами гениальными и талантливыми, мудрыми и не очень с тех пор, как человечество придумало письмена. Взялся я было давеча за рассказ: дай, думаю, напишу о том, как опустился человек за последнюю сотню лет, как он опростился и обмельчал, и почему это так, какая тут прослеживается идея, к чему идем... В результате вышел рассказ под названием «Пастораль»:

«В допрежние времена Зубцовский уезд был тем славен на всю Россию, что отсюда выходили наилучшие пастухи. Невозможно сказать, почему именно в этой, юго-восточной части Тверского края постоянно рождались мальчики, как будто нарочно приспособленные к пастушескому труду; впрочем, равно непонятно, что такое пастух высшей квалификации: вроде бы знай себе наблюдай за стадом, пощелкивай кнутом, наслаждайся природой и матерись. Наверное, наши предки имели в виду искусство игры на свирели и дар на бережение от сглаза и заговор.

Нынешние зубцовские пастухи давешним не чета. Лет пять тому назад в соседнем колхозе «Передовик» закупили сто двадцать голов молодняка и поставили над ними супругов Забиякиных, Тамару и Константина, которые прежде работали на зерносушилке и еще прежде – в составе полеводческого звена. На свирели они не играют, даром на бережение от сглаза и заговор не владеют, и только материться они мастера. Видимо, по этой причине молодняк у них часто плутает по перелескам, пасется на зеленях, домает ноги и обжирается лебедой.

Правда, характер местности тут таков, что и человек, если он выпивши, запросто ногу сломит, не то что безмозглые телочки и бычки. Дорога от загона под деревней Выселки до загона, устроенного в чудесной сосновой роще, идет по-над быстрой речкой с крутыми, скалистыми берегами, и, как дорогу ни огораживай жердями или немецкой колючей проволокой (этого добра у нас с войны много встречается по лесам), никогда сезон не обходится без того, чтобы не перекалечилась какая-то часть скота. К тому же дорога в одном месте минует клеверное поле, и нужно держать ухо востро, чтобы молодняк не наелся этой культуры, от которой неминуемо наступают коровья смерть. Для такого случая Константин носит в своей парусиновой пастушеской сумке преострый нож и забивает несчастную животину на мясо, пока она не сдохла своей смертью и не нанесла колхозу разорительный недочет; он моментально перерезает корове горло и в течение примерно четверти часа спускает кровь. Тамара этого зрелища не выносит и сразу уходит в лес, а Константин такой выродец, что даже не прочь выпить стакан другой парной крови из эмалированной кружки, после чего на него бывает страшно смотреть – так ужасны его окровавленные губы, зубы и кончик носа, захавший несколько набекрень. Зато он здоров, как боров, и никогда не болеет, даром что пьет *паленую* водку, которой потихоньку торгует одна старая ведьма из Выселок (шестнадцать рублей бутылка), и бывает, облившись, часами валяется на снегу.

С начала мая по конец октября, когда колхозное стадо переводят на зимнее содержание, Забиякины живут в вагончике на колесах, к которому приделаны металлические ступени, а поблизости стоят дощатая уборная и будка для беспородного и чрезвычайно злобного кобелька. Помещение

у них не просторное, но вполне пригодное для жилья: тут есть две железные кровати, стол, два стула, электрическая плита, печка-буржуйка на случай холодов и маленький телевизор, который когда показывает две программы, а когда не показывает ничего. Если телевизор показывает, Забиякины смотрят его до последнего, из-за чего на другой день выгоняют скотину чуть не в десятом часу утра. Если не показывает, укладываются и молчат. Впрочем, в другой раз они могут и поговорить. Разговор их нелепый, отрывистый, например:

- Том, чего у нас на обед?
- В ответ ни звука.
- Том, а Том!
- Ну чего?
- Ничего! Я говорю, чего у нас на обед?
- А то ты не знаешь!
- Опять картошка без ничего?
- Нет, гусь с яблоками!
- А чего ты злишься-то?
- Я не злюсь. А ты чего злишься?
- И я не злюсь.

(Питаются они, действительно, скверно, так как колхоз постоянно задерживает зарплату, но, когда появляются деньги, объедаются тушенкой с рожками и выпивают, причем приблизительно наравне.)

На сей сравнительно мирный манер сосуществуют Забиякины не всегда. Иной раз Тамара точит Константина так долго и язвительно, что он не выдержит и огреет ее кнутом. Иной раз Константин отправится в Выселки за водкой к обеду, но по пути ненароком выпьет всю бутылку, и Тамара гоняется за ним со сковородником вокруг вагончика, куда ноги не устанут ее носить.

Так проходит лето. Потом стадо переводят на зимнее содержание, супруги Забиякины с неделю лазят по опустевшим дачкам, сбывают добычу скупщику краденого Воронкову, который держит в округе два продовольственных ларька, и отбывают в одну дальнюю деревеньку с неприличным названием – зимовать. Шут их знает, что они делают долгих шесть месяцев, когда у нас снегу наматывает по самые подоконники, сумерки наваливаются в четвертом часу полудни... – и делают ли что-нибудь вообще.

А ведь в библейские времена пастухи были пророками и волхвами, в средние века им являлись святые и сама Матерь Божья, в эпоху энциклопедистов они вдохновляли поэтов, музыкантов и живописцев, так что даже народилось целое художественное направление – пастораль. Еще сто лет назад русское пастушество выдавалось нашей литературой за образец соединения человека с природой, высокого лиризма, по-настоящему гармоничного существа. У Чехова в «Свирели» пастух выведен прямым мыслителем с уклоном в апокалиптическое, то есть истинным философом, вроде Шопенгауэра, который настаивал на том, что в этом мире почти никого нет, кроме идиотов и дураков... И вот на тебе: на рубеже двадцатого и двадцать первого столетий место этих серафимов занимают наши супруги Забиякины, Тамара и Константин. Боже святой, какой регресс! Боже святой, святой и крепкий, святой бессмертный, куда идем?!

Кстати заметить, специфика наблюдательности такова, что поглазешь с полчаска на вооруженное восстание в городе – и спать хочется, а углядишь таракана в туалете исторического музея – и вдруг нагрянут космические думы о смысле и значении бытия. То есть на мелком примере с четой тверских пастухов неожиданно выясняется, что человечество сильно сдало, по крайней мере за последнюю сотню лет, и это заключение вызывает острый интерес к вопросу – куда идем? А идем-то скорей всего к всеобщей деградации человека как естественно нравственной и мыслящей единицы, к упадку по всем статьям, за исключением частного благоденствия, которое обеспечивает научно-технический прогресс, с таким, впрочем, катастрофическим запозданием обслуживающий настоящие интере-

сы, что нынешним недоумкам совсем ни к чему сотовый телефон. То ли на нас какое затмение нашло, вроде внезапной амнезии, то ли человек исчерпал положительную энергию и мало-помалу клонится к маразму, как к нему клонятся слишком пожившие старички. Больше всего похоже на то, что род людской лет так сто назад переступил ту нечувствительную черту, за которой начинается необратимое движение по наклонной к умиротворению, опрощению, крайней узости, вообще к обыкновенному, пошлому мещанству, хотя и сохраняющему цивилизованную физиономию, а все им руководит физиологический интерес. Такой огорчительный декаданс тем более вероятен, что человек-то эволюционирует, а эволюция – это культивирование уродств: родится от волка детеныш с куцыми ногами – потом выйдет такса, появится уфельдмаршала Кутузова внучок с дурными наклонностями – потом будет майор, который продает противнику боеприпасы, не знает уставов и насилует детвору.

На Западе это движение по наклонной отмечено уже давно, в России только-только, однако у нас оно непременно приобретет формы скоротечные и безобразные по той простой причине, что за последние восемьдесят лет из русской жизни было физически изъято все сколько-нибудь благородное, самодеятельное, потомственно порядочное, совестливое, органически тяготеющее к добру. Оттого в России любая благодать инициатива обречена на неуспех, невозможно наказать вора основательнее домовника и соорудить общественную уборную, предварительно не огородив строительную площадку колючей проволокой в три кола; другими словами, полицейский, принципиально не берущий взятку, – это продукт трехсотлетней преемственности на линии гражданских добродетелей, страха Божия и труда. Причем надо принять в расчет, что гражданские добродетели и прочая суть не глупые условности, кем-то придуманные для вящей организации общественного производства, а условия, на которых держится все и вся.

В том-то и дело, что человек есть система условностей, то есть противоестественных повадок, каковые, собственно, и образуют понятие «человек». Мы учимся вещам, которые нам никогда не пригодятся в жизни, носим на шеях галстуки и пользуемся носовыми платками, хотя как раз в галстуки сморкаться было бы удобнее всего; мы нотариально оформляем инстинкт продолжения рода, избегаем совершать свои отправления на людях и говорить в глаза жестокую правду, у нас не принято кусаться и отнимать корм у женщин и детей, так что с точки зрения льва (если лев был бы способен на точку зрения) мы представляли бы собой многочисленный прайд существ, окончательно выживших из ума. Наконец, что может быть условней литературы, в которую мы, однако, верим, как в астрологические прогнозы и аспирин?!

А началось все с того, что человек стал прикрывать свой срам. Ничто в природе не стесняется обнаженного уда, ни наши сообразительные собачки, ни человекообразная обезьяна, и мы, наверное, никогда не узнаем, по какой непосредственной причине свершилась эта загадочная этическая революция: род людской вдруг ни с того ни с сего украсился набедренной повязкой и сразу поднялся над природой, которая не знает внеэкономического принуждения, условностей и стыда. Но общие соображения таковы: видимо, человек *прикрывшийся*, который пришел на смену *человеку прямоходящему* и предшествовал *человеку разумному*, еще хорошо знал свое происхождение, еще отлично помнил, кто его настоящий отец, и, прикрывшись, может быть, совершил первый акт человечности, существовавший видам его изобретателя и отца. Таким образом, если бы существовало некое рациональное объяснение набедренной повязке (у амазонцев, например, даже спичек нет, а повязка есть), то шут бы с ними, с Забиякиными, пускай они говорят глупости и гоняются друг за другом с предметами кухонного обихода. В противном случае разум к Забиякиным в претензии, и не зря.

Уж слишком многое указывает на то, что человек – больше дитя Божие, чем высшее млекопитающее, и поэтому свычай и обычай Забиякиных представляют собой отрицание их собственной сути, вызов высшим



силам и оскорбление божества. Вот лежат они по своим койкам, таращатся в телевизор и даже не подозревают, что если в нашем мире до сих пор полно свинства и несообразностей, так только оттого, что люди по преимуществу ощущают себя высшими млекопитающими и действуют не разумнее коровы, при том, впрочем, отличии, что все-таки корова – безобидное существо. Пеструха побесится в начале мая, когда стадо впервые выгоняют из стойла на свежий воздух, а после меланхолически пасется по лугам и дважды на дню дает превкусное молоко. Теперь возьмем нашего предпринимателя Воронкова, который в молодости судился за членовредительство, после исхитрился обзавестись двумя продовольственными ларьками и скупает краденое, а со временем умыкнет эшелон этилового спирта, поменяет его на телеканал и будет годами делать идиотов из полудиетов, чтобы только потуже набить карман. Право, в другой раз подумаешь, что корова ближе к Богу, нежели человек.

Так просто это нам не сойдет. Учитывая явственную тенденцию к умалению человеческого в человеке, можно предположить: когда-нибудь мы так ослабеем, что ужмемся до размеров Московского государства, где люди будут говорить на пиджин-инглиш и вместо питья водки курить гашиш. Возможно, поглотят нас упертые китайцы, как это уже было при первых чингизидах тысячу лет назад. А то мы просто, сами собой, опустимся до того, что имя Пушкина у нас будет знать только узкий специалист.

Однако же и того нельзя исключить, что русский народ перебесится и в конце концов возвратится к своим исконным ценностям: утонченному способу общения, романтизму, то есть склонности мыслить и действовать на возвышенный манер, к русской книге как единственному источнику радости. Побесится-побесится – и назад. Этот исход нам, в частности, обещает такое наблюдение: у нас народ, как нигде, умствующий и сердитый и, стало быть, всесторонне недовольный самим собой. Вот прохлаждаются Забиякины по своим койкам, таращатся в телевизор, и вдруг Константин как бы нехотя говорит:

– Том, а Том?

– Чего?

– Вот чего... Какие-то они все-таки ненормальные, эти американцы. То ли у них слов в языке мало, то ли они на работе до чертиков устают...

– Зато у них кругом довольство и нормальная жизнь. А у нас одни алкоголики и козлы.

– Это точно. У нас потому и не жизнь, а скарлатина, что кругом алкоголики и козлы...»

На том месте я вынужден был прерваться, так как кто-то позвонил в дверь. Я никого не ждал и оттого вздрогнул и похолодел, памятуя о том, что не так давно милиционеры забрали у нас одну милостивую женщину, доктора физико-математических наук, жившую на одиннадцатом этаже, и с тех пор о ней никто ничего не знал. Я на цыпочках подошел к двери и посмотрел в глазок: на лестничной площадке не было ни души.

Впрочем, я так и так не закончил бы свою «Пастораль», потому что меня с самого начала одолело предчувствие бессилия, немоты. Причиной тому необъятность темы, а кроме того, неловко казалось в тысячу первый раз обличать наше пастушество, вообще глумиться над слабостями соотечественника и несуразностями русского способа бытия (практика, оговоримся, чисто нашенская, за другими народами не отмеченная), тем более что сто двадцать лет тому назад Достоевский вывел обывателя города Скотопрогоньевска по фамилии Смердяков, который у него говорит: «Я всю Россию ненавижу», – страшные своей неожиданной жестокости и, может быть, еще никем не разгаданные слова.

Этот вопль Смердякова скорее всего вырвался из души самого Достоевского, вообще любившего оделять дорогих персонажей собственными переживаниями и соображениями, наравне с эпилепсией, недугом пророков, потому что многое из сокровенного было затруднительно высказать напрямки. Может быть, через это самое «я всю Россию ненавижу» Федор

Михайлович обнаружил потаенную, но великую и, главное, единственную движущую силу, которая руководит у нас всяким психически нормальным и духовно развитым существом. Может быть, русский человек из культурных только потому и способен еще радеть о благе отечества и веровать в лучшее будущее, что он ненавидит Россию нечистоплотную, обпившуюся, продажную, беспардонную и беспринципную, но в основном за то ненавидит, что она не такая, какая видится ему в грезах, а такая, какая есть. Во всяком случае, умнейшие русские люди свое отечество не любили, от Пушкина до академика Павлова, а уж как его Ленин ненавидел, так еще только Петр I на дух не выносил.

По мне, это все отношения несоразмерно сильные, даже и чересчур. Не то чтобы я обожаю Россию (хотя я ее бессознательно обожаю), не то чтобы не любил (хотя я ее, конечно же, не люблю). Я скорее ее боюсь.

Рядом с книжным шкафом, ближе к окну, стоит небольшая тумбочка, набитая всякой всячиной, например, тут хранится круглая жестяная банка из-под печенья, в которой я держу лекарства, а так же полевой бинокль, оставшийся от отца, выписки из больничных карт, кое-какие документы, разрозненные тома Медицинской энциклопедии, пара сломанных будильников, аппарат для измерения кровяного давления, груды старых цветных карандашей, перетянутая резинкой; наверху стоят голландские, сильно поношенные сабо.

В Голландии я, разумеется, не бывал. Эту экзотическую пару обуви я для смеха купил в сувенирном отделе Мосторга (бывший «Мюр и Мерилиз») еще в те годы, когда москвичи записывались на холодильники и в моду входили тупоносые башмаки. Однако же я без труда переносюсь воображением через половину Европы, и перед внутренним взором встает понизовье континента, милая, приятная, аккуратенькая страна. Видятся до странного узкие каналы, геометрически пересекающие вечнозеленые поля, кирпичные мельницы, весело машущие своими решетчатыми крыльями, беленькие хутора, по-нашему крытые красной черепицей, и кукольные голландские города. В частности, Амстердам: каналы тут сравнительно широкие, негров много, трамваи ходят, тротуары выметены, как полы метут, дома похожи на кондитерские изделия, по маленьким кафе сидят амстердамцы с физиономиями, одетые так, точно они в Большой театр собрались, и судачат о том о сем.

Кстати заметить, одно из самых моих сильных переживаний состоит в том, что вот на свете живут миллионы милых людей, с которыми хорошо было бы познакомиться, а я о них ничего не знаю и никогда не узнаю, как будто они вовсе и не живут. Правда, теперь перед мысленным взором встают физиономии все больше идиотские, какие бывают у наших подростков, когда они размышляют, чем бы себя занять.

Ну разве можно существовать, когда ты понимаешь, что не любишь Россию, но остаток жизненного пространства не любишь еще больше, что русский человек прекрасен, русский народ страшен и что, дожив до шестого десятка, ты окончательно запутался, и, в сущности, непонятно, зачем Провидение вручило тебе перо.

В противоположном торце моей комнаты, напротив дивана, двустворчатое окно. Поскольку моя квартира располагается на последнем этаже, ничто не загроживает мне обзор и можно сказать, что я живу с птицами, поскольку в самом выгодном положении, в лежачем, видишь только небо и птичек в небе, которые с утра до вечера порхают перед окном. Однако же в этом положении, наверное, можно увидеть и что-нибудь ужасное, а мое представление о крайнем ужасе таково: на границе вечера и ночи, когда небо еще светло, а земля темна, к моему окну вдруг прильнет лицо и сделает мне глаза.

На подоконнике я не держу ничего достопримечательного, если не считать стопки старых пластинок и арканзасского кактуса в жестяной банке из-под томатной пасты (Америку скучно воображать по той причине,

что там слишком буквально поняли завет Христа «будьте как дети»), а впрочем, задевает воображение солонка из бересты. Это единственный предмет деревенского происхождения в моей комнате, хотя я каждое лето провожу на лоне природы, в небольшом селе в Калужской губернии, непосредственно за Окой.

Впервые я попал в деревню сравнительно молодым человеком и вынес отсюда одно тяжелое впечатление и одно серьезное соображение, неисчезновенное, которое пребудет со мною, куда жив.

Впечатление такое: я видел троицу пьяных деревенских мальчишек, лет, наверное, десяти; они шли, обнявшись, деревенской улицей, лица их, нехорошего, болезненного цвета, были тупы и серьезны, время от времени один из них падал, и тогда двое других долго помогали ему подняться, не по-детски пособляя товарищу, как-то замедленно, сосредоточенно и пыхтя; собственно, впечатление заключалось в том, что я испугался деревни и в буколические области долго не выезжал.

А соображение таково: все то, что построил на Руси Бог, бесконечно прекрасно, и созерцать Его творения – значит, вступать в прямое общение с божеством. Помню, я часто уходил из деревни на берег Оки, садился под старой ветлой, подстелив под себя беремя прошлогодней ржаной соломы, и долго смотрел в голубую даль; или я забирался на крышу нашей заброшенной церкви, построенной по византийскому образцу к трехсотлетию дома Романовых, усаживался, подстелив под себя дедовский ватник, и долго смотрел в голубую даль. За рекой простирались заливные луга, потом – заповедный лес, расположившийся серповидно, на манер крымской конницы перед атакой, за ним было озеро, издали похожее на оловянное блюдо, за ним опять луг и опять лес, а дальше вид скрадывала сизая дымка, за которой угадывалась Москва.

Вроде бы ничего особенного, привычная среднерусская картина, но мне почему-то всегда приходило на мысль: только по-настоящему и живешь, что в эти минуты душевной сосредоточенности и покоя, когда ощущаешь свою бытийность вполне, как-то подробно и в качестве феномена вселенского значения, физически чувствуя при этом общность с Подателем жизни, и разума, и любовности, и всего сущего на Земле. В прочие же минуты дня, когда ты действуешь и передвигаешься, это только так считается, что живешь.

Уже лет десять меня преследует ощущение чужеродности во времени, как если бы я вдруг очутился среди сарматов накануне Великого переселения народов или пусть даже в Тамбове в пору регенства Анны Леопольдовны, когда еще мой прапрадед с моей прапрабабкой не родились.

Это тяжелое, сиротливое ощущение поднимается во мне с новой силой, если на глаза попадет модель биплана «Поликарпов-2», которую я самолично склеил из бумаги и подвесил на леске к оконному карнизу в память об отце, умершем четыре года назад. Вообще мой батюшка в конце тридцатых годов служил в авиации стратегического назначения, но как-то угодил в штрафной батальон за то, что сделал петлю Нестерова на тяжелом бомбардировщике, и, хотя фокус обошелся без последствий, его засадили на много лет. Даже в сорок первом году он сидел и в сорок втором сидел, а в сорок третьем его помиловали и отправили воевать. Так вот как раз на ПО-2 он до самой победы и воевал.

Мой отец вышел в отставку в начале 50-х годов в чине капитана, и я еще помню запах его мундира, от которого всегда веяло одеколоном «Шипр», авиационным бензином и табаком. С этим смешанным запахом у меня до сих пор связывается понятие о русском офицерстве, то есть об отваге, граничащей с басшабашностью, о чести, отдающей в помешательство, и о мужестве самого благородного свойства, навевающим то соображение, что если что проходит, то прочно и навсегда.

Взять хотя бы мое детство: как сладко нам мечталось о высоком! Как мы стеснялись нечистых мыслей и низменных поползновений! Как ужасались не то что матерной брани, а даже просто неприличным словам, вроде глаго-

ла «нафунять» или существительного «портки»... Так и вижу себя рука об руку с моей подружкой Соней Воскресенской, прогуливающегося по нашей 1-й Красноказарменной улице; Соня в высоких ботиках, шерстяных чулках, голубом плащике, привезенном отцом из Венгрии, и газовой косынке, я – в куцем пальтишке, штанах по колено, хлопчатобумажных чулках и в ботинках с галошами, которых я почему-то стеснялся и по возможности не носил. Соня пересказывает мне приключения Робинзона Крузо, я ей повествую о том, какие совершу гуманистические подвиги, когда стану большим, и вдруг мы видим, как в подворотне спариваются две собачки, высунув языки. Больше мы с Соней никогда не встречались, поскольку нам обоим было непремено стыдно, точно это не собачки, а мы сами сделали пакость, на которую в принципе не способен благовоспитанный человек.

Всего-навсего одно поколение сменилось, а такое ощущение, будто в ходе эволюции рода людского нежданно-негаданно совершился грандиозный переворот. Давно не наблюдается этого равнения на возвышенное и понятие чести представляется пережитком далекого прошлого, как дуэльный кодекс и паровоз...

Ревизуя взглядом модель биплана «Поликарпов-2» и солонку из бересты, я беспрепятственно размышляю на тот предмет, что русский народ недаром вымирает, а, видимо, такая его историческая судьба. И римляне вымерли, и хазары, и мы рано или поздно исчезнем с политической карты мира, на что имеется немало причин. Римляне закоснели в пороках – и мы никогда не знали морали (в том смысле что украсть пару досок или покалечить жену за встречные слова – это у нас нормально); древние греки выродились физически – и наши солдатики больше похожи на второгодников; викинги так пали духом, что давно превратились в безобидных социал-демократов – и мы до того оскудели душой, что даем займы под проценты и читаем нашим детям англосаксонскую чепуху.

Недаром эмблема нашего времени – это то, что стоит у меня справа от окна и прямо напротив моего дивана, именно: застекленный ящик под названием «телевизор»; я его не смотрю. Для огромного большинства моих современников телевизор – все: и театр, и филармония, и книга, и товарищеская беседа, и стадион. А у меня этот аппарат стоит потому... потому, что должен же стоять в доме телевизор, как плита на кухне, стиральная машина в ванной и хоть какой-нибудь телефон! Не то чтобы я не смотрел его принципиально, а все мне представляется, что тарачиться в этот дурацкий застекленный ящик так же, в сущности, неприлично в положении культурного человека, как мочиться в лифте и материться при детворе. Дело даже не в том, что телевидение меня оскорбляет как институт, ибо те шалопаи, которые делают несусветные деньги на своих идиотских викторинах, считают меня черной костью и дураком; дело в том, что мне до боли сердечной ясно: человек изнемог, истощился к началу XXI века и уже не способен к сотворчеству с большим писателем и выдающимся композитором, а подавай ему что-нибудь щадящее, диетическое, не требующее усилий разума и души. Выдумщик Джонатан Свифт, сочинивший четыре фантастогорических путешествия Гулливера, сам сроду нигде не бывал; великий Бетховен был глух, как тетерев; крестьянин Сютаяв взял и выдумал от скуки новую религию; ежели вы человек с воображением, то никакое самое захватывающее приключение не впрыснет в вашу кровь такую порцию адреналина, как таинственный телефонный звонок или неожиданный звонок в дверь. А нашему бесстрашному современнику нужно угодить в перестрелку, чтобы его пот прошиб, и ничто не дает ему большего эстетического наслаждения, чем разгадывание кроссвордов и сочинский преферанс. Тут-то литература ему под стать выродилась в юмористику, музыка – в уголовный шансон, а философия – в поиски национальной идеи, которой нет и не может быть.

Во всем виновата свобода слова. То есть мне кажется, что во всем виновата свобода слова, когда я соображаю со следующей закономернос-

тью: страдающие сердечной недостаточностью – народ невероятно жилистый, глухие умеют читать по губам, немые обостренно чувствительны, у слепых сверхъестественно развит слух. Следовательно, человек приобретает уникальные, даже не совсем нормальные способности (вроде поэтического дара) и тем самым возвышается до Творца, только если он как-нибудь ущемлен. Может быть, мы в позапрошлом веке потому и дали миру великую литературу, что в России притесняли писателя, как нигде. Но стоит предоставить народу свободу слова, как почему-то править бал начинают жулики и дураки, которым и сказать-то нечего, но очень хочется, и тогда на смену категорическому императиву является балаган.

Даром нам это превращение не пройдет. Кстати сказать, в последние годы меня донимает страх, что в одно прекрасное утро собственно утро не наступит, что в одно прекрасное утро не рассветет...

Справа от телевизора, уже по той стене, где стоит диван, примостилось до странного небольшое, старинное кресло карельской березы, обитое зеленым штофом, – по всей вероятности, люди в начале XIX столетия были куда subtilнее, чем теперь. Когда я сижу в этом кресле, меня посещает одно и то же соображение, общедоступное и даже порядком поднадоевшее, – я думаю, кто только ни сидел в этом кресле за двести лет: и тоненькие барышники, знавшие всего Жуковского наизусть, и кавалергарды в щегольских мундирах, спорившие за шампанским об основных ипостасях мирового духа, и бомбисты из разночинцев, бредившие Писаревым, и содержанки, и товарищи министров, и дознаватели, и армейские писаря. Но вот какая вещь: сколько бы ни были subtilны кавалергарды в щегольских мундирах, спорившие за шампанским об основных ипостасях мирового духа, а им и в подметки не годятся спорщики наших дней. Ведь они по каким поводам нынче пререкаются: кому первому стрелять, сколько стоит бутылка водки в Хельсинки, где пар круче – в Виноградных банях или же в Сандунах.

Этот упадок представляется мне настолько многозначительным и чреватым, что не далее как вчера я принял за рассказ под названием «Преферанс». Мне пришло в голову мысленно отправиться в будущее и по возможности проследить, во что превратится средне взятый русский человек – максимум в болвана, минимум в простака. Я даже соответствующий замыслу эпиграф прибрал (случай для меня исключительный), и пошло:

«Верить в черта и тем более видеть черта – в высочайшей мере неприлично для образованного человека нашего времени.

*Д. Мережковский*

Настоящие преферансисты почти не разговаривают за игрой. Они предельно сосредоточены, поскольку нервничают во время «торговли», вычисляя прикуп, обмозговывают комбинации, соизмеряют азарт с расчетом – словом, за исключением собственного преферанса им бывает ни до чего.

Не то любитель из интеллигентов, который привержен этой старой русской забаве не столько потому, что за ней можно забыться, дать полировку крови, поправить свое материальное положение, сколько потому, что еще можно поговорить. К их числу и относятся учитель физики Савва Казачков, ответственный секретарь одного ведомственного журнала Иван Зажигайло и владелец фотоателье Володя Иогансон. По субботам, поздним вечером, они запираются в ателье у Володи, играют в «сочинку», разговаривают, пьют чай с ромом, пока в шестом часу утра не начинают пускаться в метро.

Для субботнего преферанса всегда загодя покупается новая колода, которую одним движением, с шиком, умеет распаковать Володя Иогансон. После этого он изымает из обращения шестерки, тщательно тасует карты, дает подрезать одному из приятелей и сдает. Засвистит старинный чайник в импровизированной кухоньке, Савва Казачков откупорит бутылку рома, Ваня Зажигайло прикурит трубку и сделает значительное лицо. На столе – чайные приборы, блюдец с лимоном, порезанным тонко-тон-

ко, «пулька», отпечатанная типографским способом, которая продается даже в аптеках, массивная пепельница, три древних карандаша. Все, как бывало и пятьдесят, и сто лет тому назад, когда еще сидели при электрическом освещении и курили злой «Беломор-канал».

– Скажу «раз», – начнет Савва Казачков, зашевелит губами и трижды дернет головой в направлении потолка.

Тут пойдет «торговля», которая, пожалуй, и минуты времени не займет; в конце концов Казачков назначит семерную игру в бубнах, а Иогансон с Зажигайло завистуют напополам.

– Я позавчера ходил париться в Сандуны, – заведет Зажигайло сразу после того, как пойдет под Казачкова с обязательного «семака». – Ну что вам сказать: парок так себе, хотя при мне парилку чистили раза два.

– Я тебе тысячу раз повторял, – вступит Володя Иогансон, – париться нужно ходить в Виноградные бани по вторникам, в восемь часов утра!

Вдруг Зажигайло скажет:

– Был такой писатель Лермонтов, женоненавистник и дуэлянт. И написал этот Лермонтов незаконченный рассказ «Штосс». Там у него некто Лунгин каждую среду играет в карты с загадочным старичком по фамилии Штосс. Играют они в квартире номер двадцать семь, в доме, принадлежащем этому самому Штосу, в Столярном переулке у Кокушкина моста. И Лунгин каждый раз проигрывает, так что вскоре он уже начал вещички распродавать...

Казачков справился:

– Ну и что?

– Да, собственно, ничего. То есть по-своему интересно, кто он на самом деле был, этот везучий Штосс?

– Неужели ты не догадался?! – сказал черт и присел на свободный стул; он каждую субботу появлялся в фотоателье Володи Иогансона, садился за «болвана» и сразу вмешивался в приятельский разговор...»

На этом месте я вынужден был прерваться, так как мне на ум пришла одна значительная мысль, которую следовало хорошенько обмозговать. Мне вдруг подумалось, что в начале III тысячелетия новой эры Бог окончательно оставил человечество, потому что замысел был не тот. Создатель запланировал одно, а к началу III тысячелетия стало ясно, что вышло совсем другое, именно возобладали существо примитивное, самодостаточное, инстинктивно-деятельное, как пчела. И, главное, оно боится не того, чего следует бояться, или не боится решительно ничего. Однако же нам известно, что уголовный преступник – это такой порченный индивидуум, которому бояться нечем, из чего мы делаем следующее заключение: как только кончаются страхи, кончается человек. Ведь мы, последние русаки, всего боимся: боимся впасть в грех, сделать ближнему больно, неосторожного слова, уголовников, перелома шейки бедра, потенциальных обидчиков, неожиданных звонков в дверь, пристрастного следствия и несправедного суда. Стало быть, мы обязательно вымерем, потому что в силу двадцати двух причин не способны выжить в среде, благоприятствующей ограниченному и самодовольному существу. Мы необходимо должны будем исчезнуть как цивилизация, потому что мы генетически чужие в этом мире малограмотных и простодушных, потому что мы никогда не впишемся в систему, где доминируют животный труд, низменные потребности и злобы.

Правда, миллион-другой русаков у нас еще остается, но это не надолго. Посему хочется выступить с призывом: спешите видеть людей, остатки русской диаспоры в России, последних европейцев, иначе вы их не увидите никогда!

За исключением призыва все это следовало записать, и я уже взялся было за перо, да не тут-то было.

Кто-то позвонил в дверь.

●

## Давид МАРКИШ

---

*Я состою со знаменитым журналом «Октябрь» в родстве: я его автор.*

*Я испытываю чувство гордости, я горжусь.*

*Гордиться некрасиво – это бронзовоголосое чувство граничит с зазнайством. Гордость-гордыня далеко отстоит от привычных, налаженных человеческих настроений, она слепит, от нее веет полярным холодом. Таким образом, гордость полярна, она расположена на полюсе многоцветного клубка человеческих чувств. Ей противостоит, располагаясь строго на оборотной стороне клубка, разве что притворное уничижение, идущее от лукавого...*

*И все-таки я горжусь, ничего не желаю с собой поделаться; гордость вольно наддувает парус моей души. «Октябрь», мимо которого в тяжкое время русской истории я проходил, горбясь и ускоряя шаг, «Октябрь», первым в своей отчизне напечатавший «Реквием» опальной Ахматовой и «Жизнь и судьбу» Василия Гросмана, «задушенного в подворотне», – этот журнал, к моему радостному изумлению, стал моим истинным литературным домом в Москве.*

*Это не означает, что прежде я не имел касательства к московским литературным журналам. В 60-е я напечатал стихи в «Юности», а после обретения Россией свободы (прежде всего – свободы ног) и освобождения от колониальных обязательств опубликовал романы в «Дружбе народов» и в «Знамени». Но так сложилось, что ни «Дружба», ни «Знамя» не стали для меня портом приписки в России. «Октябрь» – стал.*

*Если случайность есть пересечение двух закономерностей, то пусть так оно и остается. Появление моего романа «Стать Лютовым» в редакции «Октября» было достаточно случайным: я дал почитать рукопись моему другу Григорию Горину, на его столе она и лежала в день внезапной горинской смерти. Люба, вдова, передала книжку в «Октябрь». «Лютов» был прочитан главным редактором Анатолием Ананьевым и замом Ирой Барметовой и принят журналом.*

*Разумеется, мне запомнился мой первый приход в «Октябрь». На улице Правды лежал снег, я с отвычки скользил, чуть не падал. Меня приятно поразило безусловное дружелюбие сотрудников редакции – умных, литературных, дивных людей, профессиональнейший разговор за чашкой кофе в отделе прозы – как раз то, чего мне так не хватало у меня дома, в Израиле: снега у нас нет вовсе, профессиональные контакты случаются куда реже красных чисел в календаре... Ананьев пригласил меня в свой старо-роскошный кабинет (главным наших литературных ежемесячников такие едва ли и снятся), мы говорили о «Лютове» и Бабеле, а потом перешли на тему Книги Книг и праве художника на собственную трактовку библейских сюжетов. Речь шла о молоденькой деревенской телочке с абрикосовыми пятками, по имени Суламифь, и о том, может ли царь Соломон всерьез претендовать на авторство «Песни Песней». Не цареве это дело – литература, и примеров тому немало и в новейшей истории: литератор Ульянов, поэт Джушавили, прозаик Брежнев. Надворе стоял декабрь 2000-го года. Тени прошлого не мешали нам... Через месяц после этой встречи «Лютов» увидел свет и его герой Иуда Гросман сделался собственностью читателя. За «Лютовым» последовал «Марко Поло», потом «Белый круг».*

*Писатели – счастливые люди: у них ничего нельзя отнять, кроме жизни. Вот и читателей нельзя отобрать. В Израиле живет около*

*миллиона людей, читающих на моем родном русском языке, а в России их тьмы и тьмы: природные русские, татары, да хоть чукчи с бубном. Это им всем принадлежит теперь Иуда Гросман, и егеря дядя Жора, и Матвей Каз, потому что не вышел еще, слава Богу, всемирный закон о том, что евреи должны читать книжки только о евреях, русские – о русских, а чукчи – о чукчах. Хотя, если взглядеться получше, поборники такого закона не перевелись...*

*Литературный журнал – это дорога к читателям, первоупоток. В России мне его открывает «Октябрь». Предлагаемый сегодня вниманию читателей отрывок из романа «Тублиеры», который я надеюсь закончить в нынешнем году и передать в редакцию, – история совсем еще молоденького журналиста Влада Гордина, в ранние 60-е угодившего в профсоюзный туберкулезный санаторий, на Кавказ. На тот самый Кавказ, который, как это ни удивительно, еще сорок лет назад считался нерушимым оплотом братской дружбы народов Советского Союза. Там, за забором горной лечебницы, туберкулезники – ради облегчения убогой и тусклой жизни – создают «тайную» организацию «Орден Тублиеров». Эта невинная затея не кончится добром для участников: в глазах недреманной советской власти нет большей вины, чем бесконтрольная групповая инициатива.*

## Тайна аула Габдано

**В**се тут, в сущности, было недалеко: кованые скалы Гуниба и ореховые леса Чечни, серебряный с чернью Кубачи, абрикосовый Хасавюрт и Гацатль с его порожними, в память о сгинувших на чужбине и не вернувшихся в отчизну храбрецах, могилами. «Гациатль звучит, как лязг капкана»... До любого места здесь рукой подать. Кавказ – не Сибирь, Кавказ – изумрудная заплатка на дырявом рубище империи.

Влад Гордин, любопытный человек, и раньше тут был, на Горном Кавказе, в этих местах. Если отсюда, от этой самшитовой роши, пойдешь через горы, через перевал Эпчик, дня через три спустишься к морю, к игрушечному городу Сухуми. Не доходя Эпчика вправлены в пологую долину ледяные Муруджуйские озера. Три воды – три цвета: светло-зеленый, охряной и прозрачно-синий, как сумерки в горах. А если держаться от этой роши западного направления и ехать тропами, не сходить с седла, на третье, пожалуй, утро доберешься до урочища Габдано.

В позапрошлом году Влад въезжал в Габдано с Севера: прилетел в Махачкалу, добрался машиной до Караюрта, а там пересел на лошадь. Тропа забирала вверх, конские подковы скребли о камень. Лесные чащи остались внизу, но горы еще сплошь зеленели невысокой чистой травкой, и старые деревья тут и там чинно и уверенно, как уважаемые старики, возвышались над землей урочища. Каждое дерево имело свое лицо под мохнатой зеленой шапкой, и каждому из них хотелось дать имя или красивое прозвище: Шамиль, Хаджи-Мурат или Абрек.

Перед Владом ехал на рыжей кобылке славный парень Адалло – институтский сокурсник, уроженец этих мест. Кобылка под Адалло потряхивала хвостом, пофыркивала – чуяла близкий аул. В том ауле в глухой тайне хранились под бдительным присмотром избранных людей полтора десятка древних книг, среди них рукопись Авиценны. Целый век они там хранились, под скалей, в каком-то секретном подвале, и, по словам Адалло, надежно защищали – «Люди верят! Пусть верят!» – аул от многих неприятностей жизни: градобоя, мора. А Владу казалось, что не каких-то сто лет они там лежат, в каменном подземелье, а лежат они там такое Время, что никакими годами не измерить. Верил ли сам Адалло в такое счастье род-



ных мест, трудно было сказать определенно: скорее все же верил, чем не верил. Он и рассказал-то Владу эту историю за пьяным столом и как будто уже и жалел, что рассказал: взял с него обещание никому об этих книгах не заикаться, держать тайну при себе, а потом пояснил, что это дело мусульманское и что если иноверец докопается до книг, они утратят свою силу и аул останется беззащитным посреди ужасного мира. Влад тогда же решил не откладывая искать Авиценну – уговорить Адалло и ехать в Габдано. Спаси Бог, он не собирался темной ночью, крадучись, выносить книги из подвала, прятать за пазуху и бежать с ними куда глаза глядят. Он лишь хотел, хотел неодолимо уложить том на колени и, осязая прохладную кожу переплета, открыть рукопись великого медика, и разглядывать красивые буквы, и листать еще другую книгу, математическую, с картами звездного, по словам Адалло, неба, в котором Влад решительно ничего не смыслил. Вот так с ним иногда случалось: он видел девушку, мельком, на улице, в троллейбусе, он хотел ее, как говорится, с первого взгляда – неостановимо и безоглядно, всеми своими жилочками и прожилочками, он шел за ней следом, преследовал ее и либо в конце концов сводил с ней знакомство, либо получал от ворот поворот. Сейчас, наверно, по такому случаю сказали бы: запал на кого-то. Может, так бы подумали и сказали.

Надо заметить, что местные борцы с религиозным дурманом не раз пытались священные книги изъять и отправить их в Москву для научного изучения. Начальники из райкома партии наезжали в аул в командировку и действовали там и мытьем, и катаньем: пугали аульчан, сулили награду за наводку, рассказывали, как в городе Самарканде вырыли из земли знаменитого полководца Тимура, голову ему оторвали и отправили в Москву в специальном ящике, а там уже сделали чугунный портрет на всеобщую пользу: Тимур теперь как живой, каждый может посмотреть и даже купить фотографию. Доводы уговорщиков на аульчан не действовали, они только пожимали плечами и смачно сплевывали на камни своей родины. Райкомовцы не солоно хлебавши возвращались в свой райцентр, а книги оставались лежать в тайнике.

– Неужели советская власть так и не дотянулась? – с радостным недоверием спрашивал Влад Гордин у Адалло.

– Для этого надо весь аул танками разутюжить, – со знанием дела отвечал Адалло. – И то еще неизвестно, найдут или нет. – Вот это да! – радовался Влад Гордин, как будто это он сам завалил вход в книгохранилище каменной плитой, а потом выбрался наружу и поджег вражий танк из гранатомета. – Вот это по-нашему!

Но самое главное – книги действительно были. Они появились здесь сто с небольшим лет назад, без шума и без базара, и с той поры вредоносный град обходил стороной урочище Габдано, и мор проползал мимо на своем змеином брюхе. Впрочем, и раньше, до книг, град, в отличие от мора, бил сады и посевы только в соседних урочищах, а сюда не догромыхивал: микроклимат, как видно, мешал. Но ведь мог бы когда-нибудь догромыхать! А теперь была твердая вера: пройдет стороной...

Книги привез в курджунах ученый аульчанин по имени хаджи Джабраил. Вез он их со многими опасностями, привез и, умирая внезапной смертью, завещал никогда их отсюда не выносить – никуда и ни при каких обстоятельствах. Это было важно, это был приказ, обязательный к исполнению: такие люди, как хаджи Джабраил, предсмертными сохнувшими губами слов на ветер не бросают.

А все началось лет пятнадцать до этой смерти, здесь же, в Габдано. Чернобородый тогда Джабраил собрался в хадж, поклониться святым местам Мекки и Медины. Путь в арабские пределы предстоял долгий и небезопасный. Конь под путником шел сильный, в курджунах уложен был съестной припас – лепешки, вяленая баранина, лучок, и длинный кинжал в черных кожаных ножнах с серебром свешивался с поясного ремешка. Серебряные накладки на черном фоне выгладели красиво и строго. Можно резать таким кинжалом, но удобно и рубить как коротким мечом.

Долго ли, коротко ли, но прибыл упорный Джабраил в город Каир, присоединился там к мусульманским паломникам, добрался с ними до угрюмого синайского селения А-Тур и оттуда, переплыв море на шатковой барке, высадился в аравийских песках, помнивших легкую походку пророка Магомета.

Он был склонен к усидчивым занятиям, этот Джабраил из Габдано, надо отдать ему должное, и по завершении полного круга молитвенных процедур, очищенный и просветленный, задержался надолго в ученой Медине. Библиотека этого священного города – родины пророка – пленила его своим блистательным богатством. Он принялся за чтение, он не отрывался от книг. Его радение и вдумчивость были отмечены, и спустя время – лошади уже была проедена до самых копыт – он был принят на библиотечную службу. И покатились годы, сталкиваясь, как каменные шары.

А в Габдано, вдали от отцовских глаз, росла Джабраилова дочь Патимат, красавица: гибкий стан, орлиный нос под черными бровями вразлет. Была там и жена книгочей, сидела в углу сакли, где посуше. Уже и тогда ученый Джабраил, надзиравший за книгами в самой Медине, числился в Габдано знатным земляком; никогда еще ни один местный уроженец не забирался так заоблачно высоко.

И катились годы.

На исходе пятнадцатого, по исламскому календарю, года поседевший Джабраил решил вернуться на свою каменную родину. Храбрец не задумывается над последствиями, только трус таскает в кармане весы – прикидывать и ломать голову, что лучше, а что хуже... Решено – исполнено: безлунной ночью, уложив в курджун полтора десятка любимых книг и прицепив к поясу кинжал, Джабраил сел в седло и рысью тронулся в путь. Дорога послушно ложилась под копыта коня, тьма – подруга бедовых людей – способствовала замыслу книголюбца. Вооруженная погоня на беговых верблюдах была выслана за дерзким книжным вором, но Джабраил успешно ушел от преследователей, как – прости, Господи! – евреи по Красному морю от наседавших на них египтян.

К весне северный ветер принес запахи Кавказа. «Я разглядел кипенья персиков в садах цветущих Дагестана», – выпрямляясь в седле, бубнил под нос взволнованный Джабраил. «Гацатль – звучит, как лязг капкана. Я сам к камням могил приник»... До Габдано было рукой подать. По ночам, с головой укрывшись буркой и положив ладонь на рукоять кинжала, Джабраил видел во сне свою саклю и скрежетал зубами от радостного нетерпения.

Наконец, появился аул в горловине урочища. Крыши сакль взбегали вверх серебристой каменной лестницей. Над въездом в аул на длинной палке бился на ветру черный флаг несчастья.

– Кто ты и куда идешь? – окликнули путника из сторожевой башни.

– Я Джабраил, – сердито ответил всадник. – Возвращаюсь из хаджа домой. Ты что, сам не видишь?

– У нас чума, – оповестили из башни. – Никто отсюда не уходит, и никто сюда не приходит: нельзя. Разбей палатку, где стоишь, дорогой Джабраил, и жди, пока болезнь околет или пока все мы тут околем. Храни тебя Аллах!

– Вас тоже, – сказал Джабраил. – Передайте Патимат, что я приехал. – И принялся ставить палатку, где стоял...

– Вот здесь это было, вот здесь! – с седла указывал рукою Адалло. – Джабраил притащил сюда камни, разложил их по кругу, а в середине поставил шатер. Видишь? И сидел, ждал Патимат.

Влад, наклонившись, добросовестно разглядывал серую проплешинку. Хорошо бы найти тут что-нибудь такое. Но ничего не было, кроме лакированных козжих орешков...

Узнав, что Джабраил вернулся из хаджа и сидит теперь в шатре у входа в чумный аул, Патимат развела огонь в очаге и принялась стряпать. Как только стемнело, она выбралась из сакли. В узелке дочь несла отцу свежий хичин с чесноком. Побольше чеснока – это, говорят, отгоняет чуму.

– Послушай-ка ты меня, Патимат, – жуя родной хичин, сказал Джабраил дочери. – Как теперь повернется судьба, знает один Аллах, но он молчит и ничего нам не рассказывает. А ты должна знать одно: эти книги, которые я с Божьей помощью раздобыл в святом городе Медина, должны храниться в нашем ауле до конца света и до окончания времен. И тогда никакая чума нас не возьмет, градобой поразит соседей, а гяуры, если занесет их случайно в Габдано, сами подведут шею под наше колено. Ясно тебе?

Взволнованная встречей Патимат хлопнула орлиным носом и спросила:

– Можно я побуду тут с тобой, папа? Я так тебя ждала...

– Можно, – разрешил Джабраил. – Только сходи сначала в аул и передай насчет книг. А потом возвращайся... Мать жива?

– Схоронили третьего дня, – сказала Патимат.

– На все воля Аллаха, – подвел грустную черту хаджи Джабраил. – Аминь.

Оба они – отец и дочь – скончались от черной болезни в шатре, внутри каменного круга, на пятый день по возвращении Джабраила. Это, как всем нам известно, особая честь и почет – умереть по дороге из хаджа в родные края. Только хорошему человеку и праведнику выпадает такая удача.

А чума сама собою понемногу сошла на нет, аул ожил и повеселел как ни в чем ни бывало. Мертвых накормили землей, а живые воротились с кладбища в свои сакли и разожгли очаги под казанами с бараньей похлебкой. И так, верно, и должно быть в нашем мире.

Книги из аравийской Медины поместили в тихое место, и специально отобранные надежные люди, сменяя друг друга от поколения к поколению, стирают с них пыль кусочком оленьей замши и проветривают их страницы по мере необходимости.

Вершинный, прохладный ветерок продувал урочище Габдано, поднимал коричневатую каменную пыль с наезженной тропинки. Адалло спешился у сложенной из грубо отесанных камней сакли и набросил петлю поводка на турий рог, накрепко врубленный в стену.

– Приехали, – сказал Адалло.

Сошел с седла и Влад Гордин и, разминая ноги, потоптался на месте. Никого не было видно ни на тропе, ни на плоских крышах сакль.

– Хорошая штука, – сказал Влад и щелкнул ногтем по турьему рогу. – Слушай, Адалло, а меня тут случайно не зарежут? Мрачновато как-то...

– Ну скажи, если хочешь, что ты узбек, – прикинув, решил Адалло. – Из Самарканда. В общем, мусульманин. Ты в Самарканде ведь был?

– Был, был, – кивнул Влад. – Могу все описать, как на картинке. И в Бухаре был.

Адалло кивнул и шагнул к двери сакли.

В каменном гнезде было сухо, тепло. Квадратная под низким потолком комната, неожиданно просторная, вмещала в себя немного: крепкий стол на сильных ногах, тройку табуреток. Одежда была развешана по стенам на корявых деревянных крюках – брезентовый плащ, бурка. С потолка свешивалась на шнуре электрическая лампочка, в нее целилась своим стеклянным стволом керосиновая лампа со стола. Была тут и полочка с книжками, стоявшими вразбивку, кое-как.

– Ушли все куда-то, – беспечно заметил Адалло. – Придут, наверно. Это дяди моего сакля, Ахмед его зовут.

– Он кто? – спросил Влад, подбираясь к книжной полочке. – Колхозник? – И потянул из ряда книг захватанную, со стесанными углами – «Руководство по борьбе с грызунами». Рядом стоял нечитанный том с золотым тиснением на корешке: «Как закалялась сталь».

– Откуда колхозник? – возмутился Адалло. – Тут тебе не Россия. В Габдано никаких колхозов нет, они только на бумаге есть. Для отчета же надо.

– А свет есть? – спросил Влад и кивнул на пыльную лампочку на шнуре.

– Иногда дают, – сказал Адалло. – Но – редко.

– «Социализм есть советская власть плюс электрификация всей страны», – с усмешкой процитировал Влад Гордин.

– Нету у нас, – сказал Адалло. – Советской власти нету, социализма нету. Тут горы... Садись, отдыхай.

Пока дожидались отлучившегося неизвестно куда дядю Ахмеда, приду-мали, как получше управиться с задачей. Адалло брался изложить просьбу главным старикам аула: так, мол, и так, приехал бухарский человек, человек надежный, вместе учимся, в Средней Азии про книги наши слышали, вот бухарец и хочет поглядеть хоть краем глаза, тем более что по-арабски он все равно не умеет читать. Старики послушают и решат: пускать или не пускать.

– А если они на меня поглядят, – поделился своими сомнениями Влад Гордин, – и догадаются, что я такой же бухарец, как ты, например, еврей?

– Да как они догадаются, – успокоил Адалло, – если у нас тут ни одного узбека нет и никогда не было! Сравнить-то не с кем!

Влад согласился: вряд ли дядя Ахмед хорошо разбирался в узбеках.

Наконец, появился неведомо откуда Ахмед с платиновой бородкой и неправдоподобно черными, строго сведенными бровями. Просьбу племянника он выслушал хмуро, а живописный рассказ Влада с интересом, перебивая его дельными вопросами о бухарском базаре.

– Думать надо, – пристально глядя на Влада, сказал Ахмед. – Отведи его, Адалло, к Саиду, пусть он думает.

К Саиду они поднимались по узкой тропе меж саклями, стоявшими впри-тык одна к другой. Прохладное солнце било им в лицо, ноги скользили на острых, похожих на наконечники древних стрел камешках крутого подъема. Жилище Саида стояло выше других домов аула, на горном склоне.

– Он самый главный старик, – объяснил Адалло запыхавшемуся Владу Гордину. – Как он скажет, так и будет.

Самый главный старик жил в крохотной сакле, состоявшей из одной комнаты. Мебели здесь, за исключением лежанки, не было никакой, так что и ощущения тесноты не возникало. Лежанка представляла собою сваренную из железных черных труб узкую кровать, аккуратно и без складок, как в образцовой казарме, застланную белым покрывалом. Над изголовьем, на свежей побелки стене, висел длинный кинжал в черных кожаных ножнах и мусульманский календарь из Саудовской Аравии размером с развернутую газету, доставленный сюда явно не по почте. К изножью кровати был прислонен длинный черный зонт, с какими, по слухам, расхаживают по Лондону конторские служащие с приличными доходами.

Сам хозяин, сухощавый старик лет шестидесяти пяти или семидесяти, чем-то напоминал знаменитого артиста Марлона Брандо, хотя и был бородат, в то время как артист, как известно, брил лицо и никакой бороды никогда не носил.

– Салам алейкум, Саид, – сказал Адалло. – Этот парень, – он чуть подтолкнул Влада вперед, – мой товарищ Азиз, он пришел познакомиться с тобой.

– Я из Бухары, – не зная, полагается ли подавать руку прямо сидевшему на кровати Саиду, сказал Влад. – Вместе учимся.

Потом Адалло с Саидом перешли на родной язык и говорили довольно долго. Влад Гордин терпеливо вслушивался в клекот высокогорной речи. Наконец, собеседники умолкли, и Саид, подзывая гостя, похлопал рукою по покрывалу. Влад послушно подошел и сел на жесткий краешек кровати.

– Это Габдано, – сказал Саид. – Здесь мы живем.

– У нас в Бухаре... – начал было Влад Гордин, но Саид, словно бы не слыша, продолжал:

– Мы живем здесь, бухарец, по законам Мухаммеда Ибн Абд аль-Ваххаба. Знаешь про такого?

– Не слышал... – подумав, признался Влад Гордин. – У нас в Бухаре...

– У вас в Бухаре, значит, мусульмане совсем испортились, – сказал Саид и вдруг улыбнулся – светло, мечтательно. – Но это ничего, ничего. Так бывает и так должно быть: сначала плохо, а потом хорошо. А потом снова плохо.

– А у вас, – спросил Влад, – хорошо?

– У нас в Габдано очень хорошо, – твердо сказал Саид. – Наш хаджи Джабраил был ваххабитом и передал нам все, что нужно правоверному мусульманину. Теперь нам хорошо: ясно, сухо и русские к нам не ходят.

– Потому что они боятся, – вставил Адалло.

Саид поглядел на Адалло одобрительно, а потом сказал:

– Аллах дал нашему Адалло голову не только для того, чтобы он таскал на ней папаху. Адалло придумал красивую песню про нашу жизнь. Скажи, Адалло!

– «Хаджи Джабраил привез в курджуне солнечную пыльцу из Медины, – музыкально растягивая слова, произнес Адалло, – и сады Габдано принесли плоды, сочащиеся медом и мудростью».

Саид одобрительно кивнул головой и продолжал:

– Верно, верно... Мой отец всегда говорил: «Храбрец Джабраил умер, как святой человек. Аллах забрал нашего Джабраила, а взамен дал нам аль-Ваххаба, который не может умереть».

– А у нас в Бухаре, – решил поделиться туристскими знаниями Влад Гордин, – то есть не в самой Бухаре, а в Самарканде, похоронен племянник пророка Магомеда. Это место называется – Шахи-Зинда, там еще ручеек течет.

– Маркс-Энгельс не храбрец, – не обратив внимания на сообщение Влада, строго продолжал Саид, – Сталин – не храбрец, Хрущев Никита – не храбрец. Наш хаджи Джабраил храбрец и герой.

Влад поежился: от таких разговоров попахивало лагерной баландой, настоящей на богатой витаминами сибирской хвое. Но и ежиться чересчур открыто и раздражать тем самым старика Саида тоже не стоило: кинжал висел здесь вовсе не для украшения стены, а нравом хозяин обладал, как видно, пороховым – вполне возможно, унаследовал это качество от покойного храбреца Джабраила.

– Кинжал какой замечательный! – не без лести заметил Влад. – Так и видишь его в руке какого-нибудь героя...

– Это кинжал Джабраила, – сказал Саид, снял оружие с гвоздя и, вытянув его из ножен, принялся размахивать им с неприятным свистом. – Он передается у нас из поколения в поколение по наследству старшим сыновьям.

– Значит, вы... – выдавил Влад Гордин. – И Джабраил...

Старик надменно кивнул головой в знак признания, а Адалло ввинтил к месту:

– Это наш кавказский обычай. В Москве нет кинжалов, потому что там нет настоящих мужчин.

– Это нас не касается, – с безразличием качнул рукою старик Саид, – что у них там в Москве... Я иногда читаю газету, когда Адалло мне приносит из Москвы. Все врут. Про себя, про нас, про всех.

– Писали что-нибудь про Габдано? – встрепенулся Влад Гордин. – Где?

– Не про Габдано, – опроверг старик и снова рукой повел. – Про Кавказ, это почти одно и то же.

– Что мы, мол, «всесоюзный дом отдыха», – снова ввернул Адалло, – вроде проходного двора. Едут сюда все кому не лень, а мы их любим и лезгинку для них танцуем с утра до ночи.

– Незванный гость хуже татарина, – подыграл Влад и осекся: татары все же мусульмане, не хуже бухарцев. Как бы Саид ни обиделся.

– Мы их к нам не звали, – не обиделся Саид. – Русские Кавказ обманом захватили, им тут недолго осталось сидеть. Пусть уходят в свою Тамбовскую губернию. А кто не уйдет, тот жизнь потеряет.

– Таку них же пушки, танки, – усомнился Влад Гордин. – Они половину Кавказа перебьют, а остальных вышлют, как при Сталине. Вы храбрецы, но жизнь-то ведь и у вас только одна!

– А что жизнь, молодой бухарец! – гибкой ладонью огладив круглую бородку, сказал Саид. – К жизни привыкают, как к собственной сакле, как к женщине, поэтому трудно с ней расставаться. Жалко расставаться! И это – слабость.

– Это – слабость, – как бы заучивая наизусть, повторил за ним Адалло.  
– Они там пишут, – продолжал старик, – что наш Кавказ – это клумба: народы сидят рядком, как цветы в цветнике, а Старший брат их поливает из лейки. И это называется: дружба народов... Я никак не пойму: сами-то они верят в эту писанину? Кавказ взорвется, камни долетят до Москвы.

– Дружба всадника с конем, – сказал Адалло, и старик снова взглянул на него с одобрением.

Хозяин замолчал, уложив руки на колени. Тишина не казалась неловкой или тягостной, а напротив, совершенно естественной, продолжающей прозрачную тишину гор за стенами сакли. Уставившись в пол, сложенный из неровных каменных плит, Влад дивился тому, как откровенно, без оглядки высказывается горный старик. Ну да, «тот не храбрец, кто задумывается над последствиями». В литературных московских кухнях за рюмкой водки вряд ли и самые безоглядые отважились бы на такие каменные слова, да и, честно говоря, Кавказ представлялся даже отпетым правдолюбцам не более, чем приусадебным ботаническим садом державной России в ее кокошнике с золотой маршальской кокардой. Не полувосточная Прибалтика, не курдючная Средняя Азия, а именно вечнозеленый Кавказ: плесканье в теплом море, курортные приключения, бочковое вино и дешевые фрукты. Рай, кто понимает! И горный Кавказ со всеми этими неизвестными чеченцами, аварцами, лакцами и табасаранцами был лишь скалистым спуском к морским песчаным пляжам. Для обитателя русской равнины весь Кавказ легко умещался в коробке папирос «Казбек» с джигитом на фоне снежной вершины – столь же всецело «наш», как родимый «Беломорканал» производства ленинградской табачной фабрики имени Клары Цеткин и Розы Люксембург. Потомок вороватого Джабраила едва ли имеет хоть малейшее отношение к джигиту на папиросной коробке. О своей ваххабитской свободе он не мечтает с размытой улыбочкой на губах – он к ней тянется крепкой рукою и готов, не раздумывая, заплатить за нее своей и чужими жизнями. Многие в России хотят свободы, не один Саид из Габдано, но, рассуждал и раздумывал Влад Гордин, кому в голову придет искать вулкан на ручном Кавказе!

– Горы у вас там есть, в Бухаре? – спросил Саид.

– Горы есть, – сказал Влад. – Другие, конечно, не как здесь.

– А барсы есть? – спросил Саид.

– Нет барсов, – сказал Влад Гордин.

– Значит, барсов нет, – заключил разговор Саид и поднялся с кровати.

– Пошли, – позвал Адалло и потянул Влада к двери сакли.

Тропинка прыгала с камня на камень, они спускались почти бегом и остановились на ровной площадке, у источника, бывшего из скалы над тропой. Несколько женщин в длинных черных накидках стояли там, наполняя водой высокие глиняные кувшины с узкой лебяжьей шейей.

– Красиво, да? – спросил Адалло. – Такой источник только еще в Гунибе есть. Гуниб – знаешь? Там русские памятник поставили, так наши его сразу в пропасть свалили. Русские опять поставили – наши снова свалили. После третьего раза больше не ставят.

– Что за памятник? – спросил Влад Гордин.

– «На этом месте генерал от инфантерии князь Барятинский пленил Шамиля», – сказал Адалло. – Такой был памятник. Теперь нет.

Подходили женщины с кувшинами на плече, заученно-ловким движением опускали их к земле, подводили, наклоняясь на прямых ногах, отверстые жерла под светлую струю воды.

– Он по-русски как чисто говорит, Саид этот, – сказал Влад.

– Он учителем работал в райцентре, – сказал Адалло, – потом бросил это дело, ушел в религию. У нас тут часто так бывает...

– А книги? – спросил Влад Гордин. – Покажет?

– Нет, – сказал Адалло.

...Так случилось, что сорок лет спустя Адалло возглавил ваххабитское движение в этом районе Кавказа. То ли его убили федералы во Вторую чеченскую войну, то ли он пропал где-то – следы затерялись.

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

*Журнал «Октябрь» зародился глубоко при Советской власти. Выстоял он и при нынешней – антисоветской. И, даст Бог, будет жить до тех пор, пока в России не переведутся читатели.*

*Сейчас «Октябрь» – одна из немногих активно действующих точек русской гуманитарной культуры. В последние годы нам не раз объясняли, что толстые литературно-художественные журналы не нужны, что они чисто русский вывих, потому что подобных журналов нет ни в Европе, ни в Америке. Да, у них нет, а у нас есть, Еще Карамзин учредил их нам своею волею. И не ошибся. Толстые журналы настолько прижились в России, что они есть даже и в наши дни, хотя возможности для их существования практически отсутствуют.*

*Сегодня, когда ни настоящий поэт, ни настоящий ученый, ни настоящий писатель не могут заработать на пропитание своим трудом, когда сотни тысяч, если не миллионы российских интеллигентов выброшены на обочину жизни, такие «оазисы», как «Октябрь», приобретают исключительное значение.*

*А может быть, пора на слом?  
А может, нам не возродиться  
Ни под серпом, ни под орлом?*

*– эти страшные слова о России, написанные Георгием Ивановым пятьдесят лет назад, пока еще актуальны. И, сколько бы мы ни уповали на возможный расцвет нашей экономики, без духовного подъема нации ничего не получится.*

*За годы Советской власти нам настолько обризло слово и де о л о г и я, что вместе с пеной мы выплеснули и ребеночка. А между тем и де о л о г и я – не страшилка для новых русских и не намордник для общества, а система политических, правовых, нравственных, философских, религиозных, художественных взглядов. Без ясной идеологии, без шкалы ценностей, не могут быть достигнуты никакие созидательные государственные цели, даже если на мировых рынках цена за баррель нефти вырастет еще хоть в десять раз. Я говорю здесь об этом и потому, что убийственно недооценивать такие значительные источники духовной энергии нации, как ежемесячные литературно-художественные и общественно-политические журналы, которые милостью Божьей существуют в России уже третий век.*

*Печально, но сегодня толстые журналы оттеснены в загон наподобие резервации.*

*Честь и хвала тем, кто работает сейчас в толстых журналах России! Главные редакторы, да и все их сотрудники, трудятся сейчас фактически задарма, только в силу инерционного энтузиазма, который еще не выветрился, и беззаветной преданности Литературе.*

*Дай Бог, чтобы положение изменилось к лучшему. Есть люди, для которых это очень важно. Таких людей в России пока еще много. Я, конечно, имею в виду наших российских читателей, душа и ум которых жаждут настоящих произведений, живого слова как поддержки на их нелегком пути из псевдосоциализма в псевдокапитализм.*

---

**Николай КЛИМОНТОВИЧ**

---

*Это самый мучительный вопрос – почему мы полюбили. Мучительный потому, что невозможно найти убедительный ответ. Чаще всего мы сдаемся и соглашаемся с тем, что так произошло, поскольку полюбили нас. Этот ответ, понятно, по сути есть компромисс.*

*Нет, мы полюбили потому, что не полюбить было нельзя. Я – о своих отношениях с журналом «Октябрь». Нельзя потому, что именно здесь сбывались все твои желания. Это не цинизм, это – правда: здесь говорили, что у тебя получилось, здесь улыбались и давали гонорар. Короче, здесь любили тебя, а взаимное чувство не заставило себя ждать.*

*Если постараться быть чуть глубже, то следует не без сожаления признать, что дело не в тебе как таковом. Дело – в любви к литературе, которую так сладко любить уже потому, что никто не знает, что это такое – литература. Это Толстой или Аксенов, это Венедикт Ерофеев или Петрушевская? Не дает ответа. Скорее это – оказия, попытка спрятаться, род побега... Журнал нам позволяет это осуществить. Без стыда.*

*Никто никогда не смог доказать, что изящная словесность улучшает если не нравы, то хоть самочувствие. Между тем это – правда, не нуждающаяся в доказательствах. Долгое и славное существование «Октября» это превосходно иллюстрирует: мы все, издатели и авторы, чувствовали бы себя хуже, когда б не этот журнал. В этих словах не стоит подозревать двусмысленность: речь, конечно, не о деньгах, а о повседневном самочувствии.*

*Само название – неважно, откуда взялось, – вызывает теплое чувство и воспоминание о Пушкинском. Не просто имени – конечно, о даре. Нам. Потому что, хоть мы и привыкли, что все происходит само собой, он мог и не наступить. Думаю, феномен этого журнала не так прост: журнал прошел сквозь многие искушения – многие, но прошел с честью. Причем речь, разумеется, не только и не просто об искушениях физического толка: речь об эстетическом выборе.*

*Журнал очень ясно – своим содержанием – свой выбор показывает. Манифестирует, если угодно. Я не всегда согласен с этим манифестом. Но не могу не уважать столь точно выверенную и столь понятно выражаемую позицию. Я прошел искушение подозревать редакцию если не в ханжестве, то в чрезмерной целомудренности, а нынче могу лишь поблагодарить за то, что она мне помогла избежать некоторых литературных соблазнов. Права оказалась редакция журнала «Октябрь».*

*Все это не просто юбилейные славословия. Хотя бы потому, что мне действительно есть, за что быть благодарным. Но, пролистывая в Интернете подшивку, я всякий раз заново убеждаюсь, что мне повезло оказаться в нужный момент в нужном месте... Поздравляю вас, – и здесь невольная пауза, – не сударьши и судари, не дамы и господа, но – товарищи, хоть это прекрасное слово и оказалось несколько скомпрометировано.*

---

**Борис ВСЕЕВ**

---

*К числу немногих не потерявших лица журналов я без сомнений отношу «Октябрь». Словно бы два крыла поддерживают журнал: с одной стороны, здоровая либеральная мысль, а с другой – мысль почвенная. Именно устойчивое равновесие между этими двумя, одинаково необходимыми для России течениями и придает «Октябрю» своеобразие и неповторимость. Такая позиция дает, в свою очередь, возможность вести отбор прозы, поэзии и критики не по клановому или партийному признаку, а лишь по критериям художественности и качества текстов. Открытие новых текстов, этих еще не внесенных в лоции островов в бушующем океане словотворчества, – радостная и значимая задача для любого журнала. Желая «Октябрю» новой и яростной жизни во все новых и новых открытиях.*



## Светлана ВАСИЛЬЕВА

*Наверное, журнал «Октябрь» – моя судьба, или выбор пути. Который состоит в том, что я – вечный ученик и вольнослушатель жизни. Как сказал наш основоположник В.И. Немирович-Данченко, повторив слова Пушкина: есть «час ученичества», а есть «одиночества верховный час». Это и я навсегда запомнила и повторяю: по законам ученичества.*

*Нужен ли мне одиночества верховный час? Скорее всего я боюсь его и страшусь. С «Октябрем» – не страшно. Здесь всё по-дружески, здесь тебя встретят так, будто ты и вправду а в т о р.*

*Никогда не понимала «номиналирующихся», тех, кто, получая награды, глядел поверх чужих глаз и утверждал, что не было у него минут лучше, чем когда его правил редактор. Редактор при этом тоже почему-то смотрел куда-то в сторону... Писатель и редактор – это ведь реальные люди, хотя бытие их зачастую и полно всевозможных иллюзий. А каждый нормальный человек хочет, чтобы его поняли и приняли таким, как он есть, «черненьким». Но у всякого имеется шанс: а может, ты на самом деле – замечателен, прекрасен, или что-нибудь в этом роде. Кто вообще знает, каков он, этот еще никому не известный автор, приносящий текст? Даже редактор до конца знать не может.*

*Мне нравится человеческая повадка Ирины Барметовой: пристальная, взъясательная, чуть с пуристским уклоном, на французский лад остроумная – нездеишняя... В журнале не тусуются и не тусуют, но собирают. Сводят писателей с музыкантами и актерами, кинематографистов – с их «натурой». Главного редактора «Октября» можно у б е д и т ь – не доказать свои права, нет – соображениями нашей общей беды, единых задач, совместного проживания в литературной жизни.*

*Так что процесс работы над текстом у меня всегда проходил следующим образом: правка – не поправка, замечания – не замечания, а мечтания о..., редакторские значки – вопросы к тебе. Множество вопросов... Не знаю, как кого, – меня это вполне устраивает.*

*Есть ли у журнала свое «общественно-эстетическое направление»? Многие тексты мне нравятся, другие – не очень. С какими-то я не берусь соседствовать вовсе (а им, быть может, чужда я как автор). Однако мы с о с у щ е с т в е м – согласно чьей-то доброй воле и собственному достоинству. А добрая воля и достоинство – это в любом случае верное направление и хорошая стратегия. Для многих теперь очевидно, что литературный процесс и его печатное отражение – в первую очередь азарт художника, его неотменимая возможность взять и заговорить. То есть – вероятная свобода. А читатель – просто бери и читай журнал, где тебя не обманут. Само название «Октябрь» располагает. «О к т я б р ь у ж н а с т у п и л...» Пародия оборачивается в сторону серьезную, существенную. К первообразу. Время литературного эгоизма и «псевдячества» отходит, пора это понять; время идей-страстей еще не наступило; гениальность – не по нашей части, хотя порой так хочется...*

*Но у нас у всех есть журнал «Октябрь».*



## Михаил РОЩИН

---

*До солидного доехали возраста, что говорить. И, как на жизнь оглянешься, чего только не наберется: и молодость, еще близкая революционным, буйным годам, и неспешный путь к зрелости, и печальные годы, и светлые. Если все вспомнить (кому лучше, чем вам самим), явятся и возлюбленные друзья, и критиканы-враги. Жизнь проживалась в литературе, в гуще ее, она дышала на журнал, а он был одним из создателей ее. Сколько всего было-то! Не исчислить всех новинок, всех возрожденных вами авторов! Вполне можете в легком самодовольстве поглаживать себя по пузу.*

*Сегодня время ревизий, мода охаять всё и вся, но всякой дури вопреки скажем, что была у нас, однако, литература. Плохая? Была и такая. Хорошая? Много было хорошего. Разная. Ей и положено быть разной. Хорошо писали, хорошо думали. Умилялись, восторгались, плакали, страдали. Врали. Обманывались. Росли. Сами себя воспитывали, учили. Помнили про гамбургский счет. Спротивлялись. Боролись. Как народ жил, так и литература двигалась с ним. Конечно, и долгов оталось у всех и перед народом, и перед литературой изрядно. Ну на то и жизнь большая.*

*Что теперь ревизовать, кого вычеркивать, а кого возвеличивать? Все, кому положено, заняли свои места.*

*Хочется сказать вам сегодня, в ваш юбилей, что вы в хорошей форме, изжили свои проколы, какие были, набрались новых сил, отточили вкус, держитесь высоких критериев, доказываете свою преданность подлинной литературе, отбираете из потока лучшее. Заняли среди литературных журналов видное, заслуженное место.*

*Лично я, например, радуюсь и горжусь, что стал вашим автором, напечатал у вас за последние годы немало своих вещей. И как-то сроднился с редакцией. Чувствую себя у вас своим – для любого писателя это нужное и полезное чувство.*

## Из какой палаты?

**Л**ежу как-то в своей Бакулевской больнице, в 119-й палате. Больных шестеро, двое тяжелых, лежащих, после операции, двое на подготовке. Весь день: утки, судна, лекарства, уколы, капельницы, врачи, сестры. Еда – в основном тушеная капуста, весь этаж пропах. Посетители ходят в шуршащих пластиковых голубых бахилах, носят яблоки, колбасу. Разговоры: про анализы, операции, кровь, мочу, запоры, поносы, реанимацию – тошно.

Как-то выхожу вечером в коридор к телевизору, слышу – надрывается какой-то заезжий баритон с оперной арией. Народ сидит, скучает, а мне вдруг так и ударило: Господи, есть театр, опера, какие-то еще люди на свете. Выйду, думаю, пойду в оперу.

Выхожу, в самом деле звоню кому-то из знакомых администраторов:

– Можешь сделать билет в оперу, в Большой?

– Сколько? На что именно?

– Мне один, честно. Хорошо б на «Кармен». Только без долларов.

– Понял. Заметано. Перезвони через часок.

Звоню.

– Значит, так. «Кармен». Десятого. Один билет. Может, пропуск. Пойдешь на шестнадцатый подъезд. Там встретят. Все о'кей.

Еду десятого. Заветный подъезд. Ковыляю больной ногой, с палкой по долгим ступенькам. Раздеваюсь, получаю билет в ложу бенуара. Иду, нахожу белую дверь. Сажусь. Театр. Сияние. Сижу, читаю программку. Театр гудит и дышит, оркестр настраивается. Хорошо.

Вдруг стучат в мою дверь. Встаю, чтобы открыть. Но уже сами входят – три шкафа, с плечами, при галстуках, меня теснят на место.

– Скажите, вы из палаты?

– Да, – говорю. – Из сто девятнадцатой. А что?

– А как ваша фамилия?

«Так, – думаю, – это кто же меня здесь откопал?» Называюсь.

– А позвольте ваш билетик?

Ребята из тех, что любят сами спрашивать, а не отвечать. Достают билет, протягиваю.

– А что, скажите?

– Дело в том, – кивнул на зал главный глубокоуважаемый шкаф, – что сегодня Большой театр целиком снимает Торговая палата. Видите?

Я и без того уже видел нарядный народ в ложах, советских дам в прическах, облитых лаком, белые воротнички, шеи в жемчугах. Смотрю снова. Зал полон, тепло дышит снизу шанелью и косметикой. Среди плотного конфетти только вкраплены четыре-пять черноголовых японца (кто за доллары).

– А у вас не наш билетик. И вообще не сюда, а в одиннадцатую ложу, – и показывает на соседнюю ложу, где, действительно, пусто одно кресло.

– Извините, – говорю. И выбираюсь со своей ногой и палкой. Шкафы почтительно пропускают.

Перебираюсь, усаживаюсь. Еще глазею на респектабельных соседей, которые уже хрустят шоколадной фольгой. И – трам-та-там! – взрывается солдатская опера «Кармен».



## Лирическое отступление

Разбирая бумаги в своем письменном столе, я нашел много старых писем – родителей, друзей, знаменитых и незнаменитых; уцелевшие открытки, которые писал в ранней молодости маме, и невольно погрузился в ушедший мир – драгоценный багаж моего прошлого. Письма были разные, как писал когда-то сегодня малочитаемый поэт Константин Симонов:

Письма пишут разные:  
Слезные, болезные,  
Иногда прекрасные,  
Чаще – бесполезные.  
В письмах все не скажется  
И не все услышится...

С этим согласиться не могу. Слышатся голоса, вспоминаются ситуации, и жизнь выглядывает со всеми своими шорохами и шумами.

Прочел свое письмо из Парижа, дата – июнь 1987 года. Я тогда жил в отеле на левом берегу Сены, около бульвара Сен-Жермен. Из моего номера был виден старый Париж, его дома, черепичные крыши, трубы. Я наслаждался городом, хотя был в нем не первый раз.

Теперь Париж изменился, хотя по-прежнему на набережной на складных стульчиках сидят букинисты и так же течет Сена, но Елисейские поля стали будничными, полны туристов из восточных стран, редко встречаешь элегантных прохожих, много крикливых мальчишек и на редкость невкусная еда в кафе, выплеснувшихся на тротуары.

Стал просматривать письма, которые писал домой, и почувствовал, как изменился сам: деловые интересы перестали превалировать, человеческих привязанностей стало меньше, и пришлось пойти на разрыв со многим, что было дорого. Идиллии заканчивались, конфликтов возникало все больше, и постепенно я оказался в положении одиночки в собственном стане.

А тогда, в 80-е годы, меня еще завораживал Париж, особенно притягивал дом под номером 12 на авеню Виктора Гюго. Там жила Ирэн Льеву, с ней подружился взахлеб, она умела притягивать к себе. Встреча с ней была и радостью, и уроком.

Она родилась в 1923 году в Марселе в русской семье, бежавшей от большевиков. С тех давних лет полюбила цвета юга. Ей нравились старые, маленькие отели с зелеными жалюзи, роскошные цветы. Дом ее был изысканный, безупречного вкуса: картины русских художников, красное дерево, старинный русский фарфор, библиотека, сказочной красоты спальня, длинные уютные коридоры, и всюду – Россия, хотя в ней она была туристом один или два раза.

Я познакомил Ирэн с Мариной Нееловой, которая в 90-е годы жила в Париже, приезжая в Москву только играть спектакли, и Марина влюбилась в Ирэн. Ее муж, Серж Льеву, богатый человек, во всем потакал причу-

дам жены. У этой удивительной женщины как будто находился внутри свой цензор, и она хваталась за ножницы, когда речь заходила не только об общих знакомых, но и о давно рассекреченных историях. После ее смерти в 1997 году Париж для меня что-то безвозвратно утратил.

Помню, как рассказывал Ирине Барметовой об Ирэн, о тех людях, с которыми встречался в Париже, в Нью-Йорке, где прожил почти два года, и она посоветовала мне найти время и написать об этом. Сразу подумалось, что писать о своих зарубежных поездках – это сужать прожитую жизнь. Я люблю Москву не только потому, что чувствую себя русским человеком, хотя по национальности я еврей. Я застал страшное время антисемитизма, открытого, государственного, я в те годы заканчивал университет и помню, сколько было людей, молчавших, но возмущенных политикой Сталина. Москва тех страшных лет была для меня неотделима от искусства, от силы воображения. Хотя конец сороковых и начало пятидесятых были трудной эпохой для театра, именно в те годы я видел во МХАТе «Дядю Ваню» с гениальным Добронравовым в главной роли и Тарасовой – Еленой Сергеевной. Тарасова тогда была кумиром театральной Москвы, она была первая актриса не только МХАТа, но и всей страны. Ее роли в кинофильмах «Петр Первый» и «Без вины виноватые» имели огромный успех. В «Дяде Ване» я видел Кторову, он играл Серебрякова, и жену Качалова, Нину Николаевну Литовцеву, в роли Войницкой. Теперь я не могу заставить себя пойти посмотреть «Дядю Ваню» в сегодняшнем МХАТе имени Чехова. Мне мешают то острое впечатление, оно живет во мне, хотя прекрасно понимаю, что изменились жизнь, сознание людей, эпоха.

Много позже, уже в конце 80-х, я написал статью о Кторове. Первый отклик был самый неожиданный, я получил письмо от самого Ивана Семеновича Козловского, великого тенора Большого театра. Позволю себе процитировать его:

«Дорогой Виталий Яковлевич!

Спасибо вам за поучительную повесть об А.П.Кторове. Сейчас только прочитали всей семьей, и наступила горестная тишина от той великой жестокой правды, которую Вы излагаете. Поучительности моего было и есть, и все же какая недосказанность в таких людях...

Как Вы высветили образ великого труженика Кторов! Вы приводите фамилию Б. Ливанова в добром описании его поступка, а вспомните его мучения, слезы, его трагедию, связанную с работой в театре...

Возникает вопрос – что порождает трагедию? И главное – как ее предупредить? Вы пишете: «...то, что называлось тогда МХАТом и катилось вниз без всяких нравственных тормозов» – страшно это читать, но еще страшнее ощущать.

Вашу статью прочитали 26-го июля, а 23-го должна была быть съемка у нас на даче в Снегирах. Речь должна была идти о Михоэлсе, но в моем маленьком сценарии стоят имена Москвина, Массальского, Тарасовой и одним из первых – Кторов.

Значит, что-то необходимое носится по высокому камертону, и это необходимое начинает нивелироваться... И имя этому – добрая память, без которой мы не могли бы существовать ни сегодня, ни завтра. Кто видел в 20-е годы В.Н. Попову в филиале Большого театра – «Обрыв», – тот на всю жизнь оценил ее поэтический дар, лирический драматизм сути ее человечности. Это забываемо. Это тема для легенд.

Ваша статья прозвучала в крайне важное время. Спасибо Вам за Ваш труд, высоко достойный и крайне важный.

P.S. Падение нравов я ощущаю еще и в том, что А. Степанова обещала книгу о ней и мне, и музыкальной школе в моем селе. Без удара Иван Семенович не может обойтись...

С уважением Иван Козловский. 30 июля 1989 года. Снегири».

Уже когда я кончил писать воспоминания и опубликовал их в журнале «Октябрь» и после того как вышла в 2003 году книга «Серебряный шар

(Драмы за сценой. Преодоление себя)», я понял, что «за сценой» осталось очень много материала, ненаписанного, неиспользованного, и захотелось заставить себя, не вспоминая пережитых обид и поднявшись над былыми распрями, написать о том, как дала трещину прежняя гармония искусства и времени. Страсть к разрывам никогда не манила меня, но на глазах произошла «тихая революция» – культура сдала свои позиции.

Вот только что прошли гастроли балета Большого театра в Лондоне. Провал балета «Ромео и Джульетта» в постановке молодого румынского балетмейстера Раду Поклитару можно было предположить: Джульетта, похожая на девочку из дискотеки, отсутствие конфликта Монтекки – Капулетти, примитивный язык привели к погромным статьям в лондонской прессе и заключению о том, что в репертуаре Большого сегодня нет спектаклей на экспорт. Впервые за всю историю балет Большого был разгромлен. Кажется, только один «Спартак» Хачатуряна-Григоровича имел успех, но этот спектакль идет 36 лет и никто в Большом и не подумал пригласить великого хореографа «почистить» балет.

На сцену МХАТа, в новую постановку «Вишневого сада», на роль Раневской, которую играла на этой сцене Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, была приглашена неактриса Рената Литвинова, не умеющая ни разговаривать, ни двигаться, а приглашенный из Питера артист, играющий Гаева, был похож на персонажа из фольклорного еврейского ансамбля.

«Гроза» в «Современнике» теперь называется «Гроза», буква «о» зачеркнута, и над ней поставлена буква «а». Талантливый спектакль Нины Чусовой по мотивам гениальной пьесы Островского к автору имеет очень мало отношения. Рената Литвинова, героиня всех модных глянцевого журналов, в интервью предъявляла много претензий к Чехову, она, оказывается, совсем не согласна с идеями чеховской пьесы. Возникла новая «универсальная» система антикультуры, не имеющая никакого отношения к культуре как таковой. Московское правительство с согласия руководства МХАТа готовится установить памятник Станиславскому, о Немировиче-Данченко речи нет, хотя весь двадцатый век всему миру было известно, что прославленный некогда Художественный театр был создан двумя режиссерами, двумя руководителями, работавшими сорок один год вместе. Переписывается история культуры, и только небольшой круг старшего поколения слышит ее глухой голос. Воссоздание прошлых лет и долг перед настоящим – моральные предпосылки Времени. Проза неотменяемых новых жизненных обстоятельств заставляет и осознать нашу эпоху, и позаботиться о том, чтобы забытый мир прекрасного вновь поманил к себе.

Весь дерзкий мятеж попы исчерпывается на глазах, может быть, потому захотелось разжечь или хотя бы сохранить душевные силы на жизнь в новых обстоятельствах.

Среди тех, кто помогает их сохранить, оберегая мир прекрасного от забвения, – «Октябрь», старейший и вечно молодой российский журнал.



*При известии о том, что кому-то стукнуло восемьдесят, испытываешь злорадство: слава Богу, не тебе. Цифра 80 ужасает. Кажется, что у человека, перевалившего за восемьдесят, ничего не осталось впереди. Можно ли то же сказать о журнале? Что получилось бы, если бы существовала демография периодических изданий? Средняя продолжительность жизни, длительность детородного периода... Можно было бы даже, по известным правилам, начертить возрастную пирамиду российских литературных журналов. Тогда оказалось бы, что острие пирамиды (80 и старше) венчает чуть ли не единственный «Октябрь». Итак, поздравим Мафусаила! Завидное долголетие. Бойцы вспоминают минувшие дни. Такой уж сегодня день. К счастью, то, что говорится о людях, не всегда годится для журналов. И, может быть, восемь десятков – все еще юность. Кто знает?*

## Литературный музей

ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ

**А**нгел Истории («Angelus Novus», картина Пауля Клее, 1910).  
«Изображен ангел, у которого такой вид, словно он хочет отстраниться от чего-то, к чему прикован его взгляд. Его глаза выпучены, рот приоткрыт, крылья распахнуты. Должно быть, так выглядит ангел Истории. Свой лик он обратил к прошлому. Там, где нам представляется цепь случайных происшествий, он зрит одну непрерывную катастрофу, безостановочное нагромождение развалин, которые она швыряет к его ногам. Ему хочется крикнуть: «Остановись!», разбудить мертвых, восстановить то, что разбито вдребезги. Но ветер бури несется из рая с такой силой, что ангел не может сложить свои вздыбленные крылья. Буря гонит его в будущее, к которому он повернулся спиной, – лицом к горе обломков, что растет до неба. Этот ветер и есть то, что мы называем прогрессом» (Вальтер Беньямин).

Гигантская тень неизбежного прошлого накрыла нас. Нам холодно. Солнце истории больше не светит на нас.

Вместо солнца – мутный зрак государства.

Вопрос – кто ты и что ты перед лицом истории.

Никто и ничто; нуль.

Моя жизнь была перерублена трижды: когда началась война, когда я был арестован и когда пришлось эмигрировать.

Оптимистическое чувство истории у Пастернака, который оставался советским поэтом, сменилось скептическим и трагическим у абсолютно несоветских поэтов Мандельштама и Ахматовой. Я бы рискнул назвать Пастернака – единственного из великих поэтов – дачным поэтом. Подобно дачной природе существует и дачное мировоззрение. Он не сельский и не городской, не идилический и не трагический – он дачный.

Христианский (или якобы христианский) взгляд на историю приводит его к какому-то оптимистическому фатализму, отсюда странный замысел «Доктора Живаго», как он изложен в письме Спендеру 1959 года: «В романе делается попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносщееся вдохновение, как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла самое себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий».

Поразительные слова. Романтизм худшего сорта. Это написано после Освенцима, после советских концлагерей, после двух мировых войн, бессмысленных разрушений и гибели многих миллионов людей. Вот чем вдохновилась действительность. Вот что она сочинила.

Время перемешивает правду с ложью, чтобы заляпать окна истории этой мутной жижей.

Хаос гипнотизирует, тянет в него погрузиться. Хаос освобождает от дисциплины и традиции, обещая неслыханную свободу. Соблазн передать хаос адекватными хаосу средствами. В этом заключается небывалое очарование беспорядка.

Преодолеть хаос дисциплиной языка, мужеством мысли, точностью, краткостью, концентрацией. Не обольщаться иллюзией, будто в самой жизни можно отыскать некий порядок, но внести порядок в сумятицу жизни. *Мы не имеем права писать хаотически.*

В Москве я слышал, видел, обонял язык, на котором уже не говорю. Слова-окурки, язык, пахнущий выгребной ямой. Сумел бы я воспользоваться художественными возможностями языка люмпенизированного общества, если бы остался в России? Вопрос. Я житель острова, который стремительно опускается на дно. Разумеется, на смену умирающей культуре идет другая, но ей потребуется еще много лет, чтобы созреть.

Говорок, нарочито лохматая речь казались самой естественной, самой нелитературной формой выражения, а теперь воспринимаются как литературщина. Нужно возвращаться к объективности, только теперь это будет идиотическая (пародийная) объективность – единственно возможная точка зрения в романе. Нечто вроде четвертого лица глагола.

Задуматься снова: можно ли – если это вообще возможно – отказаться от повествовательности, то есть от упорядоченной прозы? Литература есть «материализованное сознание», не так ли? Но поток сознания сам стремится упорядочить себя, есть внутренние регуляторы, существует *сознание сознания*. Действовать так, как будто Время и Пространство суть в самом деле категории ума (изобретения художника). Отсюда легитимность литературы, понимающей себя как средство обуздать хаос души. Укротить хаос жизни – значит, укротить хаос в собственной душе. Стиль – мораль художника. Шагай вперед, не оглядываясь, – ничего другого не остается.

В конце концов я должен был сознаться, что меня интересует только литература, что жизнь имеет для меня ценность в той мере, в какой она может стать сырьем для литературы. Поэзия, сказал Жан-Поль, не хлеб, а вино жизни. Может, так и было когда-то. Сейчас поэзия (литература) – это хлеб и вода. Жить в литературе, как живут в лесу, колоть дрова, растапливать печку.

Мне стукнуло столько-то, я думал о своей работе. Я не сумел создать роман-синтез, роман – итог и диагноз нашего времени, роман, в котором дух этого времени выразил бы себя с наивозможной полнотой. Сумел создать фразу, абзац, от силы – главу. Подняться на следующий уровень не хватило силенок и времени. Причина в том, что я не люблю свое время. (Или, что то же, время не любит меня.) То, что я написал, имеет вид законченных вещей.



Но если всмотреться – нагромождение обломков. Я не создал себе читателя в России. (Это было бы невозможно.) У меня есть или были разрозненные почитатели, дальше этого не пошло.

Я чувствую себя, как барышня, которая долго готовилась к танцевальному вечеру, раздумывала над каждой мелочью своего наряда, и вот она стоит у стены среди музыки и света, и никто к ней не подошел.

Моя проза – это *poste restante*, корреспонденция до востребования, за которой никто не пришел.

Надо стараться жить не в обществе и подальше от своего народа.

Надо жить не только в настоящем. Будущее рождается не из настоящего, оно рождается из прошлого.

«Друг мой, неустанно повторяй себе самому: жизнь коротка, и лишь творение искусства обладает подлинным существованием. Критика умирает, поколения уходят в небытие, меняются философские системы, но, если однажды мир сгорит, как клочок бумаги, последней живой искрой, улетающей в Дом Бога, будет произведение искусства – и лишь после этого наступит мрак» (*Картинка Шлегель – А.В.Шлегелю, 1801 г.*).

Да, но все-таки: что отстанется? Останется ли что-нибудь? *Vita mortuorum in memoria est vivorum* – фраза Цицерона из учебников. Но «память живых» – как искра на фитиле погасшей свечи: еще мгновение – и погаснет. С последним человеком, который кого-то – что-то – смутно помнит, исчезнет и вся память.

Фрагмент (от *frango*, ломаю) есть обломок чего-то; нечто случайное, начатое и брошенное. Но вот появилась эстетика фрагмента, стилистика фрагмента, наконец, филология и даже философия фрагмента.

Я писал о русском языке, о немецком, возражал против славословий Бродского английскому как самому совершенному инструменту мысли (почему не греческий? См. классическую книгу Ж.Вандриеса. Почему не японский?). И вот Чоран: французский язык – «смесь крахмальной сорочки со смирительной рубашкой».

Английский и французский – это *честные* языки; по-русски можно вилять, уклоняться от ответа, не говорить ни да, ни нет, ухмыляться и быть вечно себе на уме.

Мы не можем пересоздавать язык, который течет мимо нас, как вечная и никому не подвластная река, между тем как мы сидим на берегу, удим рыбку или зачерпываем воду горстями, чтобы совершить омовение; но ведь и твердый берег был когда-то текучей стихией; мы сидим на этих окаменелостях языка, голыми ступнями болтая в воде. Мы не можем пересоздавать язык. Но портить язык, плевать в язык, гадить в этот поток мы можем, что и происходит каждодневно в эпоху газет и телевидения, в царстве журнализма. Остается лишь верить в постепенное, со временем, самоочищение языка наподобие известного процесса самоочищения рек.

Считалось, что хороший писатель – тот, кто хорошо пишет. Чтобы мыслям было просторно, словам тесно. Но возникло предположение, что писать хорошо необязательно. И что это вообще означает – писать хорошо? Оказалось, что можно быть писателем, даже не зная как следует родной язык. Не говоря уже об орфографии. Странная черта поколения, где не так уж мало посвоему одаренных людей.

Борьба с чистотой языка: сознательная у критиков, полусознательная у писателей, бессознательная у читателей.

Язык, говоришь ты... Набоков, при всей его любви к поэзе, все же не кокетничал, сказав, что его язык – замороженная клубника. Почти каждый писатель-эмигрант, и большой, и маленький, живет в иноязычной среде. Оттого он тяготеет к консервации привезенного языка. Волей-неволей он становится пуристом, и его читатели (если вообще находятся читатели) получают от него пищу, так сказать, из банок. Ему кажется, что на родине его родной язык – который там не хранится, как у него, в холодильнике – портится, разлагается, вульгаризуется, опошляется. Так было со старой эмиграцией. Происходит ли то же и с новой?

Русский писатель – не тот, кто обязан прославлять родину, русский писатель – тот, кто отстаивает, *coûte que coûte*, достоинство русского языка.

Virus de la prose, le style poétique la désarticule et la ruine; une prose poétique est une prose malade. («Поэтический стиль, этот вирус прозы, расчленяет и разрушает ее; поэтическая проза есть проза больная». *Чоран*. Соблазн существовать. 1956.) Поразительно, что Бродский считал никуда негодную прозу Цветаевой лучшей русской прозой XX века.

Поэтический шовинизм: Иосиф с удовольствием повторяет, что проза есть некая второсортная словесность по сравнению со стихом. Поэзия древнее прозы. Поэзия, сказал Пастернак, – это скоропись мысли. Чоран приводит древнее (чуть ли не мексиканское до Колумба) изречение: поэзия – это ветер из обители богов.

Но я бы не стал настаивать на том, что поэзия – нечто скоростное, вроде авиалайнера, в сравнении с прозой, длинным, медленно постукивающим железнодорожным составом. Дело в том, что самое понятие быстроты и краткости в прозе – иное, чем в поэзии. Другие критерии. Это вообще две литературных вселенных, с разной метрикой и разной степенью кривизны пространства. Не зря поэты чаще всего плохо справляются с прозой, хотя проза, казалось бы, освобождает от многих ограничений, от стиховой конвенциональности, от корсета. Кажущаяся, после рифмы и классического размера, свобода прозы обманчива. На проверку выясняется, что внутренние скрепы прозы не менее жестки, дисциплина прозы такая же суровая, концентрация – в количественном выражении другая, но качественно не уступает поэтической. Музыкальные законы прозы тоньше, сложнее, неуловимей, чем пресловутая музыкальность поэтического слова. Многословная проза так же тягостна, как водянистые стихи. (По поводу того, что М.Х. перешел от прозы к стихам. Чаще бывает наоборот: начинают со стихов, с купания в ручейке, а уж потом погружаются в море прозы.)

У прозы больше общего с музыкой (законы композиции, параллелизм жанров), чем у поэзии.

*Документальная литература.* Роман по-своему отвечает на тенденцию вытеснить fiction «человеческим документом», он выворачивает это противопоставление наизнанку. Роман – это талантливая пародия на бездарную действительность. Роман имитирует (или пародирует) письма, дневники, записки, и они оказываются убедительней всякого подлинника. Впрочем, это не новость, два самых знаменитых эпистолярных романа XVIII века – «Опасные связи» и «Вертер». В двадцатом веке «Мартовские иды» Т. Уайлдера, где все документы, за исключением стихов Катутла, – изобретение автора, и, конечно, роман Маргерит Юрсенар «Воспоминания Адриана», императора, не писавшего никаких воспоминаний.

Во сне можно пережить состояние утраты своего «я», оставаясь кем-то или чем-то мыслящим и видящим. Ты очутился в странном мире, но он не кажется странным, ты действуешь в согласии с его абсурдной логикой, замечаешь множество подробностей, но сознание своей личности отсутствует. Центр, ведущий этим сознанием, отключен. Кажется невозможным лишиться «самости»,

сохранив все ее способности, – и вот, пожалуйста. Это то же самое, что увидеть мир после своей смерти: он тот же – и неизменно изменился.

После второго обыска, когда отняли роман, я попал в больницу, меня положили на операционный стол. Дали наркоз, и я впал в состояние, называемое клинической смертью. Мне вкачали огромную дозу кортикостероидов.

И вот – ничего похожего на то, что описывал Moody; никакой *vita post mortem*. Когда отказало тело, испарилась и душа. Я ничего не чувствовал, время исчезло, меня не было.

Августин говорит, что он не знает, что такое *время*. Но можно представить себе, что такое отсутствие времени. Время ничего не значит для мертвых, они находятся в области, где времени нет. Умереть, собственно, и значит освободиться от времени.

Надоевшие толкования «Смерти в Венеции»: умирание культуры, исчерпанность культурной эпохи и так далее. Эх, разве в этом дело! Выдержка, самообладание, мужество, дисциплина – качества, которых требует от писателя его профессия; и как эти стены и контрфорсы рушатся перед видением смертоносной красоты, под натиском противозаконной страсти.

Смехотворность рассуждений о том, что литература что-то там заимствует у тривиальной литературы, напр., детективные сюжеты и т.п. Дело обстоит как раз наоборот: тривиальная литература паразитирует на классиках. Использует ее открытия, перешивает мантию короля для камердинера. Но значение тривиальной словесности в том, что она развешивает флажки: дальше не ходить, дальше угодя пошлости.

Вообразите смешанный хор, мужской и женский, который ревет в сто глоток на музыку Шостаковича из кинофильма «Падение Берлина»: «Черчиллю слава, навеки, навеки!..»

Хор породистых собак (грамзапись): «Смело, товарищи, в ногу!»

Стоит и смотрит на уходящий поезд. Кругом толчея на перроне: вот-вот подойдет новый состав. Это, конечно, слишком поэтическая картина. На самом деле мы проводили редкую по своей гнусности, состарившуюся до неприличия эпоху. И остались стоять на перроне.

Это была такая же вонючая старость, как та, о которой Блок писал Розанову. Но старое царство простояло как-никак тысячу лет. Советская власть успела одряхлеть менее чем за три четверти века. Тоталитарные государства недолговечны, так как представляют собой нечто окончательно достигнутое и рекомендуют себя в качестве таковых. «Самая счастливая страна на Земле». «Где осуществились вековые чаяния». «Ликвидирована эксплуатация человека человеком». «Я другой такой страны не знаю». Думали, что режим из мрамора. На самом деле он был из чугуна, самого твердого и самого нековкого материала. Этот материал хрупок. Постукивание молотком, попытки реформировать смертельно опасны. Горшок расколется. Вдруг, невероятно быстро, режим, провозгласивший себя вечной молодостью мира, впал в старческий маразм, так что не было даже надобности воевать с ним. Никто и не собирался воевать. Он повалился сам собой.

Это верно, что я другой такой страны не знаю. Сент-Экзюпери, теперь уже почти забытый, писал, что его не интересует политический строй, его интересует тип человека, создаваемый этим строем. Уникальная черта советского режима была та, что он умел с изумительной точностью проявлять, как на фотобумаге, худшие черты человеческой природы. Растил и холил лень, трусость, предательство, лицемерие, двоедушные, ханжество. Так возник экземпляр, называемый советским человеком.

Знали бы вы, что это за чувство, когда всё вокруг – лица прохожих, чиновники учреждений и даже окна домов, – всё твердит: катись отсюда, ты здесь не нужен.

Злодейская страна повернулась широким крупом, уперлась передними копытами и лягнула задними, так что мы отлетели на тысячу верст и очутились на другой земле.

О пропавших книгах вспоминаешь, как об умерших друзьях. Почти все осталось в Москве, разошлось по рукам или попросту погибло. Считалось, что «старые книги» (изданные больше пяти лет назад) брать с собой не дадут. В аэропорту «Шереметьево-2» раздевали догола. Женщин подвергали гинекологическому осмотру. Нравы и обычаи этой страны неотличимы от преступлений. Закон представляет собой свод инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Права сведены к формуле: положено – не положено.

Я закрываю глаза и вижу, как на черном экране, страну, где говорят на моем родном языке, я вижу лагерь, далекие леса, слышу стук колес и голоса женщин, голоса близких, безмолвные голоса твердят мне что-то, чего я не могу понять, словно вижу немой фильм. Это – писатель в изгнании. Давно уже страна, где я теперь живу, стала домом, давно стало ясно, что изгнанием и неволей была для меня моя родина. А все же...

Изгнание – это не наша приватная тема, твоя или моя. Это сюжет XX века.

Принимая во внимание, что это была за страна, – нужно гордиться тем, что тебя выгнали вон.

Тебя изгнали, чтобы ты остался тем, чем ты не мог быть в России: русским писателем.

*Сон.* Что-то происходит с компьютером. Он сам включился, треск, шорох, из него лезет нарезанная узкими полосками, как лапша, бумага. Это мои сочинения, которые он истребляет и изрыгает. Что делать: выключить? Подождать, пока все выйдет? Наконец он успокаивается.

«Wir sind dem Aufwachen nah, wenn wir träumen, dass wir träumen». (Мы близки к пробуждению, когда нам снится, что мы видим сон. *Новалис.*)

*К новейшей истории нищенства.* Сбор подаяний по Интернету оказался исключительно эффективным, но, к сожалению, ненадолго. Широко распространившись, метод дискредитировал себя. Образовались объединения дигитального попрошайничества, а там и фирмы-посредники, пользование сервером вздорожало, система обросла бюрократией и, подобно рекламной индустрии, стала самоцелью, то есть способом дать работу обслуживающему персоналу. А нищий, как сидел на тротуаре, так и сидит.

Вошел в комнату, где в углу стояли огненные часы, которые отличались от обычных огненных часов только тем, что время показывали не градуированные урны с пеплом, а живые языки пламени.

Вошел в часовую мастерскую, где висели и стояли часы без циферблатов, часы без стрелок и часы вообще без всего: одно голое время.

Вошел в мастерскую, которая сама представляла собой огромные часы; и не заметил, что оказался внутри механизма.

Ужасное зрелище: все готово, великолепная узорная паутина готова, а паука нет. Весь израсходовался.

У писателя нет личности.

...И моя жизнь представилась мне маятником, чье унылое и безостановочное качание таило какую-то угрозу; жизнь качалась передо мной, как огромный маятник над горизонтом, который удлинялся и укорачивался, возможно, оттого, что был повернут к моему взору под некоторым углом; думая об этом, я заметил, что моя мысль перестает меня слушаться; не я ее мыслил,

она – меня; кто-то другой рассуждал за меня и внушал мне мысли и образы; глядя на маятник, я испытывал все то же чувство отделившейся от меня, хотя и собственной моей жизни; она примеряла меня так и сяк, приближаясь вплотную и удаляясь, и как будто жалела о своем выборе.

Я дружил с хозяином замечательного, пушистого и очень солидного кота, которого полагалось называть по имени и отчеству; кота звали Феликс Эдмундович. Но моя нелюбовь к нему, нелюбовь к кошкам вообще объясняется не этими именами.

В фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» у пса имя и отчество Берии.

– Лаврентий Павлович готов?

– Готов!

– Выпускай.

Огромный страховидный кобель выскакивает из укрытия, и мусора<sup>2</sup> драпают от него.

В большом зале все лежат вповалку под одеялами, он оказался под одним одеялом с неизвестной женщиной и даже не знает, как она выглядит, придвигается к ней, оказывается, что на ней нет рубашки, ничего нет, он находит ее груди, не груди даже, а маленькие, острые и мягкие бугорки; наконец, она делает необходимый жест, и таким образом он получает удовлетворение. Утро, он должен все скрыть от своей жены, вон она там стоит, но оказывается, что это не она (то и не то, вечный мотив сна), только издали и по одежде он принял ее за жену; это одинокая женщина с сильно накрашенным, кирпичным лицом, в кожаной куртке, на него – никакого внимания. Пора уезжать из этого общезжития или, может быть, дома отдыха; он ищет на большой, переполненной вешалке, не может найти, не помнит даже, вешал ли он сюда свое пальто.

Infelix in Ruthenia natus. Le malheur d'être né en Russie. Ein Unglück, in Rußland geboren zu sein. Несчастье родиться в России.

Так-то оно так.

Но вот режим рухнул, а несчастье жить осталось.

Несчастье или счастье родиться. Несчастье провести юность в заключении – или, пожалуй, счастье (все-таки не в старости). Несчастье быть эмигрантом – или счастье? Несчастье – быть писателем.

Я пишу, не рассчитывая, что кто-нибудь меня прочтет, я пишу для себя. Возможно, я один из тех, о ком здесь идет речь, но пишу отнюдь не от имени других. Другие – сколько их рассеялось по свету? – написали бы, возможно, совсем другое.

«Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз» (Ахматова). О нас спохватятся, когда мы умрем.

«Erst auf seinen Tod warten zu müssen, um leben zu dürfen, ist doch ein rechtes ontologisches Kunststück». (Дождаться смерти, чтобы получить право жить, – какой все-таки забавный онтологический трюк. Музиль.)

Роман не создается по плану, не строится, как дом, – или, если строится, то по методу, изобретенному в Великой академии Лагадо: начать с крыши, закончить фундаментом.

Роман растет, как дерево, раскидывая ветви, теряя нижние, выбрасывая новые, и оттого не может быть написан быстро.

Марксизм-ленинизм, теология умершего бога. Астрология вымышленных планет. Зоология химер.

Теология как экспериментальная наука.

Тот, кто намерен спасти мир, должен погибнуть, ибо мир не хочет быть спасенным.

Письма Флобера: всякий раз, когда охватывает отчаяние, когда говоришь себе: какого хрена? кому все это нужно? – всякий раз – открой письма Флобера, они тебя утешат.

Письма Флобера: Священное Писание Литературы. Если бы я принимал вступительные экзамены в каком-нибудь Литературном институте, то первым делом спрашивал бы: читал переписку Флобера? Не читал. Приходи в следующем году.

Ты думаешь: да пропади вы все пропадом! Какое мне дело до ваших бед, вашей грязи? А ты – уж коли родился там, никуда от России не денешься.

Музыка дает постигнуть нечто в жизни, прожитой там, – нечто такое, чего никак иначе я понять не могу. Я чувствую, что классики русской музыки нас обманывали, они пели нам о стране, которой не существует и, может статься, не существовало никогда; и только Шостакович дает почувствовать, где мы жили на самом деле, среди какого народа, под игом какой власти. Этот примерный член партии, народный артист и прочая, и прочая, подписывавший постыдные статьи, был единственный, кто сказал о полицейской цивилизации так, как надо было о ней сказать.

Ритм русского танца в финале 3-й симфонии Брукнера.

Густав Малер: пролог к чудовищному веку.

Шостакович: *сам этот век.*

«Не стремись поучать читателя, мы сочли бы свои усилия полностью вознагражденными, если бы нам удалось убедить его заняться тем, в чем мы преуспели: тренировкой способности смеяться над собой» (*Г.Башляр*).

«То, о чем я собираюсь сказать, может быть, покажется несущественным и смешным, но я все-таки выскажу свою мысль, хотя бы для того, чтобы вы посмеялись» (*Тацит. Диалог об ораторах, 39*).

Почему в моей прозе так часто все происходит «на грани сна и яви»? Потому что такова природа психики, наша природа: мы *всегда* на грани. «Действительность», но с неизбежной примесью воспоминаний и фантазий, с каплей бреда.

«Честный труд – путь к досрочному освобождению», повесть-сказка для детей младшего школьного возраста. Детгиз, 1953 год.

Глава VI. Что сказал Васе начальник лагпункта.

Вася мечтает, когда вырастет, стать проводником служебно-розыскной собаки.

И вместе с тем никто как будто даже не подозревал, что занавес вот-вот опустится над тысячелетней империей. Советская власть, коммунизм и пр. будут выглядеть лишь как краткий эпилог Российской империи, как последняя – и удавшаяся – попытка оттянуть ее крах. Две мировых войны в будущем историописании окажутся одной Мировой войной, вроде Тридцатилетней или Столетней, которые тоже шли с перерывами. Этот перерыв, для нас такой важный, будет выглядеть как коротенький антракт между двумя актами пьесы.

Я думал о том, что эпос, великая эпическая поэма могла бы вместить в себя нашу страну и нашу жизнь, могла быть единственной адекватной формой для выражения того, чем была наша история и география; но такая поэма не будет написана, «умчался век эпических поэм», точно так же, как прошла эпоха монструозных государств. Поистине Четвертому Риму не бывать. Жители Первого в V веке тоже не подозревали, что их Риму крышка.

Эпоха великих империй прошла, как прошло время великих эпических поэм, – и, может быть, *потому* прошла, что прошло время эпических поэм.

Наш язык, по типу своему архаический, сохранивший черты древних языков, утратил их лаконизм и перевел потенциальную энергию в кинетическую:

это язык, который непрерывно размахивает руками вместо того, чтобы ограничиться движением бровей.

Особое семейство слов – как таковое, неизвестное в других языках:

Осколки, обломки, отломки, обрубки, очистки, опилки, объедки, огрызки, опивки, обглодки, ошметки, огарки, обмылки, очески, обноски, обрезки, остатки, останки, обрывки, окурки, охулки, ошибки, описки, ощипки, обсевки, обойки, обжимки, обжинки (несжатые колоски), обмолотки, обмолвки, ошурки (выжарки сала), обмои (оглобли сохи). Сюда же: опорки, оборки, опенки, отростки, огузки, отруби. Сюда же: отребье, отрепье, охряпье (старый хлам), отродье, охвостье. Звучит, как стихи.

Отходы чего-то. Превосходная коллекция слов, описывающая замусоренную страну.

Если существует высший Разум, это должен быть шизофрентный разум.

Если можно говорить о «задаче» романа, то это – сотворение мифа о жизни. Такой миф обладает, конечно, известным жизнеподобием, свой конкретный материал он черпает из общедоступной действительности (вернее, из кладовых памяти), но это лишь материал, из которого воздвигается нечто относящееся к реальной жизни приблизительно так, как классический миф и фольклор относятся к истории. В художественной прозе есть некоторая автономная система координат, как бы сверхсюжет, внутри которого организуется и развивается сюжет, напоминающий историю «из жизни». В рамках литературной действительности миф преподносится как истина, но на самом деле это игра. Игра – это и есть истина. Истинный в художественном смысле, миф освобожден от претензий на абсолютную философскую или религиозную истинность и, следовательно, радикально обезврежен.

Нужно отдать себе отчет в том, что литературное творчество не есть «путь к Богу». Великие книги настояны на сомнениях и невзгодах, темных страстях и отчаянии. И вообще – что может быть ужаснее православного романиста?

Искусство – это езда мимо всего к неведомой и недостижимой цели.

Письмо Музиля 1931 г.:

«Человек без свойств – человек, в котором встретились лучшие элементы времени, встретились, но не обрели синтеза, человек, не умеющий избрать одну определенную точку зрения; он может только пытаться справиться с ними, приняв их к сведению».

Мы можем *mutatis mutandis* отнести это к роману вообще.

В искусстве, как в математике, есть представление о пределе. Этот предел – самоуничтожение; род сублимации, вроде физической возгонки. Абсолютная литература – это литература без читателей, вроде того, что говорит Леверкюн о музыке в беседе с другом: такая музыка существует как чистая структура, ее нет надобности исполнять.

Банальность точки зрения – главная особенность прозы нашего пророка. Это взгляд обыденного сознания, это его тривиальная правдивость: мир, видимый сквозь оконное стекло. Банальность надо замаскировать вычурностью языка и т.п. Изменил литературе не потому, что выбрал не ту идеологию, какую надо, а потому, что въехал в царство банальностей.

«Двести лет вместе». Он уверен, что действует по справедливости, воздавая обеим сторонам (и предварительно придумав, что они противостоят друг другу), требуя признания обоюдной вины. Разделить «вину» между русскими и евреями «поровну». То есть: полконя – полрябчика.

Он думал, что «коллективная вина» народа или общества – это правильно, что так и должно быть. На самом деле принцип коллективной вины и коллективного воздаяния – ложный, если не безнравственный. Вина и ответствен-

ность индивидуальны. Я не отвечаю за злодеяния Гитлера, если я немец, за злодеяния Сталина, если я грузин. Я отвечаю за мои собственные злодеяния.

Национализм, не желающий помнить об Освенциме.

Религиозность, похожая на катаракту.

Сон патриота. Все евреи собрались и хором: мы ужасные, мы хитрые, мы распяли Христа, продали Россию, устроили революцию, убили царя, хотим покаяться. Просыпается и видит, что ничего не изменилось.

«Коренная нация» – это не от слова «корень», а от слова «коренник»: средняя лошадь в тройке, в оглоблях, а по бокам пристяжные. Она-то и «поворачивает оглобли», когда надо свернуть с дороги.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая?..

Я знал старуху, которая писала в письмах «слава Богу» через дробь: с/б.

Суть литературы, я думаю, в том, что она превращает любое «содержание» в форму; не Бог вещь какая новая мысль, но ее приходится повторять. Литература превращает все что угодно: политику, историю, религию, – в средство. Релятивирует любые точки зрения и любые верования. Можно было бы сказать, что она относится ко всем этим важным вещам так, как женщины относятся к разговорам на серьезные темы: их больше занимает, кто говорит, и как говорит, и какие чувства он при этом выражает, чем сами идеи и мнения. В мире литературы за теориями и вероисповеданиями стоит нечто неуловимое – жизнь. В этом заключается ее принципиальная безответственность: литература подотчетна только самой себе.

Писателя, как и человека науки, можно впрячь в телегу, посадить за руль; подобно науке, литература может оказаться и нужной, и даже полезной; ну и что? Совершенно так же, как адекватное рассмотрение научных достижений возможно только в терминах самой науки, условием адекватного рассмотрения литературных явлений должно быть признание автономности литературы. А там – можете вычитывать из нее что угодно.

Желая восстановить справедливость, Нобелевский комитет присуждает премии классикам. В этом году рассматривались кандидатуры Горация, Шекспира и русского поэта Михаила Лермонтова. Премию получил Гораций, что отражает консервативные вкусы членов комитета. В прошлом году был забаллотирован Джойс, из-за темноты и пристрастия к непристойностям. Отклонена кандидатура Толстого: обкакал церковь. В конце концов академики увязли в дискуссии по вопросу о том, кого считать классиком.

Русский литературный Интернет переживает пубертатный период. Взрослые люди, которые притворяются недорослями, шикарно выражаются, лихо сплевывают. Критика недорослей. Публицистика недорослей. Творчество девиц, у которых только что начались месячные.

Несколько десятилетий литературной работы оставили чувство никчемности, ненужности своей работы. *Que diable allait-il faire dans cette galère?* (За каким лешим его понесло на эту галерею?)

«Лучше бы ты, Розанов, булками торговал».

«Не писав, летящи дни века проводити, лучше уж...» (*Кантэмиф*). Но если не писать – помрешь от тоски.

(Продолжение следует.)





# Шелковый путь поэзии

ЭССЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

**В** июне этого года состоялся международный поэтический фестиваль, задуманный главным редактором Ириной Барметовой и организованный журналом «Октябрь». Свой путь фестиваль начал в Одессе, затем было прекрасное путешествие по Черному морю на пароле «Грейфсвальд», который доставил российских и украинских поэтов в Потти и Батуми.

Название «Шелковый путь поэзии» было выбрано не случайно. Именно по акватории Черного моря проходили старинные торговые маршруты. Нам же хотелось способствовать процессу формирования общего культурного пространства, внутри которого по встречным направлениям начинают двигаться человеческие, материальные и информационные ресурсы и происходит взаимное обогащение культур. Задумывая наш фестиваль, мы надеялись, что «Шелковый путь поэзии» превратится в традицию и его география расширится.

В путешествие собрались российские поэты: Анатолий Найман, Игорь Иртеньев, Ирина Ермакова, Максим Амелин, Дмитрий Веденягин, Ольга Ильницкая, Елена Исаева, Инга Кузнецова и Виталий Науменко.

Открылся фестиваль в переполненном зале Украинского театра неизвестным стихотворением Ахматовой. Ровно через 45 лет после его написания оно впервые публично прозвучало в Одессе – на родине поэта. А впервые печатается на страницах этого юбилейного номера.

Помимо встреч с коллегами, совместных выступлений на Украине и в Грузии, важной частью фестивальной программы стали мастер-классы, проведенные московскими поэтами. Фестиваль «Шелковый путь поэзии», можно сказать без преувеличения, стал заметным событием в культурной жизни черноморского региона.

Обо всем этом и еще о многом-многом другом расскажут сами участники в маленьких эссе, которые мы публикуем.

Нам хотелось бы искренне поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в организацию и проведение этого замечательного фестиваля, особенно руководителя творческой мастерской «Юго-Запад» Елену Палашек-Сторожук и писателя Ольгу Ильницкую, сыгравшую роль столь необходимого связующего звена между Москвой и Одессой.

И, конечно же, многое из задуманного не смогло бы так успешно осуществиться, если бы идею «Шелкового пути поэзии» не поддержали Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации, уполномоченный представитель президента в Аджарии Леван Варшаломидзе, глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, президент судоходной компании «Укрферри» Александр Курлянд, директор Объединения молодежных клубов Михаил Бочаров.

## Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

**ПОНЯТЬ ПРОСТРАНСТВА ВНУТРЕННИЙ ИЗБЫТОК**

Между Западной Европой и Японией, там, где пролегал торговый маршрут Великого шелкового пути, на батумской набережной, пахнущей кофе и не пахнущей морем, стояла серьезная Ирина Барметова, говорила слова: «Наш фестиваль «Шелковый путь поэзии» – поэзия без политики, новый диалог творческих поколений России, Грузии, Украины...».

Слова сплетались в историю, о которой узнавали тотчас в Батуми и Москве, Одессе и Тбилиси, потому что говорила она в телекамеры. Хулиганил ветер, трепал золотистые прядки, лохматя прическу. Ирина смеялась, за ладошку пряталась от внезапного дождика.

Мы радовались, что Барметова фестиваль придумала, и всё удачно связалось шелковым узелочком. Сначала в Одессе, где фестиваль открылся и мы бродили по городу гуськом за Борей Бурдой, а он «пролистывал и прочитывал» нам Приморский бульвар с Дюком и Пушкиным, Дом ученых с замечательным внутренним двориком графа Толстого – о, миниатюрная театральная сцена под созревающими каштанами! А какая лестница винтовая привела нас к белому роялю, помнящему гениальные пальцы Листа! А Дерibasовская с бронзовой скамейкой, с вальяжно рассевшимся Лейбой Вайсбейном?! Если, на него глядя, руку с копеечкой протянуть к таксофону, рядом стоящему, то Лейб надтреснутым утесовским голосом оповестит: «Есть город, который я вижу во сне, о, если б вы знали, как дорог...».

Одесса вошла в нас, чтобы позже очнуться памятью – с «одесскими штучками» и речью неподражаемой: «Мама, поставь этих цветочков в вазочку!»

Приятно вспомнить наше большое выступление в Украинском театре – в переполненном зале (как в шестидесятые годы прошлого века, надо же!).

А далее...

Штиль черноморский! Изломанный берег Крыма, проплывающий мимо самого большого в мире парома «Грейфсвальд», как бы замершего внутри горизонта. (Удивило: когда море вокруг, а берег едва намечен и вообще исчезает, паром оказывается внутри горизонта, замкнувшегося кольцом, и вроде неподвижен, а то, что он все-таки идет от порта Ильичевск к порту Потти, так потому только, что Земля вертится, и нет физики, а сказка сплошная!)

И вот после слов прекрасных: «Земля!», «Акватория!», «Причал!» – на батумской набережной вместо запаха моря – запах крепчайшего кофе! Очень горького. Как слова журналиста-грузина о том, что мы – первая делегация из России на грузинском берегу за долгие годы новой жизни. Что подросло поколение ребятишек, не понимающих русской речи.

...И нависла древняя стена замка царицы Тамары, вознесенная над дорогой Потти – Батуми, рядом – храм. Я поднимаюсь по крутой тропинке – отсюда, с холма, вид на модерновое здание шахматного клуба, наш автобус, телевизионщики, снимающих ребят: поэты руками размахивают, что-то, перебивая друг друга, рассказывают – смех доносится... Слепой дождик моросит. Где-то там, за поворотом и дождиком, – такой же древний, как стена замка, Батум.

Чуть погода мы войдем в резиденцию Архиепископа Поттийского и Хобского, и владыка Григорий благословит наш фестивальный путь.

Мы пьем монастырское вино и ложками едим густой кофе капучино. Владыка сказал, что даже в пост можно: особым способом приготовлено!

Он попросил почитать стихи. Вдруг узнали, что архиепископ тоже когда-то, пока светской жизнью жил, стихотворствовал. А теперь вот «...послушать рад, ибо ничто так не объединяет людей, как слово молитвенное и слово поэтическое». И согласно кивнул моей строчке о том, что поэт – «...цвет с ладони Божьей».

Максим Амелин, Дмитрий Веденяпин и Инга Кузнецова читали, а монахини и монахи с лицами просветленными внимали. И мы внимали – здесь, в покоях владыки, восприятие обострилось, слух утончился...

Когда же автобус вновь подхватил нас, и море оказалось слева, а горы справа, и дождь набрал силу, различили в его шуме мелодику ритмов Гаги Нахуцришвили, и Зураба Тивелиашвили, и Давида-Дефи Гогибедашвили, и Давитая Палуна...

Кто хочет понимать и «знать пространства внутренней избыток» (Осип Мандельштам) – тому хорошо и правильно учиться на себе. И тогда он не станет щадить себя, приняв в себя правду жизни...

Тогда он сможет сказать: «Фестиваль «Шелковый путь поэзии» – это способ шитья «поверх ткани». А ткань – разорванные лоскутки республик, такие политические тряпочки – шерстяные грузинские, конопляные украинские, льняные российские. Поэтам шивать их «стежок-по-за-слово», чтобы живая рубашка получилась и, как живая вода, воскресила погибающих в ущельях и на мостах, там, где фонтанчики от пуль красным на лоскутки брызнули.

Меня потрясла история молодого грузинского поэта. Мы с ним танцуем, и он рассказывает:

– И тогда я туда прорвался, в парламент, и стал читать стихи...

Понимаете, идет революция, со своей логикой хаоса тьмы и светом надежды, а поэт словом пытается гармонию жизни восстановить. И стихи превращают его в героя революции.

И вот этот пассионарий вальсирует со мной.

– Прочитай, прочитай мне, что *тогда* читал!

Зураб наш танец остановил. Гибкий, горячий, красивый, он кричал стихи на грузинском, с лицом неподвижным от страсти и гнева, и я сказала:

– Не хочу! Не хочу, чтобы тебя убили.

И вдруг грохнуло, словно выстрелы, – это лабухи тяжелый рок врубили. Мы с Зурабом под него – станцевали.

– Зураб, – сказала, – ты свою революцию совершил не политическим способом, а *поэтическим*.

Но он, горячась, сказал, что еще предстоит драться, и он – готов!

Долго мы потом разговаривали, в обнимку свесившись из окна в батумскую ночь, – о войне, мире и поэзии и о том, что поэзия всегда рифмует смерть с любовью, а кровь с жизнью. И тем спасает жизнь от смерти. И я, русская, понимала его, когда он, забывшись, взволнованно переходил на грузинскую речь.

На борту парома «Грейфсвальд», нашей обжитой территории Украины под флагом Грузии, где звучала русская речь, сплетаясь с грузинской и мовой, мы пели, пили, говорили много. И стихами тоже... И молчалось нам хорошо... А когда молчали – наступали небо и море и летали между – дельфины. И спасательные лодки с поэтами на борту: нас тренировали сопротивляться террористам. На всякий случай. На море быт и бытие жестче переплетены, чем на суше. А реалии жизни, *вне поэтической речи*, и на берегу, и на море бывают одинаково некрасивы. Я вот капитана нашего спросила:

– А пираты сейчас есть?

– Есть, – ответил капитан, – но Бог миловал нас – не встречались.

Но не только, не только трудное видели и знаем мы. Да, «за толстыми коровами следуют тощие, за тощими – отсутствие мяса» (Г.Лейне), этого везде сегодня достанет. В Грузии тоже. Но это – наладится, поправимо. Войны и революции, президенты и невнятица выборов, свобода терпеть и свобода ненавидеть – случаются и происходят, а добрые люди в своем стремлении к миру и нормальной жизни – неостановимы. Этого и в Грузии, и в России, и на Украине – более всего, а прочее – отойдет. Поэты – предвестники наступления *этого много*. И однажды кто-нибудь из поэтов фестиваля далеко от запыленных солнцем и ветром дорог остановится, оглянется, вспомнит – *шелковую нить*, связавшую узлом поэзии Россию, Грузию и Украину, и выдохнет:

В Москве и в опечатанном саду  
Стоит стихотворение, как ангел.

*Дмитрий Веденягин*

И степь обрастает заснеженной речью чужой  
как ветка огнем как душа обрастает душой.

*Ирина Ермакова*

Мы движемся к огню небытия  
Под разговоры: ровный огонек –  
Беспафосный, трагедия в остатке,  
И, что бы ни случилось,  
Все в порядке,  
Вот почему никто не одинок.

*Виталий Науменко*

...а потом поэт вдохнет, и получится «систола-диастола, систола-диастола», то есть – сердечный ритм... стихотворение... жизнь!

## Ирина ЕРМАКОВА

---

### *ШЕЛК, ШЕРСТЬ, БАРХАТ И ЩЕТИНА*

Ах, Одесса-мама, не грусти,  
на Великом шелковом пути  
даже поэтический круиз  
невозможен без грузинских виз.

*Грузинская народная песня*

Где вы были в ночь с 21-го на 28 июня? – нормальный одесский вопрос. Паромная риторика. Паром – это, как оказалось, не свинченный из бревен плот. И не на веревке его перетаскивают через Понт. Наоборот – здоровый такой пароход. Из книги Гиннеса. С книгой отзывов и предложений. Испанской странствующими в Одессу грузинами. С грузинским же акцентом: «Спасыба всех. Особэно команд и дэвушка. Гуго и Гиви». А чача, как оказалось, – это напиток, открывающий новые миры. Улучшенная же грузинским пивом, чача уносит за пределы всех миров и уровней.

Уровней на пароме девять. С девятого этажа легко убедиться, что горизонт – никакая не линия, а натуральный круг. Что море – плоско-круглое и не черное. Что в совокупности с чачей, лихо уплотненной пивом, этот самый неухватный круг горизонта и есть сама Поэзия, решительно транспортируемая на немецком пароме «Грейфсвальд» под грузинским флагом с ослепительно (зубы, кителя, облака) белой украинской командой из Одессы в Потти. Вместе с грузом вагонов, автомобилей и разговорчивых (по-грузински) пассажиров.

Капитан – обворожительен. Старпом: «Взглянуть – и тут же умереть!» – как писала о другом старпومه Лена Исаева.

О матросах я уже не говорю. Матросы после смены парятся в сауне и ныряют в бассейн (1-й уровень, то есть натурально под водой). А кочегар (2-й уровень, машинное отделение) – о! – огромный, промасленный, охотно фотографируется с поэтессами: «Вас обнять?» – это басом, перекрывающим ор двигателей.

8-й уровень – длиннопальные каюты, 7-й – соответственно, бар с медовой перцовкой и самостийным кофе. Только не подумайте, что чачу можно купить в баре. Ничуть. Чача – это напиток (см. выше).

Стихи читаются на всех уровнях, но особенно отчетливо над ними.

В центре верхней палубы десятифутовый ярко-желтый круг. Специально для цирковых номеров. Поэт Дмитрий Веденяпин («Раби Зуся... раби Зуся») жонглирует здесь зелеными шерстяными шариками с полезным пшеном внутри и обучает всех желающих. Желающих – полный пароход:

От предчувствия встречи слова начинают летать,  
Как жонглерские...

Шарики вращаются в близком и тоже почти зеленом небе, шлепаются на желток палубы, растекаются по уровням и снова мелькают над головами возбужденной публики, втянутые в шароворот волшебной силой искусства. Зеленые шарики. Не похожие на слова. Шерстяные шарики.

А путь – шелковый.

Как шарфик главного редактора, целеустремленно треплющий ветер на баке. Шелковый и синий. Великий шелковый путь.

И корабль плывет.

А на трубе – Виталик Науменко, все еще мысленно огибающий позеленелого Дюка, парящий над Дерibasовской, опять и опять листающий вечер в одесском Украинском драматическом театре (700 мест + стоящие в проходах; Анна Ахматова голосом Анатолия Наймана и вообще – стихи, стихи – два с половиной часа, и хоть бы кто ушел).

А на корме – Иртеньев:

Опять в душе пожар бушует  
И пальцы тянутся к перу.  
Ужель сегодня напишу я  
Стихотворенье ввечеру?  
Ужель наитие проснется,  
Чтоб с уст немых  
Сорвать печать?  
Ужель, как прежде, содрогнется  
В ответ центральная печать?

А на носу – Амелин:

«Пой, Аттис! Пой, Кибела!  
Пей, Солнце! Пей, Луна!» –  
А белая кипела  
и пенилась волна;  
ворочавшему глыбы  
вослед из глубины  
воды глядели рыбы,  
слегка удивлены...

А между кормой и носом, рассекая уровни, плавает по воздуху, изрезанному зелеными шариковыми зигзагами, Инга Кузнецова, «дремучая рыба, не успевшая обзавестись хребтом, бесхребетная бессребреница с полураспоротым животом».

Поэт не обязательно шелкопряд, но – нити, нити! Но сеть! Непараллельная сеть меридианов. В ней бьются пойманные на слово материки. Земля-то маленькая, как выяснилось к утру.

Когда мы доплывем до Потти (а мы непременно одолеем этот шелк) и спустимся по трапу с розами в руках, розами цвета бархатной грузинской революции, спустимся прямо в родственные объятия грузинской поэзии и умилимся резвым серо-щетинистым пороссятам на потийских улицах (что наши щенки); когда, ошеломленные архирадушным приемом Архиепископа Потийского и Хобского Григория, покатым в автобусе к Батуми, к читкам, к общению с литературной общественностью, к роскоши настоящего грузинского застолья, к лезгинке, исполняемой горячими одесситами, к вахтангури (никаких брудершафтов, отныне – только вахтангури); и даже когда, по полной программе ублаженные всем грузом – всем великолепием грузинского гостеприимства, въедем в Москву, мы все еще будем плыть.

Потому что где мы провели ночь с 21-го на 28 июня?

## Виталий НАУМЕНКО

*ЗНАЕМ, ПЛАВАЛИ*

Это было бы, наверное, дурным тоном – признаться, что главным событием путешествия Москва – Одесса – Потти – Батуми – Одесса – Москва было море; не новые встречи, не города, которые ты открывал и которые тебе помогали открывать люди, это умеющие, не стихи наконец, счастливо послужившие ко всему поводом, а именно море – встреча с ним, открытие его, его тайна, превосходящая или (пусть) на равных сопоставимая со всеми теми тайнами, что мы привычно доверяем бумаге.

Но море, и правда, было центром происходящего. Оно оберегало огромный паром, где безмятежно проводили время поэты; человечески тепло к полудню в Одессе; не подпускало к себе в Батуми: близок локоть, но время, время поджимает, ехать пора!

Ирина Ермакова, пловчиха, чуть было вопреки увещаниям не сиганула с катера в компанию к-дельфинам, катер окружившим и в беспечности своей и силе казавшимся самыми счастливыми существами на свете. В Одессе мы втроем, Дима Веденяпин, Инга Кузнецова и я, спустившись на лифте, шли по безразмерному выстуженному тоннелю, чьи стены покрывали дикие и, как почудилось, нескончаемые мозаики откуда-то из пионерлагерского детства, фантазии на тему «О, этот юг!», – шли, дрожа от холода, но оживляясь тем, что впереди оно, море, и жара, которую неплохо было бы завезти в пасмурную на ту пору Москву.

Словом, вот оно, главное впечатление. А все остальные пропитаны его солью, обманчивой близостью, неосвязаемостью при всей сногшибательной наглядности, его пьяноватой качкой и недурной бесконечностью.

В Одессе: огромный зал, пришедший «на стихи»; лас-вегасовский размах района Аркадия, пульсирующего в темноте, не прижимающегося к морю, а скорее выскакивающего, выкатывающегося из него празднично, разноцветно и громко; вопрос «Что вы мне можете сказать за это стихотворение?»; широкие лиманы; гвоздь Одессы Борис Бурда; прихотью судьбы, как Афродита, вынесенная из пены южного стихотворчества на мой мастер-класс юная и талантливая Аня Яблонская:

Я понимаю тебя без слов.  
Для паука потолок и пол –  
Одно.  
Любовь – такое же ремесло,  
Как превращение дерева в стол,  
Воды в вино...

На пароме, пересекающем Черное море: почти ежевечерне возносимые благодарности капитану, журналу «Октябрь» и морским божествам; прогулка на катере в спасательных жилетах, памятная тем, кого, в пик всеобщему восторгу, укачало; Иртеньев, забронзовевший – покамест от загара; Веденяпин, его разговоры о высоком и уроки жонглирования (самые преданные ученики – одесситы Елена Палашек и Вадим Ланда); берег Крыма на расстоянии прямой видимости; Ирина Барметова, бесконечно терпеливая к проявлениям анархии широких стихотворческих душ и кратковременным возлияниям; трогательные записи в книге отзывов – многие с грузинским акцентом, в каждой второй – благодарность бармену Сереже.

В Грузии: вино, хачапури, ткемали, странствия по до одурения пахучему рынку, предводительствуемые громогласным здешним Вергилием; круглый стол – самодостаточный и бескорыстный обмен стихами, исчертившими воздушное пространство конференц-зала на трех языках: грузинском, русском и украинском; грузинская обстоятельность и порывистость; молодые поэты, трижды диссиденты – свергали Советы, Гамсахурдиа, Шеварнадзе, при этом

обаятельны и по-детски светлы; Батуми, обволакивающий ощущением горячей обманчивой тишины.

И посередине – море, рассыпающееся о берега на своем языке, с той мерностью и тем гулом, которые не менее наших стихо-творны.

## Инга КУЗНЕЦОВА

### БЕЛЫЙ СВЕТ

Пятеро поэтов – трое «мэтров», двое по привычке критиков все еще ходящие в «молодых», – ехали поездом на юг. Все они были приглашены выступать в знаменитый курортный город, за последние годы превратившийся в профессиональный союз юмористов. Это смущало: было непонятно, что читать перед публикой, привыкшей к тотальной иронии. На свой страх и риск то, что важно лично для тебя, или, наоборот, то, что должно звучать просто и эффектно? Стоило об этом задуматься, ни одно стихотворение не казалось ни эффектным, ни важным, ни простым. Неостановимо хотелось острить. «Так же горло першит», – подметила самая беспечная, раздумав портить чистую страничку блокнота, замаскировавшегося в складках простыни. Перед поездкой беспечная потеряла голос и обращалась в поликлинику Семашко, где ее учили смешным гримасам дыхательной гимнастики. Гимнастика моментально забылась. К поездке прорезался призвук голоса, тень.

Только этой ларингитчице и еще самой стойкой, мудрой и рыжей, в прошлом проектировщице мостов, достались места в общем купе, но разбросанная по вагону компания, лишь замелькали московские окраины, стянулась и потом почти уже не расставалась. То, прилипнув к коридорным стеклам и мешая детям лейтенанта Шмидта с полотенечными кашне пробираться к туалету, поэты слушали, как молодой иркутянин читает безумного Батюшкова. То, покашливая-попыхая добродушными шуточками, набивались в купе, угощали друг друга робкими дорожными вкусностями, хотя есть, в общем-то, не хотелось. Налегали в основном на клубнику, которую покупали задешево у платкастых крикливых станционных бабуль.

Тот, что был всех экстравагантней, переодетый в клетчатые домашние брюки, жонглировал апельсинами, обещая учить этому странному мастерству всех желающих, как только они придут к цели. Показывал специальные мячики, напоминающие оплывающие кубики и набитые мелкой крупой. Он же предложил сыграть в блеф-клуб, и беспечная ларингитчица выиграла первый раунд, рассказав, как в семнадцать лет не боялась высоты до такой степени, что бегала по краю крыши двадцатидвухэтажного общежития и даже ходила по какому-то тросу, нависающему уже над пустотой, не сомневаясь в том, что, если начнет падать, выправится и ляжет на крыло. Ей, конечно же, никто не поверил – и напрасно. Сама же она верила во всякую небывальщину и особенно ту, что рассказывала голоском семиклассницы сочинительница популярных пьес для театра «док», теперь улепетьевающая к морю от заказчиков все-народного телесериала.

Пирамидальные тополя стояли, как пограничники. Вспышки прекрасных маков гасли слишком быстро. Подоспела таможня. Рыжая, нервничая, пилила ногти. Заглянул легкомысленный человек: «Взрывчатые вещества, наркотики, оружие?» «Ага, – призналась она, рассматривая кончики пальцев, – оружие холодное, мелкое».

Вечером уже не блефовали, а, глядя на огни, рассказывали странное из детства. Ларингитчица, гася тревогу, думала о завтрашнем тридцатилетии и еще – о фантастически незнакомой Грузии, где фестиваль должен был продолжиться. Утром пили за именинницу фруктовый нектар в железных бан-

ках – на брудершафт. Подруги подарили духи, которые, подобно ружью, должны будут выстрелить, то есть пролиться в самолете Тбилиси-Москва, уже за пределами первой части истории. Но вторая тоже будет написана!

А Одесса встречала милейшими людьми, нешуточной жарой, обедом с какими-то немислимыми пампушками, традиционной баклажанной икрой и вовсе неизвестной вкуснятиной. Прибывшая самолетом знаменитость (один из четверки отмеченных Ахматовой) сопровождал главного редактора московского журнала, в золотистых туфельках и расшитой шелком макси. Глаза, уставшие от гиперответственности, скрывались под романтической шляпкой. Это и была виновница поэтического фестиваля-плаванья, придумавшая его зимой во время прогулки по одесской набережной. Перед поездкой, собрав поэтов в редакции, виновница строго рекомендовала заготовить белую одежду. «А можно черненькое?» – сопротивлялась рыжая. «Ни в коем случае! Ребята, представьте: палуба, облака...»

Казалось, чувствуя лирическое настроение гостей, Одесса стеснительно прятала свое чувство юмора в соцартовских кафе, в пилотках и голфках барменов, алых косынках, кое-как повязанных на шеях. Во впечатляющем рассказе одного из ведущих игроков Клуба знатоков, любезно согласившегося провести для поэтов экскурсию, это чувство материализовалось неотвратимо, вперемешку с курьезными фактами биографии города. Выяснилось, например, не только то, что большевики красили черной краской изысканно инкрустированные старинные рояли, но и то, что погоду в городе узнают по количеству кошек, отдыхающих в среднестатистическом дворе: если их от одной до двух, погода обязательно ухудшится, от трех до шести – улучшится или будет хорошей, а больше шести – значит, от нее можно ожидать всего чего угодно. В дворике, куда знаток привел поэтов, на скамьях и под «жигулями-ауди» растянулись шестеро зверенышей. Ой! А вот и седьмая...

Подводя к фонтану у памятника Пушкину А.С., знаток предложил кому-нибудь из смелых испить водицы, не притрагиваясь к фонтанной чаше, чтобы согласно примете беспрепятственно и неоднократно возвращаться в Одессу. Легкомысленная ларингитчица умудрилась уронить в фонтан очки; рука знатока, напоминающего ловца крабов, мгновенно нырнула в чашу, замочив подмышку. Внимание! Очки не разбились. Отснято на «мыльницу» забывшей обо всех бедных Настях сочинительницей авангардных пьес и трагической любовной лирики.

Устав от разнообразно подобранных фактов, которые от их переизбытка сливались в головах в неопределенный музыкальный рисунок, поэты прогуливались, наслаждаясь просветами между платановыми листьями, живописно негнущейся ветошью на балконах старых домов. Вечером оказались в местном фольклорном стрипбаре: вялые и неодетые красотки в чудовищных кокошниках размером с полчеловека, кажется, искали компромисс между образом царевны-лебеди и царевны-лягушки. Позже самые романтические поэты ходили к морю смотреть на дальние огоньки.

Утром наконец купались, ели черешню, встречали с самолета поэтов-«вип» – блестящего ирониста с выражением лица печально-мизантропическим, того самого, что утверждал в одном из стихотворений, что он вышел из народа, чтоб не вернуться больше никогда, и другого, напротив, внешне веселого и преуспевающего джентльмена в новеньком белом чесучовом костюме, переводчика древних, ценителя русской литературы допушкинских времен, поразившего общественность книгой стихотворений совершенно трагических.

Вечером все – не без ужаса – очнулись в торжественной обстановке, на сцене Украинского драматического театра. Не сразу разглядели, что публика, до фестиваля не знавшая никого из них, забила зал полностью. Выступили. Выдохнули!

Утром внимательно давали мастер-классы в чудном кафе, показавшемся идеальным местом для брифингов с представителями веземных цивилизаций. Беспечная ларингитчица учительствовала впервые. «Вы понимаете, – говорила она почти уже влюбленно смотрящим на нее восемнадцатилетним



девчонкам и чувствовала себя самозванкой, – здесь у вас символ, а вот тут метафора...» Видя, как внимают и не понимают, подыскала жестковатый вариант: «Ну смотрите, что у вас получается: если сумерки, то, разумеется, сиреневые, если утро – туманное. Если – то. Слишком предсказуемо. Поищите сами подобные вещи у себя в текстах». «Да-да! – радовались девчонки и поглядывали в чужие тетрадки. – Вот видишь, у тебя рифма «тебя-меня», а это все равно как «пальто и полупальто...» Ларингитчица в белом, но как будто испачканном льняном платье, оформленном, как бандероль, со штемпелем и размытым адресом, с датировкой «1857», растроганно читала на открытке, изображающей облака: «Приезжайте в Одессу и живите у нас!»

Когда после двухдневного плавания на гигантском белом пароме, ловли ветра и крупяных мячиков, босиковых палубных танцев и прогулок в сопровождении дельфинов все сходили на берег Потти (поэтессы – в пахнувших морем платьях, каждая с пурпурной розой в руке, а поэты – нагруженные своими и подружескими вещами), то увидели: грузины встречают плотной шеренгой, занявшей всю ширину трапа: женщины в черном, а мужчины, разумеется, в белом, в светлейших канотье, с фото- и видеокамерами, с возгласами: «Мы ждем вас уже второй день!». Один из грузинских прозаиков, как впоследствии выяснилось, кафкианец и телезвезда, снимавшийся в фильме Йоселиани, да еще одноклассник молодого грузинского президента, пытался не слишком прихрамывать, оберегая забинтованную ногу. «Что с вами?» – встревожились поэты. «Да так, вчера чемпионат по футболу смотрел. Ну что за игра! Вот я и топнул в сердцах...» Бинт его был ослепителен. Так началась Грузия.

## Дмитрий ВЕДЕНЯПИН

### ГРУЗИНСКИЙ АЛФАВИТ

Слова «Одесса», «Потти», «Батуми» – замечательны сами по себе. Слово-сочетание «путешествие в Одессу-Потти-Батуми» завораживает. Особенно если это не простое путешествие, а поэтический фестиваль, в котором тебя пригласили участвовать. Тем более если в Одессе ты (в смысле я) в первый и последний раз был в пять лет, а в Потти и Батуми не был вовсе.

Но никакое путешествие не обходится без неожиданностей, иначе оно не настоящее.

Мы готовились к отплытию в Потти. В одесском порту выяснилось, что в отличие от украинцев нас, граждан России, в Грузию без виз не пустят. (См. выше эпиграф из грузинской народной песни. – *Ред.*) Пришлось срочно фотографироваться, мчаться в консульский отдел грузинского посольства, заполнять анкеты и т.д. Консул был необычайно любезен и уладил все визовые формальности. Пока оформляли документы (а это длилось более двух часов), мы (солировала Лена Исаева) вспомнили множество русских песен разных лет. Консул и его помощница, время от времени входившие в кабинет, где мы пели, делали вид, что ничего странного не происходит, а потом внесли вино, и мы мгновенно почувствовали, что консульство – территория соответствующего государства.

В общем, на паром мы успели. Плыть предстояло двое суток – через все Черное море.

Помимо всего прочего подобные путешествия привлекательны своей театральностью: они зрелищны сами по себе и, как правило, включают некие вечерние (или дневные) посиделки-представления. То, что мои товарищи умеют писать стихи, я знал и до поездки, а вот то, что они такие талантливые певцы, танцоры, пинг-понгисты, пловцы и пр., выяснилось уже на месте. Виталий Науменко превосходно играет на гитаре и исполняет ретро-песни (его репертуар огромен, кажется, что он знает вообще все песни). Игорь

Иртенев замечательно поет. Я до сих пор бормочу себе под нос исполненную им а-sarella «Течет речечка да по песочечку...». Лена Исаева просто покорила всех своим высоким мелодичным голосом и очень точным исполнением. Инга Кузнецова гениально танцует. Ира Ермакова – мастер спорта по плаванию. Моим вкладом было жонглирование. Я взял с собой шесть так называемых «bean bags» – мягких матерчатых мячиков, нетуго набитых пшеном. Достоинство таких мячиков по сравнению, допустим, с теннисными в том, что при падении они не укатываются. Поскольку, как сказал один американский жонглер: «Dropping is a big part of my act» (дословно: «Роняние – большая часть моего шоу»), преимущество таких неукатывающихся шариков очевидно. В какой-то момент по просьбе своих коллег я провел жонглерский мастер-класс. Разумеется, многим захотелось научиться. Когда вечером я поднялся на палубу, в разных ее углах жонглировали. Зрелище умирительное! Кстати сказать, выяснилось, что и капитан судна Александр Варакса – жонглер-любитель.

...И вот мы приплыли в Поты. В порту нас встречали грузинские журналисты и целая делегация поэтов из Тбилиси. Я с радостью увидел моего знакомого, замечательного поэта и переводчика Котэ, познакомился с поэтами Шота Иаташвили и Зурабом Тивелиашвили, писателем, телеведущим и актером Давидом Гогибедашвили (он, в частности, играл у Отара Иоселиани в фильме «Разбойники. Глава 7»), писательницей и журналисткой Анной Кордзая-Самашвили.

Затем мы отправились в Батуми, где в Оперном театре состоялся вечер с речами и стихами. Потом, разумеется, застолье с тостами, стихами (на грузинском, русском и украинском языках) и вахтангури (питьем на брудершафт) почти до утра.

Уже на следующий день мы должны были возвращаться на паром. Батумские парки, море, рынок промелькнули, как в калейдоскопе. Посмотреть город как следует, увы, не получилось. Но подружиться с грузинскими поэтами мы, кажется, успели, причем настолько, что возникло обоюдное желание переводить друг друга. Учитывая интенсивность, глубину и стаж литературной дружбы между нашими странами, абсолютно дикой кажется затянувшаяся почти на пятнадцать лет пауза. Меня по-настоящему тронул интерес грузинских поэтов не только к нашей классике, на которой большинство из них, как они сами признались, выросли, но и к тому, что делается в русской литературе сегодня. Нам тоже интересно, что творится сегодня в грузинской поэзии. Все выразили желание переводить современных грузинских поэтов и, если получится, сделать что-то вроде антологии. Максим Амелин даже пообещал ради такого случая выучить грузинский – сначала сгоряча он сказал «язык», но потом поправился: «алфавит».

«Слова поэта суть его дела» (Пушкин). Хочется верить, что помимо этих «соглашений о намерениях» мы и в самом деле сдвинем дело с мертвой точки и в обозримом будущем русские и грузинские поэты, а соответственно, и ценители поэзии смогут лучше узнать друг друга.

Наша поездка, оправдывая свое название, и вправду получилась «шелковой». Мой опыт участия в нескольких фестивалях и многочисленных путешествиях учит, что, как правило, кто-то всегда остается недовольным. Мне кажется, что на этот раз таковых не было. Всем было хорошо, и за это еще раз огромное спасибо организаторам фестиваля и моим коллегам-поэтам, проявившим чудеса такта и творческой одаренности.

Посещение Одессы, не говоря уже о Грузии, непредставимо без винопития. Тема тостов уже не раз – с неизбежностью – всплывала в этих записках, которые я и завершаю вполне традиционным тостом-пожеланием всем участникам (в том числе будущим). Только на этот раз речь не о рюмках, а о поездках по дорогам «Шелкового пути»: «Дай Бог не последняя!»

*От редакции:* Максим Амелин не смог написать о фестивале, так как учит алфавит. Грузинский.

Елена ИСАЕВА

### О ЯЗЫКЕ, ВРЕМЕНИ И ВСЕЛЕННОЙ

Хочу рассказать о трех самых важных для меня впечатлениях нашего путешествия.

Первое, банальнее и глобальнее которого придумать трудно, – ощущение себя как частицы Вселенной. Давало его большое красное солнце, садящееся прямо в воду, и вокруг – с четырех сторон – горизонт, никаких берегов не видно. И над нами только небо, а под нами – 9-палубный красавец паром «Грейс-фальд». Мы посреди Черного моря – на пути из Одессы в Батуми.

От Одессы до Батуми  
Лучше места нет, чем в трюме...

(Таков фольклор, возникший во время экскурсии в машинное отделение.)

Мы плывем по маршруту Великого шелкового пути – теперь путём поэтическим. Девиз нашего шелкового пути: «Поэзия без политики». Но как-то без политики всё равно не получается, потому что второе сильное ощущение – это ностальгия по прошлому.

Не знаю, как другие, а я росла в интернациональном государстве. Не могу сказать, что я об этом в детстве задумывалась или что-то там анализировала, но это происходило само собой. В нашем классе учились украинцы, евреи, грузины. Думаю, что если бы у нас учились японец или сириец, тоже никто бы особо не удивлялся и внимания не обращал. Только с годами и понимаешь все плюсы этого воспитания.

Оказавшись участницей фестиваля «Шелковый путь поэзии», я осознала, какая катастрофа постигла наше культурное пространство с распадом республик Союза на отдельные страны. То, что это была экономическая катастрофа, почувствовали сразу и все, а вот то, что культурная, – не сразу, но... долгие годы нам еще все это расхлебывать.

Мы были вместе, и мы были нужны друг другу. И все мы смотрели в детстве мультфильм про кота Леопольда – «Ребята, давайте жить дружно».

Мы были нужны друг другу не только потому, что культурные связи поддерживались сверху и с определенных чиновников строго за это спрашивалось. У нас тогда было время на эти связи и взаимопроникновение – медленное, вдумчивое, подробное. Сейчас, когда и самые удачливые из нас, и самые обделенные заняты все равно одним и тем же – добыванием денег и борьбой за выживание, когда культура уже не поддерживается государством в той мере, в какой нуждается, частный проект, инициированный журналом «Октябрь», кажется трепетной романтической попыткой – не сдаваться! Восстановить! Не позволить разрушить то, что еще не совсем потеряно. А потеряно очень многое.

Украинская, в частности, одесская, аудитория с новыми именами русской поэзии практически не знакома. Да что говорить о новых, если там не знают русских поэтов, которые давно получили признание не только на родине, но и далеко за ее пределами. Например, Сергея Гандлевского или Веру Павлову. К сожалению, список можно продолжить.

С какой жадностью накидывались на нас зрители, особенно студенты: что почитать, где взять, какие имена? Голод на качественную современную русскую литературу еще в большей степени ощущался в Грузии. С тоской говорила учительница русского языка в Потии о закрытии русскоязычных школ, о том, что катастрофически не хватает новых книг (не детективы, конечно, имеются в виду) и журналов.

Как всегда, правители не могут между собой разобраться, а страдают люди. Стоило расколоть Союз, чтобы понять эту многовековую истину. Сколько тостов было поднято на многочисленных встречах «за прежние времена» – без войн и разделения, то есть за жизнь в любви и дружбе! Причем говорили об этом и бедные литераторы, и богатые нефтепромышленники.

Великолепными пейзажами, бесконечно зелеными горами предстали перед нами окрестности Поти и Батуми. Но сквозь все это великолепие печально проступали облупившиеся дома и разбитые мостовые улиц. Туристического бизнеса в республике почти нет... И тем не менее – всюду жизнь! Люди хотя бы общаются, читать друг друга, переводить. Потому что культура, несмотря на все старания политиков, жива. И любой интеллигентный человек понимает, что без вливания извне, без подпитки другими культурами мы не сможем выживать, обогащаться, совершенствоваться.

И третье сильное ощущение – правильности происходящего, когда ты там, где надо, и с тем, с кем надо. Оно возникло на приеме у Архиепископа Потийского и Хобского, когда в стенах резиденции звучали стихи о языке, о времени и Вселенной, когда весь наш путь был осенен благословением, а значит, окрепла уверенность, что нам удастся преодолеть политические пропасти, разъединяющие наши государства, языки и культуры.

## Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК

### СЛАДКОГОЛОСАЯ ОДЕССА

«Почему у поэтов глаза пасмурные? Чего их там гнетет?» – задумываются многие не поэты, погружаясь в волшебство рифмующих голосов...

В Одессе каждый второй – поэт, а каждый первый – композитор. «Вторые» пишут друзьям юбилейные поздравлялки, а «первые» к каждому посвящению мотивчик придумывают. А куда пристроить тех, кто пишет стихи или музыку серьезно (хотя нет, серьезно пишут все), даже фанатично? С точки зрения вторых и первых эти, фанатичные, – нечто, не укладывающееся в рамки простой жизни, все это броуновское движение свадеб, похорон и пикников... А дальше – как получится. В Одессе же всегда получается то, чего вы не ожидаете.

Любое тело расширяется, перемещаясь из холода в тепло, и душе становится в нем свободней. В еще февральской Одессе, которая, как истинная женщина, показывала себя с лучшей стороны, освободилась от рабочих будней душа прилетевшей москвички. А может, она (не душа, а сама москвичка) просто искала повод почаще бывать «в жарком городе, который обтекает море», как сказал Бабель? Впрочем, случай определяется не нами, а если мы и можем что-то определять, так это наши возможности.

– Сколько метров шелка приобрести, чтоб устлать им путь поэзии?

– Сколько нужно, столько и приобретем!

И потянулся Шелковый путь поэзии от Москвы к Одессе, цепляясь за кабинеты, и гостиницы, и рестораны, за сладкие слова и крепкие выражения, – да прямо на сцену Украинского театра.

– О чудо! – Первопроходцы со сцены удивленно рассматривали не маленький, скажу я вам, зал.

– Кто сказал, что в Одессе удивиться нечему? Так не надейтесь! Вот вам полный зал желающих разобраться со своим отношением к поэзии.

– Право дело, одесситы – народ непредсказуемый. Два часа без перерыва и буфета, без буфета и без солнца. И без желания уходить.

Только одно желание их никогда не оставляет – смеяться:

– Это вот и все? А когда будет весело? Мы лишь хихикали. А когда смеяться?

– Смеяться поздно. Эти поэты, говорят, в Грузию лыжи наострили!

– Какие лыжи? Там теплее, чем у нас. Батарей в этом году не грели – значит, у нас теплее.

– Как вы можете за такое думать после того, что слышали?

– А что я такое услышал, что такого нового мне рассказали? Я сам так могу.

– А вы говорите, в Одессе удивляться нечему, когда здесь каждый второй – поэт, а каждый первый – хороший поэт.

– И чтоб вы знали, так лучше бы я вышла на сцену и прочитала свое, мне бы зал стоя хлопал.

– Давно сочиняете?

– Всю жизнь.

– И много написали?

– Одно стихотворенье, и больше не буду, лучше уже не напишешь.

Самое удивительное в Одессе – люди. До чего же сладкоголосые!

– Послушай, Бора, если ты будешь маму не так слушать и плохо в школе, так я тебя отправлю в Москву, ты будешь такой же замерзший, как все поэты. Ты видишь, они даже у нас не отогрелись.

– Ой, шо я тебе скажу! Не думал, не думал!

– И не надо! Тебе это не идет.

– Я не думал, шо будет так классно.

– Поздравляю, ты становишься нормальным интеллигентным человеком.

– Ты видел, сколько у нас любителей поэзии?!

– А ты видел, как эти любители каждое стихотворение приветствовали так, как будто оно последнее?

– Шо ты хочешь этим сказать?

– Только то, шо хорошо, но мало. Только начинаю наслаждаться одним поэтом, закрываю глаза, открываю – на сцене уже другой.

А ведь действительно, хорошо, но мало. Как найти баланс между количеством выступающих и количеством стихов? В общем-то, шелк – материал скользкий. Зато люди – шершавые. Так что сами о себя и спотыкаемся. И все равно – вперед! Поездом, самолетом, паромом.

Паромом! Через море! И всё – как по заказу: солнце ласковое, волны спокойные, дельфины веселые, мы тоже. В первый же вечер загорелые отродясь одесситы и подрумяненные южным солнышком москвичи благодарно в бассейн нырнули, а, вынырнув, стихами заговорили – от удовольствия. И пели песни, и рассказывали о своих далеко бегущих планах капитану парома и друг другу. И потом эту традицию – читать, петь и разговаривать «по интересам» – не нарушали. Не нарушали и не нарушим, потому как энтузиазм еще остался – протянуть наш путь шелковый по всему миру. Мир посмотреть, себя показать, стихами обменяться... А счастье от этого – оно потом осознается.

– Так сколько метров шелка приобрести, чтобы продолжить путь поэзии?

– А сколько нужно – столько и приобретем!



## Пьер переполнен

**Т**екст медленный; временами он готов остановиться. Встать на месте для того, чтобы я мог разглядеть заключенную в нем (помещенную под ним, подвешенную над ним) картинку.

Для художника, тем более озабоченного историей и метафизикой шрифта, это привычное действие, профессиональный головной недуг. Для него страница есть в первую очередь картинка. Прежде слова ему является рисунок слова; у рисунка, у этой странной суммы завитушек и штрихов, есть свой «звук», свои рифмы, знаки и смыслы – давай, разбейся с этими смыслами. Это чрезвычайно замедляет письмо, а за ним и чтение: текст вырисовывается, его составляют длинные (по способу чтения-разглядывания) слова.

Но в данном случае, где темой исследования является соревнование пространства с текстом – толстовским, который полон таким соревнованием, тайным и явным, который демонстрирует постоянно слияния и разрывы, но в итоге непонятным образом сводится к равенству пространства и текста – в данном случае медленный метод шрифтовика, возможно, пригодится.

По идее, Толстой меньше всего подходит для подобного исследования. Он прокламирует превосходство внутреннего видения над внешним и порой осознанно отказывается от прямого видения, весь устремляясь в наблюдение невидимого.

Но это внешнее впечатление. Толстой скорее прячет в себе архитектора, трезового и расчетливого ясновида. Чем дальше я разбираюсь в его волхвовании, в его сокровенных писательских пассажах, тем больше в них обнаруживается расчета, тем отчетливее виден в его сочинении макет, строительное действие. Он не хочет этого показывать: техника волшебства должна остаться сокровенна. Тем интереснее следовать за ним, наблюдать его потусторонние опыты.

Подзаголовок книги – «Метафизика пространства в сочинениях Льва Толстого». Сборник эссе буквовидческого, медленного письма.

Журнал «Октябрь», за что ему великая благодарность, имеет довольно терпения, а также широты и пластики взгляда, чтобы справиться с подобной разностью скоростей. Он поместителен для текстов всех возможных темпов, даже для таких, где текст «всматривается» в текст и оттого готов всякую секунду остановиться.

### АТЛАС И ХАОС

Вот мысль, не имеющая доказательств, лишенная логики, продиктованная одним только чувством. Возможно, доверием; в принципе, это детская мысль. Если представить себе все, что написано нашими писателями, вообразить, увидеть во всех деталях и сложить вместе – какое из этого выйдет зрелище? Каким выйдет их общий, сводный мир? Понятно, что такое представить невозможно, за плоскостью страницы таится бесконечное множество ими созданных миров, но все-таки. Как будет выглядеть это множество?

Безумная мысль и ребячество. Или рассуждение художника – художник еще наименее ребенка, ему все нужно представить буквально.

И все же что такое будет эта их перенаселенная бумажная страна, более чем страна, мир? И такой же странный ответ, та именно первая, бездоказательная мысль. Не ответ, а некоторое ощущение. Этот сводный, сборный мир

в результате всеобщего сложения может оказаться очень прост. И даже так – он *должен* оказаться прост.

Откуда берется эта мысль? Она продиктована доверием. Отчего-то хочется верить в то, что сумма их [писательских] усилий не должна составить хаоса. Напротив, в конечном счете эта сумма должна составить нечто целое. И это целое – вот еще непонятное ощущение – чем больше в него будет вложено, чем больше в нем будет собрано, тем оно окажется проще. В конечном счете в этой полной сумме не должно остаться ни разности, ни дроби – всё сложится в одно.

Это звучит очевидно по-толстовски (за последнее время я его начитался сверх меры). Сочетание несочетаемого – рассуждение самое серьезное, отдающее метафизикой, и одновременно ощутимо детское. Очень много игры в этом сложении множества в одно. Но это игра и не игра, какая-то неназываемая середина между игрой и не игрой.

Однажды Толстой услышал от критика Страхова, что роман «Война и мир» исчерпывает собой всю русскую литературу. Что «Война и мир» (читаю я между слов критика) есть то именно невозможное, утопическое целое, которое вмещает все множество бумажных, воображаемых миров. Наверное, это была высшая степень похвалы, сравнение, иносказание другого пишущего человека – Толстой *поверил* ему. Поверил легко, как ребенок, которому учитель на пальцах показал простое арифметическое действие.

Похоже, он всерьез к тому стремился – всё поместить в своем слове. Так поместить, чтобы это *всё* в итоге оказалось очень просто. Разумеется, необъятным, «взрослым» своим умом он понимал, что это невозможно, что это утопия, но та волшебная, исходная позиция между игрой и не игрой допускала противоположное. Допускала, что утопия осуществима. И он продолжал, не сходя со своего срединного места, к тому стремиться, всё складывал в одно. И вдруг услышать со стороны, что ты сделал это, сложил, вместил в своем слове мир! На четыре минуты Лев Николаевич вернулся во младенчество, сделался совершенно счастлив.

Теперь мы все в это верим. С тем же непонятным детским чувством, которое допускает сложение всего в одно, мы принимаем «Войну и мир» как всепоместительный роман, роман-атлас. Его страницы развешены в наших головах, его карты расстелены у нас под ногами.

Заголовок на атласе – «Война и мир» – очевидно, визуально уместен.

Между тем толстовские карты весьма своеобразны. В космографии Толстого сказывается чувство: к городам и весям он относится так же пристрастно, как к своим героям. Он постоянно перемешивает, переменяет пространство. Если разобраться, в его мировоззрении больше Козьмы Индикоплова, нежели Птолемея или Коперника: основание им построенного мира плоско, в середине суша встает горбом, на вершине горба – Москва. По краям московский материк обходит круг воды, вода и тьма в углах страницы-карты, наш материк подвижен. И мы согласны на такую перемену пространства, согласны на подвижную Москву, потому что эта перемена, это искажение картины есть следствие того «правильного» усилия, с которым Толстой *всё слагает в одно*. Положение Москвы именно таково, она во всяком аспекте, во всякой игре стремится в середину: она серьезно несерьезна, помещена между расчетом и верой, лишь в общих чертах христианской. И мы против всякой логики, не имея доказательств, верим в то, что Москва посередине, не видим, но верим. В то, что наши карты, в головах и под ногами расстеленные, составлены правильно, в то, что наш атлас не есть хаос.

## ИНСТРУМЕНТ МОСКВЫ

Москва всегда занимала Толстого; ее положение в России, начиная с географического и заканчивая местом в духовной сфере, он неизменно рассматривал как центральное.

Напротив, Петербург для него предмет внешний. Вопреки общему мнению, что способность к обозрению страны, к составлению ее регулярных карт

и планов пришла к нам через Петербург, и, стало быть, Петербург есть «русский глаз», Питер смотрит на Россию, Толстой полагал, что Россия видна в Москве и только в Москве – через Москву. Можно подумать, что вместо Москвы ему являлся окуляр наблюдательного прибора, добавляющего к видению еще и понимание увиденного (этим она отличается от Питера: тот только смотрит – Москва понимает).

Противостояние двух точек зрения, даже двух способов зрения, которыми пользуются две наши столицы, – тема интересная и довольно острая, но в данном случае не главная. Мы будем исследовать по преимуществу московский способ; Толстой им, безусловно, пользовался. В своем обозрении [России] он действовал так, как если бы в самом деле держал в руках Москву, как некий уменьшающе-увеличивающий инструмент.

<Образ окуляра очень близок Москве, ее общему округлому очерку. Тут начинается невольная игра в сравнения. Оптическое стекло столицы шириною в тридцать верст просвечивает страну насквозь – в нем Толстой различает устройство России, прочитывает логику ее истории. Страна видна ему как на ладони – *Россия в Москве собрана в фокус* – это собирание ему важнее всего. Он сам фокусник.>

## I

Игра в буквальные сравнения заканчивается, как только понимаешь, что толстовская «оптика» рассматривает не свет, не пространство, но время. Здесь исчезает наивность, арифметический счет теряет силу.

Время течет и преломляется в «окуляре» Москвы, словно не улицы, но потоки времени собираются в ее центре в узел. Для Толстого история некоторым сложным, высшим усилием сосредоточена в Москве. Здесь ее материал плотен; Толстой различает, ощущает эту плотность. Он вводит выражение «узел времени», имея в виду в первую очередь Москву. Ничего нет интереснее для Толстого, чем этот *узел*. То, что видимо глазу на поверхности Москвы, имеет для него мало значения\*.

Иной раз кажется, что он специально умалчивает о видимой Москве. Странное дело: Москва – город яркий, украшенный часто с перебором цвета. Она бывает и деликатна, и сложна в своей гамме – так или иначе Москва всегда видна. Толстой как будто закрывает на это глаза. Он начинает с Москвой обыкновенную свою игру, не детски детскую.

В одном из первых своих сочинений, в «Отрочестве», он везет в Москву Николеньку Иртышева, везет из «Детства» (из своего детства, из Ясной). Вне Москвы глаза его открыты. Дорогою мальчику открываются панорамы довольно живописные, особенно хороша гроза, для которой у писателя готово даже цветное зрение: «... задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выделяющегося на лиловом фоне тучи». Здесь, *до Москвы*, он видит, все видит! И вот я читаю и ожидаю Москву, описанную так же красочно и подробно, – я уже знаю, как самого Толстого в юном возрасте поразила Москва, и жду теперь ее панорамы. Но никакой панорамы нет. Не то что панорамы, сцены встречи – вовсе никакой картины города. Действие прямо с дороги переходит в малые комнаты, коридоры и углы дома, в *помещение души*.

Московское *помещение* (здесь это слово уже процесс) у Толстого есть *удержание души*. Может быть, здесь таится разгадка его табу, запрета на прямое видение Москвы? Ее помещение сокровенно и потому не может быть прямо открыто глазу. Скорее крепко зажмурившись, взглянув в себя, можно увидеть Москву – Л.Н. так и пишет о ней, «зажмурившись». Московских картин у него

---

\* Можно сказать так: поверхность Москвы для Толстого есть следствие таинственных движений, которые совершаются вне поля нашего зрения. Или еще сложнее: то, что открыто нам в Москве, есть только видимость и внешность – мы вне, далеко от центра события, от *узла времени*.



немного, особенно в начале всякого сочинения, где участвует Москва, – в начале ее не должно быть видно.

В «Войне и мире» в двух первых «довоенных» томах приметы города можно пересчитать по пальцам. О Ростовых *один раз* сказано, что они живут на Поварской. (Единственная примета их дома является только во втором томе: «знакомый карниз с отбитою штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб». И все. Все о Москве видимой; перед тем целый том, четыреста страниц – о Москве невидимой.) Огромный дом Безуховых «отсутствует» в Москве вовсе. В доме совершаются важнейшие действия, умирает старый граф, Пьер получает наследство, но где и каков этот дом, неясно. Только несколько раз сказано, что во дворе его рассыпана солома. Герои подъезжают к дому, дом не виден, зато приближение его слышно: он шуршит соломою. В начале романа Москву «видно» ухом. Все для ума, для сердца, для уха – для глаза ничего: Москвы не видно. У дома графа Безухова отсутствует адрес.

Но вот в город приходит война – и зрение автора просыпается. Точно скальпелем война открывает Толстому глаза; картины являются яркие и резки, Москва отчетливо видна. Сразу находятся образы визуальные: французское войско, войдя в Москву и овладев ее центром, от Кремля по улицам «остроконечной звездой всачивается» в опустевший город. Картины города развернуты, даже многословны – один образ оставленного улья растягивается на несколько страниц (все виды пчел описаны – как тут остановиться, когда вдруг стало видно все и понятно все?).

Все понятно: огнем и пожаром картина Москвы освещена.

Так выясняется второе правило «москвозрения» (первое об *узле времени*, о первенстве невидимого). После исходного невидения приходит прозрение; для этого требуется усилие экстраординарное. Мир в Москве не дает повода для заглядывания в ее нутро. Приходит война (как для Николеньки Иртеньева дорогою гроза) – покров сорван, механизм обнажен: Москву видно.

Механизм времени, оформляющий Москву, есть для Толстого главная загадка; он всматривается в него, исследует, рассчитывает его действие. Его вера в точный расчет замечательна: будто бы, вскрыв Москву, как музыкальную шкатулку, он сможет добраться до главного секрета ее бытия – овладения механизмом времени. Толстой стремится овладеть течением времени, овладеть Москвой.

Время здесь уложено прежде пространства: таковы ее закон и порядок.

Со стороны Петербурга и за ним всей Европы эти закон и порядок представляются хаосом и беспорядком. Но при этом внимательными петербуржцами этот московский хаос признается явлением значительным. Они к нему равнодушны.

Екатерина II: «Русские Москву *страшно* любят; только в ней видят спасение». Речь о спасении души, никак не меньше. Спор двух столиц имеет подтекст духовный, политическая его проекция вторична. Спор идет уже не о способе зрения, но о лучшем способе спасения души и лучшем месте ее спасения. Неудивительно, что Екатерина говорит – *страшно*. Но что такое это ее *страшно*? Конечно, царица-немка попросту могла употребить не то слово. Но может быть и другое прочтение: Екатерине *страшно* перед непонятною Москвой. Ее раздражает азиатское упрямство подданных, которые отворачиваются от просвещенной Европы, прячутся в темноту материка, где молятся на древние дикие камни. Для нее спасителем только Петербург. Он, точно плот на воде, повисает над неизмеримой русской глубиной. И вдруг этот общенародный поиск спасения – там, в глубине. Непонятно, наверное, интересно, но всегда страшно.

*Толстому страшно вне Москвы*. Его дискомфорт во всяком немосковском месте очевиден. Однажды обнаружив в ней *помещение души*, почувствовав свою вовлеченность в процесс помещения и через это свое родство с Москвой, он уже ни в каком другом месте не может успокоиться.

Разве что в таком же месте, где время оформляет себя прежде пространства. Такова в известной мере его Ясная Поляна или иная точка на москов-

ком меридиане, на оси симметрии Москвы. Москве и москвичу отчего-то необходимо находиться посередине карты, на оси симметрии картины (времени). Как будто время, точно через плотину, перетекает через меридиан Москвы; восток и запад делаются по обе московские руки прошлым и будущим. Скажем, тот же Петербург помещен вне этой оси, он асимметричен, клонится к западу, съезжает за пределы толстовской карты, выпадает из ее узла, на нем развязывается московский узел. Петербург у Толстого не способен к аккумуляции времени, в нем место не спасения, не собирания, а ослабления, разрежения души.

## II

Вот они, одновременно игра и серьезность, вера, уравниваемая (на московских весах) расчетом. Как это так – рассчитать собирание или разрежение души? Но Толстой именно рассчитывает, расчерчивает душевный «рисунок» Москвы, попеременно закрывая и отворяя на нее глаза. Как правило, ему удается скрыть процедуру этого странного черчения, нам остается только наблюдать извне движения импульсивные и как будто непредсказуемые – в эти моменты он особенно последователен и педантичен.

И с этой своей надуманностью, со своим псевдонемецким черчением он добивается поразительного результата. То, что произвел в сознании Москвы роман «Война и мир», трудно даже назвать успехом. Москва поверила в этот роман, как в свою вторую реальность – куда вторую? в первую, главную реальность! Роман составил для нее род священной книги. Картины войны двенадцатого года задним числом оказались для Москвы изменены – она «вспоминает» эти картины и видит (в толстовское «стекло»), что война совершалась именно так, как было в романе. Эти видения замечательны. Еще интереснее то, как Москва уже полтора века преобразуется посредством этой второй «веры» – для всех последующих поколений ее обитателей образ столицы изменен оптикой «Войны и мира».

Москвичи живут в толстовском *помещении*, пользуются его календарем, действуют согласно его (художественным?) законам; его образы властны над ними, толстовские герои среди них живы. Среди нас всех – наблюдение за ними, сравнение себя с ними есть продолжение чтения романа.

И все это результат его расчетов, утопических, наивных и надуманных. Можно предположить, что некий секрет особого московского видения – через поверхность города к *узлу времени* – был в самом деле им открыт.

Однажды, заподозрив (только заподозрив!) это его стремление заглянуть за московскую занавеску, в самом деле, слишком подвижную, я занялся проверкой его «архитектурных» построений.

С одной стороны, это было нарушением правил: архитектор в своем подходе неизбежно материалистичен и груб. Он по определению наблюдатель поверхностный, ему доверена только видимость города. Москва Толстого, ее *узел времени* пребывают за нею, за поверхностью очевидного.

С другой стороны, если задуматься, то это лучшая проверка: только по внешним проявлениям, по изменению видимой Москвы можно было подтвердить или опровергнуть расчеты действия толстовского узла. Задача нарисовалась утопическая; я взялся за нее, полагая, что происходит игра.

Сначала все шло чудесно. Москва, игра колец и сфер, как будто специально подготовлена для метафизического анализа.

Книга лежала рядом. Безмятежное занятие: сидишь и смотришь, как дитя, за грифелем невидимого карандаша, который наводит на «бумаге» Москвы кресты и круги. Или сферы – у Толстого о Москве все сферы. И вот ты обнаруживаешь поверх видимой, реальной московской ткани – или за нею? – эти самые кресты, круги и сферы. Постепенно одна за другой начинают намечаться закономерности в чертеже (романа и города, в чертеже времени). Однажды несколько фигур сошлись в одну – линза, легшая на карту, *совпала* с Москвой – я только на секунду задумался об их сходстве, о причине сходства, образце, от которого они равно отпечатаны, – и пропал.

## III

В сравнении Москвы с линзой открылась первая ловушка; в нее я угодил немедленно.

Эти две фигуры (города и оптического стекла) слишком друг на друга похожи. Москва определенно напоминает увеличительное стекло, так странно и так тонко искажен ее пейзаж. Она вся, как *видимый предмет*, слишком похожа на линзу. Мало того, что в плане она видится суммой концентрических кругов, надетых на одну ось (взгляд по этой оси устремляется в центр, в «окуляр» Кремля). Такому плану есть простое объяснение: так сам складывается город, прирастающий кольцами застройки. Так же просто объясняется закономерность в рисунке улиц, лучей, сходящихся в фокус в Кремле: в Московии, как во всякой деспотии, все стягивается к центру. Но этого мало.

Собственно, не в этом и дело. Дело в том, что Москва в целом как-то особенно округло видима. Она отвергает регулярно рассчитанные прямые линии, равнодушные прямоугольник и куб. Она нарезана не по линейке; в ее устройстве главным элементом является сфера, характерной чертой – кривая. Там, где грань отчеркнута жестко, возникает напряжение, физиономия города переливается через воротник.

Не твердое тело, но *волны пространства* формируют ее пейзаж.

<Здесь можно перейти к сравнениям водным (вода – самая из всех толсто-ская стихия): Москва лежит на карте каплей, медузой, плоть ее словно лишена скелета. Она не стоит твердо – плывет стаей пузырей по реке; основание ее – финское болото. Но эти сравнения *преждевременны* – если рассматривать воду как «плоть» времени – или лучше преждеисторичны, если принять за начало артикулированной московской истории пункт обращения Москвы в христианство. Водные сравнения «доисторичны», они слишком эмоциональны; эмоции сказываются в ее портрете, так же как и финская древность. Водные сообщения о Москве большей частью темны и бессловесны. Само слово Москва, очевидный гидроним, до сих пор не расшифровано. На таком основании образ города строится текуч и зыбок. Но одно только «водное» объяснение ее динамики недостаточно. Есть и другие толкования ее склонности к хаосу (к свободе?), или, осторожнее, ее нелюбви к регуляции.>

Москва лепилась, точно соты, из фрагментов сельской и слободской (свободной) застройки, обитателей ее не ограничивал недостаток территории и т.п. Вот и вырос рой, подвижное облако вместо города. Таково рациональное, «питерское», реально-пространственное объяснение. Московское «видение» противоположно: город уложен *во времени* единственно возможным образом – сферой. Он наилучшим образом помещен в ментальном пространстве.

Пространства реальное и ментальное в Москве не совпадают. Они спорят и соревнуются друг с другом. На таком фоне ее портрет заведомо конфликтен, полон анахронизмов, нестроений и разрывов ткани времени – и очень верен. Ее тело неровно, местами покойно, местами нервно, где-то просто пусто. Воздух в ней как будто состоит из смещений и складок, пещер и прорех; вид города в них текуч, искривлен и дробен.

Я помню отчетливо, как впервые заметил подвижки московского изображения. Это было в первый год моего переезда; я не привык еще к столице, на месте города видел хаос (то есть не видел города вовсе).

В тот день я сел в троллейбус № 31, ходивший по Бульварному кольцу от Трубной площади. Сел на конечной.

Троллейбус поднимался снизу от Трубной вверх по Петровскому бульвару. Стоял март; то, что дело было в марте, имеет (теперь я это знаю точно) важное значение: Москва готовилась к перемене сезона, ее пейзаж пришел в весеннее движение. День также колебался между светом и тьмой, солнце садилось – небо на западе впереди, за холмом, было яркооранжевым. Троллейбус на подъеме, точно лодку, качало и водило по слякоти, малые машины нас обгоняли – проезжая часть в этом месте бульваров весьма сужена. Наконец, задрал нос, мы втеснились в узкий проезд, ведущий к Петровским воротам.

Внезапно в переднем стекле открылся вид – в стороны разошлись низкие дома, и между ними углом вперед выехал желтый особняк с длинным рядом колонн по фасаду (числом двенадцать, я после посчитал). Особняк открылся, как-то странно наклонился и вдруг повалился набок. Я обомлел. Колонны и над ними низкий треугольник фронтона правым углом ушли вверх. Дом как будто отклеился от земли и повис в положении совершенно неправдоподобном – под ним было белое, которое не могло быть землей: угол дома поднялся в воздух. Пока я разбирался, что это белое был снег, пока связывал в голове уклон земли и положение троллейбуса, глаз успел дорисовать под якобы повиснувшим углом *мнимую* террасу, начало следующего, несуществующего холма.

Этот *мнимый* холм уходил в небо, по нему были рассыпаны невиданные, необыкновенные дома. На секунду новый город поднялся за Петровскими воротами – я успел увидеть его. Земля под ним была подвижна, как пузырь. Это и была Москва; до той секунды она от меня пряталась.

#### IV

Вот что (много позже) я выяснил о том доме.

Дом в Петровских воротах был главное здание усадьбы Гагариных, построенной в конце XVIII века, в еще малорослой, провинциальной Москве, свободно расселившейся по холмам и долам. (Первоначальный вид дома утрачен: после пожара 1812 года его для городской бесплатной больницы переустроил Осип Бове; на фасаде классический декор был заменен ампириным). Одно время дом главенствовал в окрестности, над долиною реки Неглинной. Вид его открывался отовсюду; каждый, подъезжающий к двенадцати колоннам, видел их издалека, и медленно, и плавно они над головой его всходили. Наблюдатель был готов увидеть дом во всяком ракурсе. Затем застройка вокруг здания подросла и загородила дом, он стал являться в проломе ворот внезапно, в одно мгновение напоминая о городе, некогда вокруг него лежащем.

Москва в Москве в этом месте заключена, точно матрешка. (Вот пример правильного уложения города во времени и неправильного в пространстве).

Матрешка и «обманула» меня, развернув очень быстро несколько слоев исторической застройки, – я оказался между ними в пустоте. Не столько в пустоте, сколько на свободе: это была *свобода сочинения* о городе. Я невольно принялся выдумывать. К тому же сочинителю была подсказка: передо мною, надо мной развернулась колоннада гагаринского дворца в лучшем ракурсе – в стекле троллейбуса нарисовался готовый символ послепожарной Москвы. От него, как от образца, я принялся «доставать» новый город; он вырос во мгновение ока.

Так же быстро он исчез. Затем еще не раз я проезжал этим маршрутом; того впечатления уже не повторилось.

Разворачивая хаотическую панораму, являя зрителю свои несвязуемые горизонты, Москва приглашает нас к досочинению, додумыванию себя, и тем как будто прирастает, многократно прибывает в размере. Каждый из нас сочиняет свою Москву; каждому его авторская работа видится ярче настоящего города.

Это важное правило – метафора в Москве опережает явь. Москвичи более верят слову, нежели глазу, – слово дает им представление о Москве.

Ей только того и нужно: пребывать *в представлении*. В пространстве представления одно слово может сделаться фокусом, центром кристаллизации, который немедленно обрастет Москвой. Ей только дай слово, она в нем и поместится. Рифма для пословицы, каламбур, первый пришедший на ум. Му-ква! – бык мычит с натугой, лягушка квакает, надувается до размеров быка. Разве не правильный портрет? Москва надута, спесива, переполнена пустотой, глянцева в разводах кожа прикрывает Василисины тела. Но где-то прячется эта Василиса, она прекрасна – неужели не прекрасна?

Словом, точно паролем, Москва одушевлена. Общась с нею, мы подразумеваем живое существо, к нам расположенное или нерасположенное. Немногие из городов отмечены столь ярко выраженной личностью. Так же и отношение к Москве со стороны всегда окрашено живым чувством. За ее названием не видят города (что правильно: Москва не город, скорее сумма городов, только города эти не все проклюнулись: белки пополам с желтками). В Москве сразу видна особа женского полу – с нею и ведут общение.

<Вот опять, стоило сказать *белки с желтками* – является курица, наседка, сидящая на корзине. Корзина округла, того и довольно: уже кажется, что куриный портрет Москвы верен.>

Так работает ее «оптический» прибор: вдобавок к излому улиц, наклону стен, общей сумятице, которая показывает город точно через кривое стекло, добавляется игра слов, провокация к сочинению, преобразению увиденного: *Москва во времени, в воображении, в слове есть линза.*

Она кривоколенна, вогнуто-выгнута, повороты ее улиц родственны преломлению лучей в призме. Не одна, но сумма линз повсюду рассеяна в ее воздухе. Око города пульсирует: увеличивает, приближает или, напротив, отталкивает, уменьшает повсюду разбросанные малые здания и храмы. Зрелище почти гипнотическое.

Возникает мысль, что Москва в самом деле таит в себе другое пространство, что она сама по себе есть *пространство иное.*

Здесь и захлопывается первая ловушка. Стоит только поддаться этому искушению, стоит на один миг признать необыкновенность ее пространства, как различие между Москвой и увеличительным стеклом исчезает. Она делается уже не *как линза*, но *просто линза*. Уже наблюдатель не просто верит в иное пространство Москвы – он видит его. Он пропал. Невозможно отделить реальность, растворенную в *москвосфере*, от самой этой сферы, при этом находясь внутри этой сферы, глядя ею.

## V

В какой-то момент я предположил, что Толстой в свое время угодил в московскую ловушку. И далее – как скоро он в нее угодил, так же уверенно разобрался в работе московской «оптики», и вскоре сам ею пользовался, и пользовался успешно.

Первый приезд в столицу, 1837 год, Толстому девять лет. Он застаёт ее растущей, меняющей привычный образ. Москва уже застроила прорехи пожара двенадцатого года, значительно превзошла себя довоенную. Идет строительство, неспешно, но решительно преобразующее город: домам разрешен рост, прежде невиданный.

Но главное, в Москве строится новый собор, который, по замыслу строителей, должен составить новый центр в городе, сравнимый по своему значению с Кремлем (это раздвоение очень важно, в этой разности потенциалов начинается копиться электричество, которое еще не раз Москву ударит током).

Храм посвящен победе в Отечественной войне, совсем еще недавней, после которой Москва точно родилась заново – теперь в новорожденной Москве должен быть основан новый центр. Собора еще нет; есть только его метафора – на улице Волхонка отворяется огромная яма, котлован будущего строительства. Впечатление москвичей одно: потрясение. Громадная воронка напоминает о войне, о том моменте, когда вся Москва была, словно обгорелая воронка. Теперь ткань города как будто срослась, затянулась – стянулась к этому *отверстию в небытие.*

Собором закладывалось это последнее отверстие, от него, как от краеугольного камня, начиналось новое бытие. Это означало, по сути, переоснование города. В глазах москвичей столица кардинальным, революционным образом перемещала плоть.

Толстые живут неподалеку; экскурсии к яме, к эпицентру москвотрясения, совершаются часто. Под разговоры взрослых о собирании в этом месте вся

России мальчик наблюдает (воображает) невидимое движение – город собран, точно снежный ком, – к яме.

В ней поместится без усилия весь его яснополянский холм – это он видит точно.

В яму войдет парадным строем в праздничный день все русское войско во главе с царем. Тогда в основание храма положат прах героев двенадцатого года; Москва соберется по краю ямы, война вернется в город на мгновение в едином залпе пушек.

Представим впечатление девятилетнего сочинителя – он уже тогда был сочинитель, ловец химер, которого воображение живо и возвышенно, которому слова о том, что новый собор окажется более Москвы, могут не показаться поэтическим иносказанием. Впечатление его таково: будущий собор выходит *больше Москвы*.

Слово побеждает, мнет московский пластилин, закатывает ее малый шарик в лунку на Волхонке. Москва доступна лепке, согласна на игру, впрочем, играть мне оставалось уже недолго.

Наверное, подумал я, рассматривая событие волхонского знакомства: юный сочинитель, будущий Толстой, в это мгновение попался, поддался соблазну *игры в Москву*. Момент как будто специально подготовлен: революционное изменение в устройстве города, его переоснование – и мгновение в жизни Толстого, когда он сам пластичен, когда он только учится зрению (пониманию), когда еще расставляет в голове полки для расположения предметов видимых и невидимых.

Лучшей обстановки, лучшего сочетания возрастов наблюдателя и объекта – равно растущих – и придумать невозможно.

Я стал разбирать эпизод; и вдруг все переменялось, об игре больше не было речи.

## VI

Первое, самое важное: незадолго до приезда Толстого в Москву умер его отец, Николай Ильич. Собственно, переезд в Москву был вызван этой смертью: детей перевезли к родственникам (ненадолго, затем им путь лежал в Казань).

Обстоятельства смерти отца от детей долгое время скрывали. На похороны не взяли; после того несколько лет Толстой не верил в случившееся, он ждал либо твердого доказательства смерти отца, либо чуда, ее опровергающего. Судить невозможно, ждал ли он такого чуда от Москвы; вернее, празднества по поводу закладки нового собора могли на время заслонить в его сознании ужасную потерю.

Если могли – видение *ямы* было скорее всего постоянным напоминанием об отце.

И еще, и это также следует учесть: отец был участник войны, которую теперь на глазах мальчика *хоронили*.

В самом деле, какими глазами он смотрел в котлован и что в нем видел?

Второе, не менее важное соображение (здесь только коротко, конспект темы). Новый собор, который пока только пустота и воображаемый контур, строится на его, Левушкиной, земле. Волхонка идет через родовое гнездо Волконских в Москве\* (отсюда и название улицы). По матери Толстой был Волконский: собор ему получался родственник.

Вот еще продолжение темы, которое на первый взгляд отдает мистикой, но на самом деле чертит в исследовании еще один круг, существенно важный.

---

\* Земля, на которой строился собор, была пожалована первому из их рода пришельцу в Москву, князю Ивану Юрьевичу. Прозвище его было Толстая Голова – от него пошли две ветви, Толстых и Волконских. (Пока я еще не знаю, верно ли это исторически или так говорит семейная легенда, сейчас важно вот что: девятилетний сочинитель знает эту легенду; в контексте – пространстве – этой легенды Москва *собирается* вокруг исходной волконско-толстовской точки).

Две ветви древнего рода, Толстых и Волконских, разошедшись в четырнадцатом веке, скажем так – в некие ветхозаветные времена, теперь, в новое время, встретились – отец писателя Николай Ильич Толстой в 1822 году женился на Марии Николаевна Волконской.

Для мальчика девяти лет нет нового и старого времени. Для него все время настоящее. Но что такое эта игра времен, эти расхождения и схождения родов для его родственников? В первую очередь для бабки, которая и приняла Левушку в Москве. Она бабка, которая в свое время, прямо скажем, со смешанным чувством приняла «кольцующий время» брак дочери с Николаем Толстым, теперь потеряла и дочь, и зятя. После их смерти (еще раз вспомним «Детство») она помешалась от горя; разговоров о руке судьбы в доме было довольно. И вот на ее руках внуки от того *новозаветного* брака и младший из них, Лев, сидит у нее часами, при закрытых окнах, при свечах, и слушает ее разговоры с таким же помешанным слугою. С ее стороны, в ее глазах Левушка уже не просто сумма девяти детских лет, но *игра времени*, результат пересечения и рокового конфликта времен. Его, мальчика, *узелок времени* связался на пересечении двух ветвей одного рода, некогда разошедшихся и теперь сомкнувшихся в кольцо. Для бабушки это было знамение – опустим только знак, минус или плюс, который она выставляла этому знаменю.

<Вопрос – я только задаю вопрос, который в контексте наблюдений за *поведением времени* в Москве, возможно, уместен, – так уж ли не права была его несчастная бабка? Зная, как продолжилась его жизнь, можно сказать: конечно, права. Это событие было знамение для Толстого.>

Левушка слышал разговоры о знаменьях, он был потрясен, он был изъят из привычного родного места, перевезен в новое (старое? исходное?) место, где почва ходит ходуном и отворяется не то могилою, не то воронкой (*Воронка* – река в яснополянском имении, отекающая его центральный холм с севера и востока). И вот он смотрит, как Москва и вся Россия движутся, стекаются в воронку на Волконке, чтобы из нее заново подняться новым («водным») источником, воскреснуть и зажечь новым временем. Его, Толстого, временем.

И все это движение, перемена и отворение источников жизни, оформляется как всенародный праздник. Происходит и запоминается как чудо, которое в большей мере невидимо, которое переменяет в первую очередь сокровенное его пространство, помещение души.

Станный, сложный праздник. Собор на Волконке оказался Толстому не столько родственник, сколько таинственный ровесник.

Таковы только контуры того подвижного, послушного мысли *целого*, которым могла нарисоваться Толстому Москва в мгновение его с нею знакомства. (Могла нарисоваться: все это по-прежнему предположения). Собор – еще не построенный, и это также очень важно – был для мальчика лучшим символом того *целого*. Это был его собор. Они готовились вместе к росту; дальнейшее их существование могло быть теперь только совместно и *синхронно*. Могила отца, мнимая и реальная (обе они были сведены вместе во время церковного обряда), сделалась им обоим основанием будущей жизни.

Не только собор, вся Москва, недавно будто бы исчезнувшая в провале военного времени, теперь вставала из него. Москва воскресала на глазах – это было несомненное чудо, и отчасти он, мальчик, был причиной этого чуда, во всяком случае, он помещался в самом центре события, в центре центра Москвы.

Это лишь первая попытка собрать вместе несколько фактов, или того, что самому Толстому могло представиться фактами. Попытка чертежа. Разумеется, сам он так не складывал эти факты, и тем более так не расчерчивал времени и пространства, и совсем другие слова хранил по поводу увиденного, но то, что эти факты составляли содержание и живой фон его жизни, то, что все они так или иначе участвовали в оформлении его сознания, несомненно.

<Отныне видение (где тут ставить ударение? непонятно), подвижное зрелище Москвы ему открыто. С первого же момента знакомства это видение преломляется творческим сознанием – величия истории, подвига народного и фамильной гордости и жертвы. Об этом Толстой напишет в тот приезд свои

первые опусы. «Кремль», «Куликово поле», «Марфа-посадница» и «Помпея». Последнее – о полном и молниеносном уничтожении города изощренным из бездны вакуумным огнем. Чувство, слово, первые идеи, его осеняющие, действуют, как фильТРы: Москва их посредством преобразена. Он начинает учиться «москвозрению».>

Ни в коем случае здесь не было игры в куклы с городом – напротив, первая встреча дала ему ощущение со-бытия с Москвой. Он «стал» Москвой, проникся общим с нею чувством, она была его телесное продолжение, их пульс, их рост, их утраты и раны, отверстия в небытие стали отныне общими.

То, что вскоре после чуда преобразования города Толстой уехал с братьями в Казань, только помогло сохранить первое впечатление нетронутым. Москва осталась в его памяти предметом одушевленным, и в этой памяти могла свободно и синхронно с ним расти дальше.

До времени о такой Москве у него могло быть только умолчание – вот и в «Отрочестве» он еще не может приступить к описанию Москвы *в целом* – и потому молчит. Он ищет о ней новое слово.

## VII

Спустя сорок лет в «Анне Карениной» Толстой вернется на исходное *волхонское* место: опять ему потребуется чудо.

<В эти сорок лет главными событиями были: для Москвы продолжение строительства собора, для Толстого – написание романа «Война и мир».

Эта синхронность очевидна и неслучайна. Перед нами две очень схожие (абсолютно непохожие) постройки: роман и собор. Они схожи своей претензией на ново-московский центр, своим решительным воздействием на ментальное пространство города. В известной мере они борются между собой за первенство в этом пространстве. Оба сооружения встают над пожаром двенадцатого года, оба суть храмы, произведения русской веры, опыты в вере.

Но это отдельная, во всяком смысле *серединная* тема; теперь к ней пишется вступление. Видения юного Толстого предваряют эту центральную тему, эпизод из «Анны Карениной», о котором пойдет речь, служит репликой на нее – город уже переустроен, колдовство Толстого возымело силу.>

Конец первого тома; Толстой описывает малые и как будто случайные видения Константина Левина. Фамилия герою дана по имени автора: это его герой, *львов, левин*. Также и видения героя, несомненно, *левинны, левушкины*.

*Левин*, внутри которого сидит и смотрит *Лев*, ходит по Москве кругами в состоянии полусна – он счастлив, он жених, накануне Китти Щербачка на его предложение дала согласие. (Жениховский мотив для столицы весьма важен, также важно, что перед нами опять приезжий. Опять, как сорок лет назад, когда в город впервые приехал маленький мальчик: вновь перед нами разыгрывается сюжет знакомства с Москвою.)

Роман к сцене видений Левина уже вполне развернут, драма разыгралась, уже вошел хаос в жизнь героев, виден один только блик, одна возможность счастья – Левина и Китти. Им остается ждать свадьбы. Но это ожидание есть пока еще большее смятение и туман судьбы. Здесь и требуется чудо: Толстому, более чем его героям, требуется подтверждение легитимности их брака.

Он опять начинает с умолчания. Москва для Левина словно скрыта туманом и одновременно исполнена намеками и знамениями. Самого города не видно. Знакомый жест: глаза «закрыты», зрение нами еще не заслужено, остается ждать чуда прозрения. Вскользь упомянуты Охотный ряд, Газетный переулок и Кисловка – по ним можно вычислить один из кругов, по которым в состоянии сомнамбулы ходит герой.

Сам Левин не видит ни Газетного, ни Кисловки – он «... жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни». Кружась по Москве, он различает безмянные мелочи. Мальчиков, идущих в школу, и сизых голубей, блестящих крыльями на солнце меж



пылинок снега, а также осыпанные мукой сайки, что выставляет в окне невидимая рука. Это сочетание отчего-то изумляет Левина. (Толстой за кадром взволнован еще больше: голос, слово его дрожит: «И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал».) Особенно поражает Левина синхронность действий взлетающего голубя с улыбкой мальчика, падением снега и дуновением горячего хлеба.

Он вдруг решает, что он в раю. Его окружают неземные существа и предметы.

Невольно за райской сценой я пытаюсь достроить земную, видимую Москву (в том и есть моя «архитектурная» задача: я слежу за ее поверхностью снаружи, отыскивая следы чуда в ее реальном пестром плане). Очень просто, сама собой, картина рисуется следующая. Хлеб, осыпанный снежной мукой, «видится» в окне *филипповской* булочной, что расположена в устье Пречистенского бульвара – бульвар, если двинуться к нему от Кисловки, от Арбата, поворачивает, идет вниз, вот-вот вольется в реку. Слева собор.

Тот именно, *его* собор, который с ним синхронно явился в Москву и который преобразил его и Москву. Теперь, за сорок лет, храм построен – он и строился эти сорок лет, и еще строительство не закончено, но уже непомерное тело встало над городом: храм виден отовсюду. Иного и быть не может: здесь новый (толстовский) центр Москвы.

Все же в тексте храм виден; за две страницы до райской прогулки Левина по центру (к центру) Москвы есть осторожное предуведомление. Некий храм предшествует видениям Левина: его узорчатый, чудной формы крест виден ему накануне из окна гостиницы, где он остановился. С этого креста начинается видение того, что после Левин уже никогда не видал.

Гостиница безымянна, храм также не назван. Храм существует в том же исходном умолчании, в отрыве от материального мира, в каком пребывает герой.

В середине между расчетом и верой, серьезностью и игрой.

Левин, потерявшийся от счастья, сидит перед окном гостиницы всю ночь: окно настезь, в комнате мороз – он того не замечает, для него вместе с отсутствующим пространством нет и протяжения времени. Только видно отчетливо над заснеженной крышей соседнего дома верхушку купола, цепи и крест.

Храм, наблюдаемый Левиным из окна гостиницы, похож на любой другой в округе. (Треугольник, который он «увидит» назавтра в одно мгновение в просвете между мальчиками, сверканьем голубей и хлебным духом, – райское, храмовое *помещение* – вовсе не принадлежит земле.) Но из них вместе складывается собор – невидимый, не тот, что каменным сундуком встал на Волхонке, но тот, что сорок лет назад одним контуром нарисовался в воображении Толстого. Он не случайно и теперь закрывает храм заснеженной крышей – он о нем умалчивает.

Ему вообще не свойственны храмовые акценты. И здесь они выставлены скорее как ориентиры, помогающие не столько увидеть, сколько почувствовать, поверить в расстеленный под ногами московский чертеж.

Внезапно в гостинице Толстой забывает о Левине, и сам принимается рассматривать крест над крышей, и видит (понимает) в нем уже не просто крест, но знак. Это крест координат – к нему теперь привязан Левин. Его будущий московский брак есть соотнесение с неким центральным, устойчивым пунктом, вне которого хаос и сумятица – с фокусом *москвосферы*.

Звезды в небе также отнесены к кресту. Пространство удержано вокруг него. Времени же не существует вовсе: его отменяют мгновенность видений и неземное их содержание.

Все же это тот собор, тот, чудесный, невидимый, что остался на Волхонке. Толстой изымает его *из условий материальной жизни*, обозначает только намеками и умолчаниями, только крестом на «чертеже». Одновременно он настигает туман вместо города, насыщает на Левина слепоту, поселяет в романе хаос и драму – только затем, чтобы вместо *просто* Москвы собрать *свою* Москву. Такую Москву, за которой действует, которую оформляет невидимый магнит; Москву, которую он увидел мальчиком – и собрал, одел на себя, слился с нею.

## VIII

Уже намечаются некоторые правила пользования московским инструментом. Со-ощущение Толстого с Москвой – не только Толстого, всякого чувствительного ее обитателя, – помещение себя в ее центр (каждого в свой центр!) есть первое условие. При соблюдении его инструмент начинает работать: через него Москва (и вокруг нее второю сферой Россия) делается видна законченной и совершенной фигурой. Но неизбежно этот общий вид будет преобразен сочувствием или неприязнью.

До преобразования, до сочувствия Москве, а с нею вместе и России, для Толстого нет ни Москвы, ни России. Нет столицы, нет страны, есть один аморфный, безликий материал, который только может переливаться бесцельно, обнаруживая в своем теле отдели и глубины и поверх них острова домов. Это еще не Москва, это потенция Москвы.

«Так же Толстой видит себя – до со-бытия с Москвой и после. До акта преобразования он сам лишен воли, «никудашшен» (его слово), слаб перед течением времени. Из него извлечен каркас (крест), он течет, как вода, – это его состояние условно можно назвать до-христианским, языческим; оно слишком хорошо ему знакомо. Он не хочет видеть себя таким: он и Москвы такой не видит.»

Для преодоления аморфного состояния, для преобразования необходимо высшее усилие. Только такое усилие способно одушевить блеклую плоть города (героя). Здесь сразу необходимо оговориться: для Толстого это не акт веры, но скорее действие разума, которому необходимы расчет, доказательство, близкое арифметическому. Это приводит его постоянно к составлению рецептов, правил, расписаний дня и ночи для всякого случая жизни. Даже метафизические его установления напоминают рецепты.

Рецепт толстовского *помещения души* есть центроустремление (во времени). Москве и Толстому необходимо волевое усилие по обнаружению в себе центра, точки тяготения. На аморфный материал налагается форма (идея); хаос москов времени обнаруживает в себе центр для кристаллизации.

Естественным образом для Толстого этот центр находится на Волхонке, там, где он впервые наблюдал движение московской плоти, стягивание узла времени.

Круглая, обведенная нулем Москва Толстого собираема чувством. Только в тяготении чувства она способна преобразиться, собраться точно облако опилок вокруг магнита. Вне чувства нет ни Москвы, ни московского пространства. Толстой *рассчитывает* чувство и тем творит пространство.

Прием его «прост»: он ищет образ, простой и ясный, который мог бы стать центром тяготения рисуемой картины. (На самом деле реалист Толстой ищет чуда, какое однажды ему было явлено, – всю Москву в яму, Москву в жертву, всю войну собрать в один залп стоящих квадратом пушек; пространство в крест, время в треугольник между голубем, мальчиком и хлебным духом.) Вокруг центрального, сакрального образа Москва одевается сферой.

Можно вместо московских опилок представить сферу света («оптическую» метафору архитектору применить легче). Сразу появляется существенное уточнение к образу Москвы-линзы. Линза преломляет внешний свет – Москве необходимо иметь в своем фокусе *собственный источник света*. Только так может начаться ее мобилизация, переход от аморфного состояния к образу, к форме.

Далее сложнее: *свет* заменяем на *время*. Собственный источник времени в Москве мобилизует, собирает ее сферу.

Источник нового времени – ключ, «водный» узел – Толстой наблюдал (воображал) в глубине волхонского котлована.

Дальше еще сложнее: круг нового времени, расходящийся от волхонского источника, ключа, узла, от Москвы 1812 года, представляет, по мнению Толстого, сферу всей современной русской истории.

Не протяжение истории – пространство. Протяжение истории России – то, что, по мнению Толстого, ей навязал Петербург – есть ее произвольное

сужение, механическая проекция, которая стремится выдать себя за всю ее полноту. Полной русской истории нет вне московской идеи, московской формы. Собрание ее, сочинение новой истории России невозможно без нового центра. Этот центр – московская, евангельского рода жертва; со-бытие двенадцатого года. История Толстого есть обязательно христианское *центросо-держание*, движение к (новорожденной) Москве и от нее.

Здесь видится основание его сотериологии, учения о «московском» спасении души.

И, наконец, самое сложное и спорное: сферу времени одушевляет новый человек. Он один затворяет вокруг себя вращение, плетение узла времени. Новый человек, ровесник нового собора, вставший на перекрестии родов, в узле времени, сам узел. Человек, нашедший себя во времени, преодолевший свою аморфность, обретший в Москве христианский каркас и чертеж – сам Толстой.

Он исполнен невероятных амбиций. Он почти христообразен (в этом *почти* заключена великая сложность, источник многих дальнейших потрясений, его и Москвы).

Еще этот счет, аптекарский, подробный, отдающий неметчиной. Толстой всерьез озабочен исследованием свойств времени; а именно собрания, аккумуляции времени, которое современной ему наукой еще не описано и тем более не рассчитано. Он решает сам эти свойства описать и рассчитать.

Новое пространство станет результатом его расчета.

<Замечательно: пространство для него – выдумка. Он точно рожден был архитектором.>

Он действует в ментальном поле – для Москвы это самое чувствительное действие. И для Толстого, и для его Москвы *пространство вторично*, оно есть то, что вне их, вне центра. Толстой и Москва полагают себя источниками пространства. Словно воздухом, они одеваются ими же сочиненным русским пространством. Вся Россия – их выдумка.

Вместе Толстой и Москва живут химерой идеального управления Россией. Часто его конфликт с Петербургом объясняют уязвленным самоощущением: Петербург ему не покорился. Разумеется, не покорился – не вошел, не включился в его совершенную сферу времени. В самом деле, Петербург живет идеей приоритета пространства над временем. Во времени он неизменяем; по способу образования мгновенен. Время в нем – слепок с идеально выстроенного пространства. Питер управляем своей поверхностью, внешностью. Толстому это непереносимо, но также и Толстой Петербургу несносен: он напускает вместо пространства туман времени, в котором Петербург вовсе не виден. Их отторжение взаимно.

Толстой властолюбив, чувство власти ему дано необыкновенное. Даже его религиозное чувство дополнено жадной властью. Он желает не только спасаться, но и властвовать вместе с Москвой. Оттого он делается писателем, властителем слова. Слово имеет в Москве силу почти волшебную – Москва покоряема словом, слово есть первый московский фокус. Одно уже слово *власть* в Москве действенно: ее подвижная поверхность составляет поле для игры властных импульсов.

Но Толстой, овладевая словом, желает встать выше власти. Что такое эта власть над властью? Удержание времени, власть жреческая, духовная или к ней стремящаяся.

И еще раз, и вновь о том же – теперь мы можем судить определенно: он добился своего, его «наивные» расчеты оказались (в московском поле) верны.

Во всяком случае, так – победительно, успешно – работает Толстой-художник: *оборачивается* сам округлым, производящим время инструментом. Не прямо отражающим зеркалом: картин, просто списанных с природы, у него немного. Ему непременно нужно преобразование увиденного, сжатие реальности, фокусировка ее в «оптическом» механизме чувств. Он в любой ситуации го-

тов обернуться увеличительным стеклом, в самом себе, через себя наблюдая внешний мир.

В этом видится не выход из московской ловушки, но вход в Москву. Толстой не боится смешения города с образом его восприятия. Он угодил в первый свой приезд в Москву как в прорву, здесь его посещали грезы, и грезы мешались с Москвой. Но он нашел себя в этом облаке, более того, москвооблако собрал на себя.

<И вновь о том же, о завороченности москвитов толстовским словом. Они с головою в москвооблаке. Мы все в нем с головой, только им и дышим. Мы влечемся, как мотыльки, на толстовский источник «света», пьем из его ключа времени, валимся в его ловушки и западни, видим на месте Москвы волны и кривизну и округлый поместительный образ, вне которого *нет спасения*.>

Толстой не избегает соблазна досочинения Москвы – напротив, он только к нему стремится. Он может работать одними умолчаниями: этими умолчаниями он и нас побуждает домысливать Москву. Вслед за ним мы видим ее иную, большую. Через его диоптрии она другой увидеться не может.

И опять – здесь сказывается нечто большее, нежели просто мастерство. Соощущение, со-бгитие с Москвой, которое он узнал ребенком, им по-прежнему владеет: Толстой не просто полагает или рассчитывает, он *чувствует* себя Москвой. Он побывал в ее фокусе, почувствовал ее тяготение и вслед за тем встал в центр тяготения, сам «стал» Москвой.

## IX

Пьер Безухов – его главный герой-инструмент. Вот и его фигура в сильнейшей степени напоминает прозрачное, собирающее свет стекло. Неудивительно: Пьер вслед за автором сам погружается в Москву и затем «становится» ею. Он становится способен к новому зрению. При этом, в отличие от Левина, которому Москва открывается внезапно, он делается москвитом постепенно. И еще: Левину открывается фрагмент Москвы, его видение локально – Пьер после овладения московским зрением видит ее уже не локально, но *полно*.

Становление Пьера человеко-инструментом для Толстого – сюжет формообразующий. Пьер – сначала не стекло, он другой материал – податливый, меняющийся, аморфный. Пьер рыхл и инертен, большинство его движений суть *недвижения*, они игра тайных, порой заумных расчетов, упражнений ума. Но постепенно пребывание в Москве сплавливает его исходный студень.

В начале романа он ничто, в конце – все. В начале он химера, туман из чужих слов, в конце он обретает полный здешний вес и, согласно имени, надежность и крепость *камня*. («Война и мир» строится наподобие собора с «апостолом» Петром, Пьером; «Собор Петра» строится синхронно с каменным сундуком на Волхонке – тут мы можем наблюдать некоторого рода соревнование, у кого главное московское сооружение выйдет лучше.)

Даже и внешне, политическое изменение Пьера показательно. В начале книги он человек заграничный, лишний, незаконнорожденный, в конце – человек-столица, очерком напоминающий ноль, от которого расходятся координаты романа. (Это важный мотив – *остоличивания*, *омосковления* Пьера, без этой метаморфозы его главенство в романе бессмысленно.)

И вот о чувстве, собирающем московские опилки: решающим событием во всем романе – собственно, *всем романом* – становится роман Пьера и Наташи. Наташа для Толстого – воплощенный символ Москвы: он женит Пьера на Москве (Наташе). Из текста следует со всей очевидностью – это было чудо, необъяснимое и невозможное, но оно произошло. Брак Пьера с Москвой состоялся.

Толстой прежде своих героев сам ищет руки Москвы. Возможно, переживая свой роман с Софьей Андреевной, он стремится повторить свой успешный детский опыт. Таинство воскрешения (города) он тогда наблюдал, теперь ожидает таинства брака. Он прежде своих героев ходит по Москве ничего не видящим женихом, теряет голову, испытывает головокружения. Он сватается к Москве (Софье); его искания успешны. При этом ему выпадает заверше-

ние свадебных ожиданий самое необыкновенное: он венчается с Софьей Андреевной в *Кремле*.

Здесь как будто все просто: отец невесты, Андрей Берс, служит в Кремле лейб-медиком. Но эта просто объясняемая – по месту работы тестя – свадьба оборачивается для Льва Николаевича настоящим духовным потрясением. 23 сентября 1862 года в дворцовой церкви Рождества Богородицы, древнейшей из всех тогдашних в Кремле, Толстой *венчается*.

Храм спрятан, почти растворен в теле дворца, интерьер его, внутреннее содержание, решительно преобладает над внешним – это очень по-толстовски. (Я долгое время думал, что их венчание было в Ризоположенской церкви, что стоит дверь в дверь с Успенским собором, где *венчались* на царство цари; но тут ошибка невелика: так или иначе таинство толстовского брака совершалось в самой московской сердцевине.) Тут любому взойдут в голову возвышенные химеры, что же говорить о Толстом, с его тщеславием, амбициями, с ощущением собственной необоримой силы?

Возможно, здесь, в это мгновение, Толстой делается окончательно *москвоцентрист* и *антипетербуржец*. Здесь все для него сходится в необходимый фокус мыслей и чувств: вместе власти и спасения (власти над временем) можно достигнуть в Москве, в Кремле. Только глядя из Кремля, можно увидеть и понять, переустроить и тем спасти этот мир. Непременно *переустроить*: он все же «немец», сын своего века. Можно еще уточнить (он первый писатель века): ему нужно не столько *переустроить*, сколько переписать, *пересочинить* этот мир.

Толстой берется за пересочинение. Перед ним великая задача: написать роман большой, способный собрать мир заново. В этот большой роман непременно поместится его собственный «малый» роман, приведший его к венчанию в Кремле. Для создания кремлевского романа Толстому потребуются все силы и знания, но раньше всего способность особого видения и понимания, фокусировки и сжатия, преобразования действительности – та именно способность, которой его наградила Москва.

Роман он напишет не о себе – как можно такое написать о себе? О себе возможны только умолчания. Он напишет роман о Пьере.

<Есть свидетельства: своим кремлевским венчанием он был как будто разочарован. Но было ли оно, это разочарование? два слова в дневнике о свадьбе – *торжество обряда* – говорят скорее об умолчании, сокрытии истинного впечатления жениха. И потом, даже если и было разочарование, оно показывает скорее, насколько велики были его ожидания и что такое была его мечта о кремлевской свадьбе.>

Да пусть они будут, разочарования, – зато у Пьера их не будет: его роман и брак с Москвой будут оформлены идеально.

Пьер подобен Москве – Москва пьероцентрична, человекоподобна.

Здесь в полную силу включается в работу столичный инструмент: Толстой смотрит на Москву, на Пьера через (сквозь) фокусирующую, магнетическую сферу романа. Ему нужно понять, что с Пьером, что с Москвой произошло в двенадцатом году. Произошло следующее: Москва, как Пьер, преобразилась – сосредоточилась в тяготении общих чувств, в фокусе общего зрения, вернулась с периферии народного сознания в центр, в столичное состояние. Россия вновь нашла в себе Москву, новая русская история обнаружила центр, источник времени.

По крайней мере того желает Толстой: он сущий москвоклонник.

Итак, у него есть своя вера, есть метод «видения», который он обрел благодаря этой вере, есть уже состоявшийся сюжет – о становлении и утверждении этой веры, есть герой, в высшей мере ему подобный, есть даже роман, увенчанный свадьбой в Кремле, через который виден уже роман идеальный, который только остается написать. Готов, работает, весь собран чудесный московский инструмент.

## X

Нет, не все еще готово, еще неясно, насколько готов сам автор к использованию волшебного инструмента. Здесь выстраивается перекресток одновременно простой и сложный. Готовность Толстого к «игре в Москву» не вызывает сомнения – тем более что в необходимой мере он от Москвы отстранен. Он человек по-прежнему приезжий, поставленный перед необходимостью совершения чуда, всякий раз, по всяком приезде в Москву.

Здесь можно вернуться к самому началу, к рассуждению об идеальной толстовской позиции, неназываемой середине между расчетом и верой, серьезностью и игрой. Собственно, это не позиция, это дар Божий – поместить себя в эту младенчески чистую середину. У него есть этот дар – абсолютно серьезного отношения к своей «детской» игре, настолько серьезного, что сам он почти не различает (или не хочет различить) границы между игрой и «времятворением», чудотворением Москвы. Это единораздельное, не различающее самое себя двоение есть еще один его послушный инструмент.

В раннем детстве ему явилось ощущение причастности к некоему источнику бытия. Ощущение явное, почти телесное. Детство, и даже младенчество, и даже нечто, ему предшествовавшее, было неким *целым*, от которого позже он был отделен, «отпечатан», точно от матрицы. (Толстой затем утверждал всю жизнь, что помнил – так же, телесно, – об этом исходном «теле света».) От «тела света» он отделился и далее только ощущал, как быстро удаляется от него.

Это скорое удаление было им остро и болезненно переживаемо.

Где-то там и тогда, в утраченном Эдеме, когда была жива его мать – ее он также помнил, уверен был, что помнил, хотя лишился ее годовалым ребенком, – там пребывали срединные *центр* и *целое*, те, что не нуждаются в словах для оформления, те, что прежде всяких слов и дефиниций. Воспоминание об этом он сохранил, и далее он только искал возможности и способа возвращения.

Его черчение и расчеты были прежде всего поисками рецепта: как преодолеть разрыв с *центром* и *целым*.

Разрыв очевидный, многое объясняющий. Сиротство, «округлившееся» к девяти годам, когда Толстой потерял отца, – к тем именно девяти годам, когда его приняла в свое лоно Москва, – это его круглое сиротство отменяет абстракцию расчета и черчения, а с нею и веселую игру. Всю жизнь он непрестанно додумывает, досчитывает, «доигрывает» мир, которого лишился в одночасье. Стремится укрепить проект, выдумку правильностью вычисления сфер – как будто, расчислив сферы верно, он может перекроить равнодушные время и пространство, отменить остывание, убывание жизни. Вернуть родителей, самому к ним вернуться. Сферы были нужны ему не сами по себе: сложив их, он стремился найти источник, их производящий, «тело света». Он ищет верного рецепта возвращения к счастью: его детские, а затем и взрослые утопии подложены трагедией.

(Его главные планы были не о власти. Даже если он искал власти, то скорее такой же, детской: какой обладает девятилетний мальчик в своих мечтаниях. Такой, чтобы осуществлялась безболезненно и мгновенно: махнул зеленой палочкой – и все люди на Земле счастливы.)

Это было недалеко от верования в Бога.

Москва внезапно перед ним открылась, в то мгновение, когда под ногами его была бездна. В подвижном облике столицы было скрыто обещание (возможность? способность?) оборотиться в Эдем. Москва как будто для него менялась на глазах. Почему, кстати, *как будто?* Котлован на Волхонке был пригоршнею, в которой ему одному было дано поместиться. В нетвердом воздухе рисовалась будущая фигура – не самого собора, это была *фигура потенциальная*.

Москва была в то мгновение как будто на сносках, она и без того вечно беременна временем – а тут невидимое чрево взросло до небес. Верхняя его полусфера была синий небосклон, нижняя – глиняная чаша (яма). Остается различить младенца; что такое этот младенец? Да он сам и есть младенец, обернутый пустотой.

Можно развернуть метафору – что такое было воспоминание Толстого о своем пребывании в «теле света»? не пребывание ли в материнском чреве? До этого он легко мог задуматься, довычислить, довычитать свой возраст до нуля и даже величины отрицательной.

Еще легче Москве было перед ним предстать матерью – так и случилось; материнские *представления* ей удаются великолепно. Как он мог не отозваться? Он был совершенно ею завоужен.

Здесь сходятся исходные позиции, теперь их можно дополнить: Москва занимает Толстого, но также и он ее интересуется чрезвычайно. Она ему видится (оптическим, магнетическим, историческим, литературным) инструментом высшей сложности для устроения архитектуры истории (через архитектуру чувства) или так – для остановки однообразно, питерски идущего времени, для возвращения в Эдем. Но также и Толстой, «часовщик», творец мироустроительных химер, нужен Москве, чтобы в «линзе» его романа ее вновь увидели главной из столиц, (недвижным) центром во времени.

Он искал в ней убежища, которое заменило бы ему семью, и как будто нашел убежище, и обрел семью – материнская потребность Москвы была удовлетворена. Через родство, через подобие с Москвой он узнал себя, в себе различил потенцию новой формы – до того он был лишен формы, представляя, по его же признанию, только лишь аморфный материал человека. Он брал уроки у Москвы; позже она многому у него научилась. Сюжет о Толстом и Москве есть история взаимного оформления, взаимного расчета и дополнения. История объединения и вместе с тем конфликта.

<Здесь начинаются противоречия, касающиеся его *как будто* найденной семьи, его *как бы* веры, очевидно зависящей от его же арифметической «немецкой» логики, его *почти* религиозного отношения к Москве, на которую он готов был молиться *как* на икону, но все же на расстоянии – в Москве он останавливался только по необходимости и при первой возможности уезжал в Ясную Поляну. Эти противоречия нужно рассматривать в подробностях. Легко вычертить для них обоих общую сферу, с центром на Волхонке.

Но вот как раз самое заметное и масштабное противоречие. Для Москвы яма на Волхонке – это второй центр: с учетом «толстовского» собора Москва эксцентрична. Второй центр столицы на Волхонке был и остается источником постоянного московского напряжения, *источником войны*. Это не метафора: пространство между Кремлем и новым собором очевидно конфликтно. Ситуация раздваивается: Толстой есть Москва – Толстой против Москвы. Прежде романа «Война и мир» случились война и мир Толстого с Москвой: название *их* роману было готово заранее.

Главный герой его известен: Пьер – он между ними помещен, он их общее дитя, равно «похожее» на обоих родителей, округлый, переполненный, обезвешенный фантом, сам себе выдумка.>

Противоречия не отменяют главного, они только украшают картину: роман Толстого с Москвой состоялся. Лучше так: он совершается, он длится. Мы обнаруживаем себя в его пространстве, в процессе постоянно себя повторяющего, самого себя воспроизводящего обряда. Нет толстовского инструмента Москвы, нет ее увеличивающе-уменьшающего предмета, нет в ней вообще предмета видимого – есть предмет времени, обряд. Толстой вместе с Москвой, над нею, против нее совершает действие, от которого с ней и с нами происходят перемены самые решительные; ее физиономия меняется в процессе принятия или отторжения его центростремительных идей. Этот процесс принятия-отторжения и есть Москва, композиция во времени, не в пространстве.

Или – если Москва все же место, позиция в пространстве, то это та именно срединная позиция, сводящая несводимые пары – расчет и веру, серьезность и игру.

Ее существование единораздельно. Двигаешься по ее часовому кругу, по большой московской шестеренке, и чувствуешь разом успокоение и тоску. То и другое касается фигуры мира, которая так хорошо в Москве видна. Их кон-

туры слишком схожи; ходишь и гадаешь: не то Москва заслоняет собою мир, не то проясняет, уточняет, доводит до совершенства его неясный очерк.

Движение по ней сменяется то и дело недвижением; московская точка силится протянуться, раздвинуться. Через «пространство» точки движется роман, в ней не помещаясь, ее переполняя.

Это звучит довольно отвлеченно и уже готово замкнуться в рамках некоей метафизической схемы. Между тем Москва в той же степени склонна к схеме (сферы), сколько всякое мгновение ею утомлена. Она не любит сложности, сколько бы ни была сложна сама; метафизика в чистом виде ей претит. Приключения душевные хотя бы для равновесия ей необходимы. (Так и с Толстым: его трактатам – он их затевал в большом количестве – она предпочла роман.)

Приключения обеспечены московскому наблюдателю; ее плоть есть уже сюжет, сумма, роение сюжетов. Исследование ее, самое строгое и последовательное, само распадается на эпизоды, тем более пестро и дробно это собрание заметок и эссе, которое стопками бумаги перемещается с угла на угол на моем столе. Несколько раз начало менялось с концом, разве что [московская] середина незыблема.

Но я забежал вперед; наблюдения начались давно и, по сути, случайно.

## ПЕРВАЯ ГЛАВА

### I

Наблюдения начались с эпизода непримечательного. Настолько незаметного, что теперь, по прошествии многих лет, я затрудняюсь определить точную дату произошедшего. Между тем это весьма важно. Со временем я попытаюсь объяснить, в чем заключается эта важность, пока же определим началом исследования 1978 год.

Даже так: лето семьдесят восьмого года. По-моему, это было летом; пусть будет июль. Я помню окно, залитое солнцем; за окном темно-зеленые листья деревьев отекают маслом.

Мне понадобилось ответить на вопрос, странный вопрос, не имеющий к моим тогдашним занятиям никакого отношения.

Следующий вопрос: *зачем так несправедливо поступил Лев Толстой по отношению к своему герою, князю Андрею Болконскому?*

Бывают ситуации нелепые. Вы встаете перед окном и говорите (небесам?): нет, тут все неправильно, тут какая-то ошибка, он не мог с ним *так* обойтись. С князем Андреем. Как – *так*? Да *как-то так* – неопределенно, нехорошо.

Князь Андрей у Толстого пропал, провалился между страниц, и объяснения этому у меня не было. Откуда взяться объяснению? Мое воспоминание о романе на тот момент было смутно: книги со школы я не читал, даже в голову прийти такое не могло: что это – перечитывать Толстого? Мне было двадцать лет, Толстой остался в школьных летах.

Среди неясного воспоминания о книге, которое, в общем, меня не тревожило, выделялась одна эта фигура. Воспоминание об Андрее было неполное и нехорошее. История его (в памяти) выглядела незаконченной.

В самом деле, князь не нашел ни славы, ни счастья; с Наташей Ростовской у него вышел какой-то зигзаг: сначала был помолвлен, потом поссорился, потом смертельно раненный помирился – и исчез. Именно исчез. Умер тихо и непонятно, точно его задушили в простынях.

Не в конце книги, это было бы хоть как-то *справедливо*, нет, пропал где-то по дороге; остальные добрались до счастливого конца, а он сгинул. Не на Бородинском поле – на это я был согласен, – не в Москве, а непонятно где, еще никак я не мог вспомнить где, помнил только *белое*. В чем-то белом Андрей исчез, словно утонул в бумаге или его вытерли ластиком. Толстой вытер. Зачем?

Я до сих пор отлично помню ощущение дискомфорта после первого чтения романа. Остальное улеглось в памяти безмятежно. А тут досада не отпус-



кала; мало того, за несколько лет (нужно уточнить с датами, с пятнадцати до двадцати – за пять лет) это впечатление только укрепилось: Толстой с Андреем поступил *несправедливо*.

## II

Неизвестно, как оценить работу судьбы, которая подбросила эту детскую загадку – *зачем так обошлись с Андреем?* – в тот момент я не был готов к ответу<sup>1</sup>. Я только видел странность образа, ошибку (так представлялось тогда), нестыковку в портрете князя, ломаную линию, которой движется герой. И странное окончание этой линии, след ластика или в бумаге дыру – вот что я видел. Архитектурные штудии, коими я тогда был занят, только подогревали недовольство: мне нужен был законченный «чертеж».

Как будто совершался суд: в двадцать лет я судил Толстого, как рисовальщика, проектировщика судеб: фигура Болконского ему не удалась.

Не так, разумеется. Ничего я не судил Толстого: я недоволен был собой. Я понимал, что здесь нет ошибки, – персонаж, задуманный или воплощенный с ошибкой, попросту не состоялся бы. Он остался бы в черновиках или вошел в рукопись, но не добрался бы до печати или, попавши в печать, дошел до читателя, скоро оказался бы забыт. Разве можно так сказать о Болконском? Нет, тут дело было сложнее. Он *вышел в свет* и всем запомнился – так запомнился, что даже человек случайный (я в тот момент был именно такой человек) пять лет не мог прогнать его из головы.

Толстым по отношению к нему был применен некий успешный *прием*. Может быть, очень простой прием, который все никак я не мог понять.

Понять было необходимо (отчего? откуда взялась эта настойчивость? только теперь я начинаю задумываться отчего); и вот, наверное, еще в школе – кстати, это легко могло начаться в школе, уже тогда я отличался тем, что выдумывал на уроках ересь, писал возмутительные сочинения, за что не раз бывал бит по голове, – может быть, тогда я принялся выдумывать объяснение Андреевой нелепости. Это происходило постепенно и незаметно. Постепенно и незаметно я вывел версию – карикатурную, заведомо неверную – по-прежнему не прикасаясь книге, по одним только обрывкам воспоминаний. Выдумал, посмеялся и приготовился уже на ней успокоиться.

Но вот пришел день, дату которого я пытаюсь сейчас определить. В середине июля (пусть так) 1978 года (так), в полдень примерно, я вспомнил об Андрее. Привычным образом перечислил в уме обвинения автору, в тысячный раз вспомнил вопрос: *зачем так?* – рассказал себе свою карикатурную версию, над нею посмеялся – и вдруг ответил совершенно иначе и притом очень просто на свой первый вопрос.

Смехушел, все сделалось серьезно, более чем серьезно; нарисовалась даже формула, согласно которой все, что совершилось с князем, было *закономерно и справедливо*.

### Что такое была первая версия?

---

\* Первая же книга, сколько-нибудь на этот счет содержательная, ответила бы на этот вопрос без затруднения. К примеру, так. Роман Толстого есть хроника биографическая, все главные герои списаны с реальных прототипов, ближайших родственников автора. Ростовы и Болконские – это Толстые и Волконские – княжна Марья, к примеру, это родная мать писателя, Мария Николаевна Волконская (еще бы он не любил княжны Марьи). Все герои так же мало изменены в своих портретах, как и в фамилиях. Семейные мизансцены, встречи и разлуки перенесены в роман почти без изменения. Списаны все, кроме Андрея Болконского. Он был выдуман. Оттого рисунок его судьбы делается неясен. Кстати, в первом полном варианте романа Андрей остается жив. Но затем, по долгом размышлении, князь вновь умерщвлен: показательные сомнения. Сомнения и неудобства автора сказываются в судьбе героя, отсюда недовольственность и дискомфорт читателя.

<Скорее все-таки рассказ, поспешный, эмоциональный и не особо аргументированный. Какие самому себе нужны аргументы? Никаких не нужно, только произнести рассказ с выражением.>

Версия была такова: прием Толстого заключался в том, что он вместо героя писал *карикатуру на героя*. Ничего он не запутался и не ошибся с Андреем, он таким и хотел его вывести и такого пожелал ему конца, негероического и нелепого.

Он не просто был несправедлив к герою, не просто сознавал свою несправедливость – он преувеличивал, подчеркивал ее. В этом был его прием. Толстой действовал от противного: вместо возвышения героя он смеялся над ним. Болконский был у Толстого антигерой. Он искал повода, для того чтобы вволю поиздеваться над князем. Почему? Ему очевидно не нравилась романтическая физиономия Андрея (необходимая для сохранения исторической правды, для создания типа – как же про войну и без типичного героя?).

Особенно постоянные позы Болконского раздражали Льва Николаевича.

Пусть эти позы будут *питерскими*, так еще лучше. Этого было достаточно для нелюви Толстого к князю: ему претила столичная поза Болконского, и он смеялся над позой, а заодно и над столицей. В итоге прием Толстого был *насмешка над князем*.

Отличный прием. Я вспоминал роман и «видел», как последовательно он был реализован: точно за шиворот, автор тащил Болконского от сцены к сцене, то поднимая под облака, то бросая вниз, притом всегда вдруг, внезапно, без объяснения. Это было подобие спектакля (оперного), в нем все были напыщенные слова и позы. Всякий эпизод с участием князя, если только рассмотреть его отдельно от общего хода событий – я так и смотрел на него, – выглядел неестественно и неправдоподобно.

Что там в начале с Андреем? «Не женись, душа моя, не женись!» – заявляет он Пьеру; сам едва женат. Таково начало. Красавец, весь в белом адъютант, жена – первая в Петербурге красавица, *дом – лучший в Петербурге*, все в нем с иголочки – Андрей разочарован всем. Он хуже Анатоля: тот хотя бы пьет и буйствует, так или иначе живет; этот изображает жизнь – ходит точно по сцене, цедит слова сквозь зубы. Ломака, позер. «Женись стариком, ни на что не годным, а я еще сгожусь, вот брошу жену, поеду воевать с Наполеоном, там будет мой Тулон! Все отдам за минуту славы, ни отца, ни (беременной) жены не пожалею». И бросает жену, едет воевать, бьется с Наполеоном – как там было дальше? подхватывает знамя, разворачивает бегущее в панике войско, впереди всех бежит на врага. Но вдруг как будто кто-то железной палкой бьет его по голове (некоторые цитаты я почему-то помнил дословно), и князь лежит, смертельно раненный, раскинувшись картинно на груде тел. И к нему подходит небожитель Наполеон и молвит: «Что за бравая смерть!»

Спрашивается: правдоподобно ли это? Нет. Это чьи-то мечты или нарисована парадная картина: все слишком театрально и напыщенно. Толстой не терпел такой парадности – он *все подстроил намеренно*. Сам уложил Андрея, прикрыл знаменем, подвел к нему кумира и первый же посмеялся: кумир оказался ничтожным, пузатым человечком с неприятными актерскими замашками.

Мало оскорбления кумира: за секунду перед тем Толстой успел перевернуть Андрея на спину и показать ему *небо*. Но что такое показать перед смертью фарфоровому полупетербургскому офицеру высокое небо? Князь не знал, что такое это небо, – всю жизнь, которая сейчас и закончится, он провел, точно статуэтка на полке. Андрей не видел неба, и вдруг увидел, и понял, что жизнь прошла впустую. Сознание этого есть казнь самая жестокая: Толстой награждает князя этим сознанием.

Далее убитый воскресает.

Следующая сцена та именно, что впервые заставила меня усомниться в серьезности истории об Андрее. Здесь я в первый раз заподозрил у Толстого карикатуру.

Жена, оставленная в глуши с жестоким свекром (слово *жестокый* следует читать с надрывом), в муках рождает сына, умирает – и вдруг в ту же се-

кунду (!) муж, как будто с того света, весь в черном мертвенно бледный вбегает.

В ту же секунду! Как можно это написать серьезно? Не романтику, не даме, пишущей на досуге сцены, от которых она первая заливается слезами, – как можно было написать такое Толстому? Только отстраненно. Только в ясном сознании, что ты пишешь либретто оперы, сюжет, исполненный нелепицы и надрывов. Только смеясь.

Толстому – все же я помнил что-то о Толстом – было свойственно чувство юмора. Несколько громоздкое, иногда превосходящее меру. Английский юмор был ему знаком, англичанам он как будто подражал. Охлажденный, несколько отстраненный английский юмор – и вдруг эти пылкие сцены. Конечно, он смеялся.

Бог с ними, с англичанами. *Представление* Андрея продолжается; оно по-прежнему чересчур романтично. После смерти жены князь принимает новую позу, запирается в имении и намерен похоронить себя заживо.

Где-то тут (вспоминал я) появляется дуб. Картина с дубом есть безусловно оперная сцена. Князь из-за левой кулисы выезжает на тройке – посреди сцены высится сухой и мертвый дуб. Князь обращается к дубу как к другу – *и я, старик, вот так же сух и мертв, и как мы оба правы*, – после чего удаляется за правую кулису. Спустя малое время князь появляется из-за правой кулисы, едет обратно через сцену – дуб зазеленел! Андрей Болконский выходит на край сцены и, проливая слезы, поет: *нет, жизнь не кончена в тридцать один год*. Господи помилуй! Что за странная постановка? Это опера: Толстой смеется над оперой.

(Смеялся не Толстой, а Наташа Ростова, увидев в опере в нарисованных небесах дыру вместо луны и Джульетту в три охвата, но я этого не помнил, помнил только, что была насмешка над оперой. Вывод был: Толстой не просто видит в опере фальшь – он забавляется ею, заставляет Андрея петь в опере, *смеется над ним*.)

Забыл: между двумя ариями Андрея у дуба помещается его первая встреча с Наташей.

Юная фея Наташа при встрече в Отрадном, куда князь заезжает по случаю, совершает чудо: подошед к князю на пуантах, она касается деревянной фигуры Болконского волшебной палочкой, и он молодеет, зеленеет, оживает.

Вместе со сценами у дуба выходит очень смешно. История князя Андрея делается подобием комикса. Неправдоподобный, сказочный, временами страшноватый сюжет. Притом сюжет законченный: карикатура удается Толстому.

Дальше – больше. Преображенный чарами феи князь решает заняться государственной деятельностью, едет в Петербург и *в три дня* делает молниеносную карьеру, разом оказавшись главным помощником Сперанского, всея России реформатора. Едва приехав в столицу и только оглядевшись, перешагнув не глядя Аракчеева, он уже пишет конституцию. Можно ли поверить в такое? Нельзя. Зачем это возвышение, неправдоподобно скорое? Вот зачем. Толстой возносит Андрея как можно выше в государственном поприще, чтобы тут же, точно с обрыва, спустить его вниз. На новогоднем балу (либретто длится) Андрей встречает знакомую фею Наташу, опять она касается его волшебным инструментом – и в одно мгновение он уже не министр, а жених. Министерство *мгновенно* позабыто, вчерашние соратники – лицемеры или люди недалекие, истуканы, питающиеся цифирью. Сперанский смеется деревянно. Вверх – вниз, и все в одну секунду: ломаная линия продолжается.

Князь ездит женихом в дом Ростовых, вдруг исчезает, затем так же, без предупреждения, является, и что же он привез? Сюжет из той же оперы: *жесток* отец, напугавший когда-то до смерти первую его жену, теперь препятствует второму браку. Он отправляет князя от невесты прочь, за границу, на год. Це-ль-й-год! Слезы, страсти, раздиранья души.

Год нет Андрея; *за три дня* до его приезда невеста собирается бежать с красавцем (мерзавцем) Анатодем.

Тогда не знал я мыльных сериалов, а то бы не сомневался, с чем сравнить этот роман в романе. Неестественный, демонический, полный поз и надрывов *противтолстовский* сюжет. Мог ли Толстой написать такое всерьез? Не мог. Я утверждаюсь в своей версии все более: автор решил, что фигура князя Андрея, несомненно, характерная для своего времени, заслуживает насмешки, что она насмешкою может быть *оформлена*, и потому хладнокровно и последовательно вел эту фигуру точно через полосу препятствий (насмешек), стараясь на каждом повороте уязвить Андрея возможно больше.

Невеста изменила, страсти бушуют, свадьба отменена. Князь по всей России ищет обидчика Курагина, чтобы вызвать его на дуэль, но не успевает: начинается война.

Отец скончался, имение разорено, судьба родных Андрею неведома.

Самого Андрея судьба ужасна: на Бородинском поле он получает ранение в живот.

Здесь нужно на секунду отвлечься от *сочинения*. Смерть, которую выдумал автор для князя, на первый взгляд поражает своей бессмысленностью. Но прежде всего – для романтического героя – она вызывающе реалистична.

Ранение, полученное после шести часов стояния в резервах, безо всякого дела, под падающими с неба бомбами (полученное, кстати, по причине очередной позы: князь постеснялся лечь на землю перед взрывом), было ранение «севастопольское». Такого рода настоящих смертей Толстой на *своей* войне, в пятьдесят пятом году в Севастополе, посмотрелся сверх меры.

Здесь вместо насмешника в авторе просыпается любитель правды. И в этом внезапном изменении нет никакой натяжки. Это (для моей версии) самый логичный конец князя: в наказание за позы, за все неправдоподобие и нелепость прошедшей жизни Толстой приканчивает Андрея более чем правдоподобно. Демонстративный жест: течение неправды, романтической выдумки прекращается правдой, описанием строго и сухо реалистическим.

<Цитата, которой, конечно, я тогда не помнил, – если бы вспомнил, только укрепился бы в общем приговоре: Толстой пристрастен к Андрею. Перед тем как избавиться от героя окончательно, он имеет жестокость напомнить ему еще раз о его ущербности. Первое унижение было в эпизоде с небом, теперь окончательный диагноз. Вот *самонаблюдение* Андрея накануне Бородинского сражения: «... все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло при искусственном освещении. Теперь он увидел вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти *дурно намалеванные картины*...»

Здесь – мне казалось это композиционно верно – Толстой прерывает оперный спектакль. Он приостанавливает сюжет с Андреем, только для того чтобы показать истинное соотношение правды (войны) и химеры (князя). При одном слове правды князь исчезает, улечучивается, как дым.

Этот жест автора должен отрезвить читателя, в очередной раз напомнить ему, что он в театре, что на сцене вместо героя кукла.

Другое дело, что после этого отрезвления трудно найти должное продолжение «героической» истории – а его и нет, продолжения. Тянется мучительная концовка. Рассказ о смерти князя тонет в паузах и умолчаниях, точно его слышно из другой комнаты. Для сохранения хотя бы малого интереса ему добавлен мистический налет (в начале книги читателя князя манили позами и страстями). Не все еще слеты арии: перед смертью князя встречает невесту, они прощаются друг друга, проливая светлые слезы. Наконец князь исчезает.

Все ясно: Толстому надоедает писать либретто, или он считает этописание неуместным на фоне настоящей жизни, настоящей войны, и он просто откладывает романтический сюжет в сторону, как бы вовсе забывает об Андрее: отсюда впечатление пробела, отсутствия концовки.

Князя (листок с историей его) смахнули со стола, потом подняли, повертели так и эдак – в одной из первых версий романа он оставался жив – и выбросили окончательно.

## V

Сюжет, по-своему логичный (я не сочинял ничего лишнего, только извлек этот сюжет на поверхность книги, и он немедленно проникся самостоятельной, вывернутой наизнанку логикой). История Болконского *чрезвычайно последовательно* сложена из романтических нелепостей, притом таких, которые автор видит сам, и первый смеется над ними, смеется над героем, наказывает его за нелепости, наконец, утомляется игрой и оставляет ее.

Такова была версия о карикатуре на князя вместо героического его портрета.

Сочинение возмутительное, очередная ученическая фронда, и вместе с тем последовательное и по-своему логичное.

До определенного момента, до июльского происшествия, мне довольно было этой логической завершенности. Общая невозможность такого толкования *образа Андрея* никак меня не смущала, напротив, оттого было еще веселее. Сочинение, или ответ на уроке, или вместо ответа анекдот, за который я бы непременно схлопотал в свое время очередную единицу, вышел законченным.

Наверное (пытаюсь я понять, что же послужило толчком к последующему внезапному переходу мысли, разом поворотившей всю несерьезность этой версии в серьезность), наверное, сработала именно эта «визуальная» завершенность карикатуры. Пересказав, пересмотрев в очередной раз комикс о злключениях князя, я понял, что сочинять более нечего, дальше просто ехать некуда: все это правда, и все это, разумеется, неправда.

Здесь и является мысль простая и очевидная; с нее начинается отсчет моего исследования. Сюжет логичен и вместе с тем невозможен – так нельзя описать жизнь Андрея Болконского. И далее: так нельзя описать жизнь Болконского, но так ее можно *вспомнить*.

Не Толстому, разумеется, вспомнить. Так может вспомнить жизнь Андрея другой герой романа. Какой, сразу ясно: Пьер.

Почему бы и нет? Пьер Безухов вспоминает о своем друге, погибшем во время войны. Между прочим, о первом женихе своей жены, Наташи Ростовой. Вспоминает крайне пристрастно, субъективно, *пересочиня* жизнь друга, как это только возможно, – потому что он по-прежнему любит его, восхищается им и в то же время ревнует, завидует ему, подозревает жену в том, что она до сих пор не забыла Андрея, что она до сих пор любит его.

Все эти чувства Пьера понятны и даже очевидны. Но с такими чувствами невозможно просто и последовательно вспомнить жизнь своего друга. Можно только постоянно возвышать и тут же унижать его, тащить за шиворот от одного испытания к другому, сводить и разводиться с невестой и постоянно вмешиваться самому, чтобы там же, в памяти, все переменять, как теперь кажется нужным.

Логика невозможного сюжета (преследование и насмешки над Андреем) сохраняется, только теперь он делается возможен. Так его вспоминает Пьер – весь рассказ об Андрее есть просто *запись его воспоминаний*.

(И, кстати, сразу делается ясно, когда совершаются эти воспоминания Пьера: в 1820 году – об этом написан эпилог. Для этого и нужен этот странный, отнесенный на восемь лет эпилог!)

Еще эта простая мысль не остыла у меня в голове, еще только я сознавал ее неприменимость – почему неприменимость? все применяется отлично! – *роман-воспоминание*, – еще секунды не прошло, а я был уже уверен, что это правда.

## VI

Вот каким был тот простой прием, осознать который мне было так необходимо. Толстой отодвинул от себя Андрея, отгородился от него Пьером, дал Пьеру возможность *сочинения* об Андрее.

И каков кульбит, переворот мысли! Толстой написал совершенную правду о (невольном) лгушем человеке, о Пьере вспоминающем. Кстати, почему я

привязался к одному только Андрею? Тут не только судьба Андрея могла проясниться, обрести логику.

В свете воспоминаний Пьера все тело романа, непомерное собрание слов, вдруг постепенно стало разворачиваться в памяти стройным и логичным порядком. В нем обнаружился рисунок простой и ясный: чертеж воспоминания, масштабной ретроспективы.

Пьер вспоминает всю книгу, от начала до конца; от него, как от центра координат, от нуля (он в самом деле похож на ноль) расходятся лучи памяти – роман ими освещен.

Пространство книги есть пространство воспоминаний Пьера.

В тот же момент, в ту же, еще не остывшую секунду «переворота и кульбита мысли», я начинаю понимать, насколько прост и ясен и одновременно правдоподобен делается портрет самого Пьера. Пьер теперь становится узнаваем, психологически прозрачен. Интроверт, недвижимый, как камень, предмет, замкнутый в самом себе. Он настолько погружен в свои мысли, что часами может сидеть на месте, не шевеля ни пальцем, не слыша вопросов, к нему обращенных: он переносится в свои мечты целиком.

«Эти сцены в романе часты: Толстой постоянно пишет о *заввениях* Пьера – теперь они делаются очень логичны. Еще бы не логичны: если весь роман – это воспоминания и к ним вдобавок мечты, то, в них уже находясь, что можно вспомнить еще? Напротив, в эти минуты Пьер выключается из воспоминания, возможно, он «возвращается» в 1820 год – для этого там, в памяти, ему нужно *зabытьcя*.»

Весь роман выстраивается просто и ясно: мечтатель Пьер к 1820 году рабатывает в голове один центральный сюжет (какой, понятно – о войне двенадцатого года). Этот сюжет включает в себя *все* его воспоминания и плюс к ним переживания, разочарования и мечты. Из них он составляет в голове грандиозную и целостную картину. Она построена *по памяти* из событий состоявшихся, но при этом несколько исправлена – так, как того хотелось бы Пьеру.

В картине участвуют живые люди, окружающие его, – вот они, рядом, перечислены в эпилоге романа: Наташа, супруги Николай и Мария Ростовы, весь их семейный рой, собравшийся в Отрадном, и с ними гость: герой войны Денисов.

Они живы, они представляют для мечтателя своего рода строительный материал. Пьер смотрит на них и строит из них, вместе с ними свой *мир*.

Как все отлично сходится! В центре мироздания Наташа. Пьеру только нужно быть с нею рядом. (В дальнейшем при внимательном чтении стало проясняться все больше, в какой степени Пьер в своем *сочинении-воспоминании* зависит от Наташи. Можно взять книгу и увидеть, как самый стиль изложения в романе меняется от того, далеко ли тут Наташа и каково ее расположение: именно это определяет, с каким настроением, каким слогом изъясняется «сочинитель» Пьер. Это был новый поворот размышления, приведший к результатам, которые в тот момент я не мог себе представить.)

Если посмотреть на события романа под этим углом, то, к примеру, скоро выяснится, насколько ревнив этот переполненный воспоминанием Пьер. Он никого не подпускает к Наташе. Всякий, кто приблизится к ней слишком близко, будет наказан.

К Наташе близко допущен только брат Николай, но тут уж ничего не поделаешь, тут прямое родство. Опять-таки Николай рядом, он не в воспоминании, а наяву, во времени и месте, откуда разворачивается воспоминание. В двадцатом году, в Отрадном. Николая невозможно отстранить от Наташи, можно только несколько подправить его портрет. И Пьер переписывает портрет Николая.

Поправки Пьера пристрастны, отчасти снисходительны, в них присутствует как будто игра слов: пусть Николай будет *недалек* (во всяком значении слова). Николай – теперь, в двадцатом году! – солдафон, он ничего не понимает в высоких мыслях Пьера, он спорит о его тайных обществах, их осуждает, грозит изрубить шашкой всякого, кто пойдет противу правительства. И тогда Пьер смотрит на него через волшебное стекло своих воспоминаний – и *там, в*

них, Николай постепенно меняется. Он делается все более служака; таков весь его сюжет – начав живым, чувствительным юношей, он все грубеет. Как-то раз на обеде выказал презрение к Пьеру, сказал про него *дурак* (я помню – да что я? Пьер помнит). Николаю только в армии хорошо, и оттого хорошо, что не нужно думать лишнего. История его строится как серия армейских рассказов – в этой среде, в любимом полку он точно тонет, теряя свои изначальные тонкие свойства, теряя сходство с Наташей.

И это только брат Наташи – каково же ее женихам? К ухажерам Натальи отношение Пьера колеблется от насмешки до прямой жестокости. Взять Денисова (он тут рядом, Денисов), ведь он сватался к Наташе, еще пятнадцатилетней. *Наказание в воспоминании* Денисову следует немедленно. Вспомним: едва после сватовства Денисов возвращается в полк, как попадает в скверную историю с похищением у пехотинцев провианта. А ты не похищай чужого! Мало скверной истории – Денисов уже под судом – его внезапно ранят, и ранение самое конфузное, в мягкое место (Пьер «за кадром» смеется, точно сам отведывая шлепка Денисову). Но и этого Пьеру мало. Несчастный жених попадает в госпиталь, ужасный, зловонный, где вперемежку с ранеными лежат мертвецы, где виден дантов ад. Вот тебе за сватовство! От гибели Денисова спасает Николай (посланец Наташи).

А Борис Друбецкой, детская любовь Наташи? Прошед в опасной близости от Наташина светила, Борис опален, отброшен в сторону: ему судьба – жениться без любви на Жюли Карагиной, от которой вида самому Борису тошно.

Наказание соблазнителью Наташи *истукану* Анатолию Курагину простое и жестокое: у истукана отнимают ногу, статуя валится в небытие.

Но хуже всех Андрею – мы еще вернемся к Андрею.

## VII

Роман оживает, с ним вместе оживает сам Пьер: его фигура, состоящая из облака и зыбкой по контуру окружности, вдруг наливается новым чувством. Это чувство *опоздавшего*.

С одной стороны, он вынужден действовать с опозданием, рассматривать события задним числом и только мечтать о том, как было бы лучше устроить все иначе, – потому, что так вынужден действовать сам Толстой. Толстой смотрит на войну двенадцатого года с опозданием в пятьдесят лет – можно представить, как бы сам автор хотел оказаться в том году, на той войне, и как бы хотел устроить все по-своему. Но автор «опоздал» – и у него опаздывает Пьер, его главный герой (теперь уже ясно, что Пьер – главный герой, а ведь и минуты не прошло, как я подумал о романе, как о воспоминании Пьера!).

Пьер *вместе с автором* не попадает в военные герои. Хронологически он может быть на войне, может видеть ее, но участвовать в ней активно не может, иначе он выйдет за рамки своего образа (превзойдет автора). Толстому не нужен участник событий, ему нужен персонаж наблюдающий, рефлектирующий, а затем (как и он, автор) неизбежно пересочиняющий прошедшее время. Психологически это очень точный ход: только такому герою автор может передать свои чувства и терзания *задним числом*.

Но тогда получается так: Пьер, опоздавший по воле автора и вынужденный действовать в режиме воспоминания, пребывая персонажем пассивным, в большей степени наблюдателем, нежели деятелем, сочиняет заново свою жизнь – и в воспоминании делается активен, притом порой чрезмерно активен, так, что минуту назад и представить себе было невозможно.

Пьер вдруг оказывается мстителем и зол. Он в раздражении, что пропустил столько событий, перенес столько обид, не сделал ничего важного. Он по-прежнему увалень и тюфяк (Пьер *только в воспоминании* так силен, что вяжет кварталного с медведем и во время ареста разбрасывает французов, как щепки), он Паганель и Пиквик в одном лице, шепелявый и некрасивый, теперь уже немолодой, послушный во всем жене, особе весьма своенравной, он «пикейный жилет», московский обыватель – Петр Кириллович Безухов. Он еще только собирается в декабристы, в герои – да и станет ли он декабристом? Это опять мечты, только мечты.

<Они, кстати, останутся мечтами: у Толстого не получится из Петра Безухова герой-декабрист, его затея с романом о декабристах кончится неудачей. Зато наилучшим образом у него выйдет тюфяк и мечтатель, «опоздавший» на войну.>

Мечтатель получает главный приз, Наташу. Но что-то беспокоит Пьера в этой своей победе. Возможно, сознание собственного несовершенства. Он не герой, Пьер, она же достойна героя. И если бы случился рядом с ней в момент величайшего потрясения России такой герой, Наташа была бы с ним.

Вот вам Андрей.

Андрея нет в двадцатом году, среди «реальных» персонажей. Самое интересное теперь предположить, что его *вообще не было*. Пьер (не Толстой!) выдумал Андрея на ровном месте. Теперь легко представить «нулевую» ситуацию: Андрея не было – была опасность появления рядом с Наташей идеальной фигуры. Эта опасность материализовалась для Пьера в фантоме героя. Андрея вообще не было: пропустивший героическую эпоху Пьер выдумал его. Собрал все свои страхи, всю ревность и обратил ее на фигуру идеальную, наиболее для себя опасную. Ясно, кстати, как он изготовил эту фигуру: вспомнил свои недостатки, перевернул их с обратным знаком и получил достоинства – получил героя.

Но ведь так и написано в романе! первая же характеристика Андрея обнаруживает вместо него отпечаток Пьера с обратным знаком.

«Пьер считал князя Андрея образцом совершенств именно от того, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием – силы воли».

Для ревнующего Пьера нет фигуры хуже, чем этот им самим выдуманный, ненастоящий, бумажный князь, потому что такой князь неуязвим, он бессмертен, как и положено фантому. Он между Пьером и Наташей, как тень. Хуже того, Наташа – теперь, в двадцатом году, в жизни – как будто понимая страхи Пьера, готова в любом нужном ей случае вызвать эту тень: она наказывает мужа опасностью *некого* Андрея. Был он или нет, на самом деле не так уж и важно. Важно то, что в ее руках есть это оружие – призрак погибшего героя.

Вот последнее «напоминание» Пьеру об Андрее – разумеется, в связи с Наташей. Эпилог, последние сцены.

«...Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее (с мужем она, предполагая, что он ревнует ее к памяти князя Андрея, никогда не говорила о нем)...»

Разрядка моя: в ней каждое слово важно. Не нужно и говорить Пьеру – он сам все подумает. Вот он как раз вернулся, из Петербурга, где задержался против обещанного на две недели, и она в ярости, она ревнует отчаянно: он был *с ней* – с кем *с ней*? неважно, там даже не написано с кем. Важно то, что волшебница Наташа решает наказать мужа, и является ужасный призрак Андрея.

Теперь с еще большей ясностью делается очевидна и одновременно понятна несправедливость, допущенная в отношении князя Андрея, та, с которой я начал свои юношеские разбирательства. Все понятно, психологически правдиво, логично: от сознания своей несправедливости и вместе с тем от сознания, что перед ним призрак, создание его ума, Пьер принимается преследовать Андрея с удвоенной силой. Неправдоподобие всякой сцены, со знаменем ли перед Наполеоном – Пьер сам боготворил Наполеона, а потом в нем разочаровался, – или у дуба, или у Сперанского, только к лучшему. Пьер казнит, мучает и преследует призрак (так же как тот мучает его), казнит за свои же собственные несбывшиеся мечты и в конце концов подсовывает ему зеркало – вспомним «прозрение» князя накануне Бородина: смотри, ведь ты призрак, ты тень при чужом (моем) свете, и картины твоей жизни все *дурно намалеваны*.

Намалеваны Пьером.

Все выстраивается логично. Даже теперь, начитавшись романа сверх меры, я не могу вот так, с ходу найти какое-нибудь безусловное возражение против «нулевой» версии – «Война и мир» без Андрея.



Остается один Пьер, но что такое теперь этот Пьер? Мечтатель, проспавший войну, проснувшийся только в 1820 году. Не только мечтатель – мститель. Женихи Наташи вальтуют один за другим, точно поражаемые стрелами Одиссея. Андрей среди них первый – Пьер целился в Андрея.

Первым делом, кстати, он попадает в Долохова. В самом деле, только теперь становится ясно, что такое Долохов и зачем, кстати, понадобилась Пьеру его странная женитьба на Элен. Как эта несчастная женитьба и первые муки ревности являются только репетицией к настоящей его женитьбе и настоящей ревности, так и *Долохов есть репетиция Андрея*.

Раньше я не мог этого понять, только чувствовал, насколько Андрей и Долохов **похожи**<sup>7</sup>, в первую очередь теми чертами, которых остро недостает Пьеру: сила воли, энергия, храбрость. Только черты у них прописаны с разным знаком. Оба романтические герои в той же степени, в какой Пьер не герой. Пьер видит прекрасно, что они стоят от него на одной оси: Андрей близко, Долохов бесконечно далеко. Он стреляет по этой оси – первым падает Долохов.

Кстати дуэль с ним, и тем более такой результат дуэли могли получиться такими только в воспоминании Пьера. Полуслепой, никогда не бравший в руки пистолета он не глядя укладывает записного дуэлянта Долохова. Какая-то глупость, ошибка.

В Бородинском сражении эта ошибка **исправлена**<sup>8</sup>. Бородинское поле выбрано Пьером для настоящей дуэли – с Андреем; здесь Пьер должен разделаться со своим призраком. Там же, кстати, русское войско должно разделаться с французским (прежде всего с призраком непобедимости французского войска). Как всегда в важнейшие моменты у Толстого большие и малые задачи сходятся для разрешения в один фокус; бой идет на всех этажах: за Россию, за Москву, и за Ростову Наташу – теперь все эти фигуры слитны.

В этом месте воспоминаний, дойдя до Бородина, до центра романа, Пьер оставляет всякое сомнение. Теперь пора! Он машет рукой на правдоподобие и прихлопывает Андрея как муху. Отодвигает в резерв, забрасывает гранатами, не дает пошевелиться, не дает ему и малого повода для героизма. Да и поздно геройствовать: рассказ о ранении Андрея начинается *после того* как сражение уже закончено. С этого момента фигура князя стремительно уходит в тень. Ему дадут только попрощаться с бывшей невестой и закатают в простыни в Ярославле: минимум звука ему позволен, он уже на полях страницы и вот-вот уйдет в небытие.

Пьер, пользуясь безнаказанностью воспоминающего, нарушая законы исторической правды, казнит князя «севастопольской» смертью, сам же воздвигается в центре сражения, на Курганной высоте...

### VIII

В этот момент вторая мысль, такая же простая и ясная, как о *романе-воспоминании*, приходит мне в голову. Бог с ними, с Николаем, и Долоховым, и Де-

\* Андрей и Долохов иногда встречаются, и каждый раз неслучайно, хотя эта неслучайность скрыта. Болконский указывает Кутузову на Долохова перед смотром в Австрии, чем помогает тому выбраться из солдат. Там же перед Шенграбеном они встречаются на передовой и точно меряются, кто храбрее, кто ближе к французам (далее всех от фронта Пьер, но еще того дальше сам Толстой). Малые детали, совпадения – Андрей и Долохов *одновременно* уезжают за границу и пребывают точно в иных мирах, Андрей в Европе, Долохов в Персии. Они некоторым образом синхронны, их орбиты схожи, только долоховская удалена от Пьера, так удалена, что понятия добра и зла Долохову неразличимы.

\*\* Перед сражением довольно странный эпизод, когда в очередной раз разжалованный Долохов, на сей раз рядовой ополченец, взявшийся невесть откуда перед всем высшим командованием, со слезами на глазах обнимает и целует Пьера и просит у него прощения, а Пьер только улыбается, *не зная, что сказать ему*. А что тут можно сказать? Не Долохову, а Пьеру в пору просить прощения – за ошибку в сценарии. Все происходит перед Кутузовым. Кутузов смеется, всеведущий человек-сфера – Кутузов – не верит происходящему!

нисовым в госпитале, нет сомнения, что с ними пасьянс романа разложился верно: ровным кругом вокруг главной карты.

Пьер и Бородинское сражение – вот что важнее всего и всего проще.

*Пьера не было на Бородинском поле* – вот вторая простая мысль. Пьер выдумал этот свой поход в самый центр сражения, и уже ясно, зачем он это сделал. Чтобы вместо Андрея стать главным героем в глазах Наташи. И еще: чтобы все увидеть самому.

<Последнее нужно Толстому: он выдвинул фигуру Пьера в Бородино, в центр «шахматной доски» сражения, для собственного наилучшего обозрения. Пьер – его око, Толстой смотрит через Пьера, как через перископ, на главное событие истории (не романа). Он не мог пропустить этого момента: в известной мере весь роман-воспоминание нужен только для того, чтобы автору перенестись в центр Бородинского сражения, на батарею Раевского. И Толстой, более всего желающий попасть на батарею Раевского, позволяет Пьеру фантастическую выходку: Пьер в своей жажде героизма додумывается до того, что он был на Курганной батарее! Увалень и тюфяк, противоположность героя. *Его там не было*, он выдумал все после, спустя восемь лет.>

И как блистательно все это проделывается! Толстой словно смотрит со стороны на безумную выдумку Пьера, смотрит с ясным пониманием, что такого быть не может, и еще толкает локтем читателя – смотри, ведь этого не может быть! Не может быть посреди боя этой нелепой фигуры в зеленом фраке и белом цилиндре. И даже до начала боя, на подходе к бою, такого быть не может – все офицеры, солдаты, ополченцы (их также толкнул локтем Толстой) смотрят на Пьера с изумлением и не верят своим глазам. Пьер выступает, как совершенная нелепица, и Толстой не то что не скрывает, он еще подчеркивает невероятность этого, он раз десять повторяет одно и то же – этого не может быть.

Но это происходит – и совершается чудо: нелепость оборачивается правдой.

<Нелепость сочинения (Пьера) оттеняет правду (Толстого): она максимально, как белое рядом с черным, усиливает реальность толстовского изображения войны; война полна невоенных нелепостей, оттого чернота ее еще чернее.>

Толстой наблюдает, затаив дыхание, как на его глазах выдумка выдуманного человека обрастает правдой. В оптическом, фокусирующем стекле Пьера картины сражения делаются все ярче и резче. Мы смотрим прямо в отверстие плазмы; в них мечутся уже не персонажи книги – эти солдаты и всадники уже вне книги, они действуют в ином времени, более чем реальном.

Поход Пьера на Бородинское поле был центральной затеей всего толстовского плана. Это было самое сложное и тонкое место: масштаб описываемого события требовал приема необыкновенного. И прием был применен: в пространстве романа-воспоминания центральное место заняла максимально возможная выдумка. Иначе и быть не могло: она перевернула сочинение – выдумкой внутрь, правдой наружу. Сам Толстой не выдумывал ничего. Он подробно, с психологической достоверностью записал, как «вспоминает» Бородинское сражение Пьер Безухов. Он отпустил на волю им созданный персонаж, неуклюжего, толстого, шепелявого человека, человек сочинил невозможное – минус на минус дал плюс: все обернулось правдой.

<Толстовской, московской правдой, более чем правдой. Теперь я вижу, как авторский прием делается постепенно родом священнодействия. Его отстранения, его чертежи чувств Пьера постепенно утрачивают черты простого сочинения. Толстой ищет приема необыкновенного не для того (не только для того), чтобы достичь писательского успеха. Ему уже не нужен такой успех или нужен больший успех – в действии со временем, в аппликации и перестановке отрезков времени. Ему нужно чудо. И он производит это чудо. Он пишет о войне так, что текст делается *предметом веры*, – сначала мы верим в то, что там был Пьер, и верим затем неизбежно, что все так и было на Бородинском поле.

Случилось чудо – вышла победа совершенная. Миф о непобедимости французов был поколеблен, Андрей Болконский пал: его фигуру (офицера? белого слона?) Пьер смахнул с доски и выдвинул вперед свою, королевскую, главнейшую. Один его шаг, на одну клетку, – из Москвы в Бородино – перевернул всю партию.

Толстой перевернул историю, ее чертеж, навел свой рисунок в аморфном материале времени.>

Я стоял у окна, смотрел на листья лип; дыхание мое от восторга пресекалось.

Версия самая безумная, родившаяся из праздных размышлений, – *что-то не так с князем Андреем, как будто автор с ним несправедлив, он издевается, он смеется над ним*, – вдруг вывернула роман, точно чулок, наизнанку. И это безумие на глазах делалось правдой: да, именно так и был написан этот роман, начиная от сцен малозначащих до самой главной, бородинской, центральной: все вспомнил Пьер. И далее: так была написана заново история, так новая родилась правда, более чем правда – явился предмет новой веры.

<Здесь нужно уточнить: в тот момент о вере или о подобии веры я не задумывался, только много позже, когда явились другие свидетельства и «совпадения», такие размышления и вопросы появились.>

## IX

Исследование началось; с самого начала оно вышло за границы литературного разбора – собственно, какой из меня литературовед?

Кстати, сначала я попытался им стать; решил, что в самом деле веду литературное исследование. Очень скоро оно закончилось.

Версию о воспоминании Пьера, пусть и поспешную, следовало проверить, для того хотя бы, чтобы ее немедленно опровергнуть. Перечитать роман не мешало, и я взялся было читать, но скоро так зачитался, что забыл о проверке. Опомнился, оставил чтение. Так «авторское» воспоминание Пьера, даже следы его за четырьмя томами «Войны и мира» обнаружить было нельзя. Если у Толстого и был такой замысел – здесь впервые исследователю пришла в голову мысль, что таков мог быть только *замысел* романа: описать все, что вспомнил Пьер. Если и был такой замысел, то в процессе работы он мог измениться или вовсе быть оставлен.

Такое легко себе представить: был первоначальный план, который помог Толстому увидеть роман заранее, связать в одно целое его необъятный материал и тем сдвинуть с места работу. Затем, втянувшись, Толстой мог забыть об этом простом плане (так же, как я, втянувшись в чтение, скоро о своем плане забыл). Герои ожили, слова побежали сами: автор в переживания героя с головою погрузился и забыл, что это только выдумка, а не настоящая жизнь. Или так: Толстой не то чтобы забыл план, но держал его в голове стратегически.

<Странное дело: только что я судил его за огрехи в композиции и тут же, разобравшись (так мне казалось) в этой композиции, уже решал за Толстого, как ее применять, тактически или стратегически. Чего только не взойдет в голову в двадцать лет.>

Тем более проверка была необходима. Теперь уже не первый, простой вопрос меня волновал – *что с Андреем?* – но следующий, куда более важный. Неужели никто до сих пор не заметил, что «Война и мир» – это не просто роман, но роман-воспоминание (Пьера?)?

Я полез в другие книги – *о нем*. Почему-то с этого момента я не думал *Толстой*, но большей частью *он*. Так в его романе русские говорят о неприятеле: не войско, не тысячи людей, не французы – *он*.

И вот *о нем* я решил найти свидетельства, о том, как он писал роман. Такой простой мысли (пишет Пьер) не могли пропустить его читатели, тем более исследователи. К ним я обратился, вернее, собрался обратиться. Полез в

книги, в доме нашел несколько обозрений, пару «Историй литератур», что-то еще среди залежей бумажных, справочник и две биографии. Ничего о *романе-воспоминании* не нашел.

Наверное, не успел.

Зато произошло следующее: я обнаружил несколько малых фактов. Отдельно друг от друга они не представляли ничего особенного, но собранные вместе и еще положенные поверх версии о романе-воспоминании, эти факты составили композицию, которая завершила реконструкцию романа закономерным и вместе с тем неожиданным образом. Даже так: обескураживающим, невероятным образом. (Для меня, разумеется, невероятным. Я даже решил, что совершилось открытие. Следует признать: только в состоянии блаженно-го невежества, в коем я тогда пребывал, можно было принять обнаруженную мной композицию за нечто новое. Легко совершать открытия, имея в голове белый лист бумаги. На самом деле обнаружилась некая малость, которой просто я не знал. Но мне и того было довольно; от сопоставления трех простых фактов голова пошла кругом.)

Фактов, или так – сообщений, было больше, но из всех можно выделить три, этого будет достаточно. Что-то мне было уже известно, какой-то предварительный набросок «открытия» уже был в памяти наведен.

## X

Первое промежуточное сообщение.

Оно было о повести Толстого «Мой вчерашний день». Это был первый его серьезный опус; до того он совершал попытки ученические. Ему было тогда семнадцать лет. Задача была простая и вместе с тем невыполнимая: описать в мельчайших подробностях один день своей жизни. Описать все события, за этот день произошедшие, все мысли по поводу этих событий, а также явившиеся безо всякого повода, все воспоминания, ассоциации и мечты – все буквально.

В семнадцать лет Толстой предпринимает попытку такого тотального письма и терпит неудачу. Вывод сделан им самим: невозможно описать целый день из жизни человека полностью, без изъятий. Не хватит ни бумаги, ни чернил, если только речь идет о человеке мыслящем, склонном к рефлексии, у которого одна мысль цепляет другую, та третью, затем их является легион и так далее. Не хватит и ста томов – день в них не влезет.

Толстой в юности был увлечен Стерном. Стерн первым показал, как занятно бывает свободное повествование, когда записываются как будто все события и мысли подряд, пусть и самые случайные. На самом деле они не случайны, и у Стерна шел самый внимательный отсев случайного и оставление неслучайного. Но Толстому уже тогда, как затем *всегда*, нужно было дойти до крайности: он захотел написать *все*. Не вышло *ничего*.

Провал предсказуемый. Но вот что выяснилось, что показалось важным, в чем и заключалось первое сообщение: неудача со «Вчерашним днем» его не остановила. Толстой делает еще несколько подобных попыток, в возрасте уже зрелом. Он пытается описать один день из жизни офицера на Кавказе (крах) и, по смутным сведениям, один день из жизни молодого помещика (полный крах). Отголоски этих опытов можно найти в кавказской прозе Толстого и «Утре помещика».

Стало быть, невыполненное – невыполнимое! – задание с ним осталось, над ним повисло дамокловым мечом. Неудач он не терпел и был упрям невероятно. Неудача спровоцировала Толстого на новые попытки тотального письма, пробы нового текста, в котором слово со временем могли быть совершенно сплочены.

Таким был первый факт из трех: Толстой не только в юности (об этом я что-то слышал раньше), но и много позже, став уже признанным писателем, продолжил опыты *тотального* письма, терпел неудачи, но не оставлял поисков. Юношеское задание оставалось в силе – обнять словом, представить в слове всю полноту существования человека.

Второе сообщение.

Случай, который произошел с Толстым во время поездки в Швейцарию. Это было перед самым началом работы над «Войной и миром».

Однажды наблюдение горной гряды Альп – внизу гор озеро, над ними небо: верх и низ полны звезд – привело его в состояние, близкое ясновидению. Жизнь нарисовалась перед его внутренним взором единой, совершенной фигурой, притом не одна своя жизнь, но жизнь вообще, в виде паутины расходящихся во все стороны светлых связей родства. Все человечество, все живое соединялось этой паутиной, звезды в небе повторяли ее, звезды на воде повторяли повторение. Толстой готов был раствориться в этой картине, слиться с нею. Он и был в ней растворен; нервы были напряжены чрезвычайно, они были той паутиной и как будто проникали мир, возвращая наблюдателю ощущения вселенские. Восторг, переполнивший Льва Николаевича, напомнил о детстве. Дух его захватило, он едва не лишился чувств.

По поводу даты эпизода ясновидения в Альпах нашлись разночтения. Первый раз это могло произойти с Толстым в 1857 году. Затем еще в 62-м и, возможно, в 64-м.

В 1857 году он ездил за границу к брату Николаю и с ним прощался: брат умирал от туберкулеза. После смерти Николая Толстой некоторое время еще жил в Европе, не в Швейцарии, на севере Италии, но здесь важна не страна, важны Альпы. Здесь его настигает видение; душа после смерти брата еще обнажена.

Согласно другой версии, видение совершенного мира посетило Толстого во время свадебного путешествия 62-го года. На этот раз все происходит в Швейцарии, в гостинице, на втором этаже, у открытого окна. Вечером он стоит и наблюдает альпийскую панораму, в это мгновение в комнату входит жена (версия 64-го года в точности все это повторяет, только у Софьи Андреевны добавляется ребенок на руках). Появление жены внезапно соединяет для Толстого несколько планов: видимая гармония природы сливается с идиллической семейной сценой. Сложение всего видимого и мыслимого в одно гармоническое целое потрясает Толстого. Мир полон и в этой полноте цел и прост. Все неудачи прошлой жизни представляются случайными, теперь легко исправимыми – перед глазами, перед мысленным взором ему в тот момент открыт образцовый чертеж.

На самом деле перемена дат несущественна: во всех случаях описана одна ситуация, разнятся только детали: Льву Николаевичу выпадает счастье в виду Альп, в середине «часового механизма» Швейцарии пережить мгновение переполненное за наблюдением совершенного мира, просто и ясно устроенного.

«Почему-то Альпы для русских писателей сделались местом паломничества наподобие религиозного. Начиная от Карамзина, молившегося перед Рейхенбахским водопадом, едва не каждый из них находил для Альп слово самое возвышенное. Эти горы для них были, точно ледяной иконостас. При этом русских паломников помимо просто наблюдения занимала загадка – им чудился в устройстве альпийской панорамы некий механизм. Картина гор возвышенной Гельветии как будто взята была со страницы утопии или сочинения космографического. Казалось, наблюдаемая гармония вот-вот может быть арифметически расчислена – для того расчислена, чтобы без повреждения ее можно было воспроизвести в России. Это была общая химера: в Швейцарии вслед за лучшими часами мы находили лучших учителей (у Карамзина первым был Лафатер), как будто тамошние учителя были часовщиками человек; к ним посылали сыновей, от них везли в Россию положительных литературных героев. Достоевский вывел отсюда князя Мышкина, Толстой – Пьера.»

И третье.

И третье, самое простое: в процессе работы роман несколько раз менял название, одно из них мне показалось в тот момент особенно многозначительно: «Все хорошо, что хорошо кончается».

## XII

Итак, три сообщения. Первое: Толстого занимают опыты тотального письма, такого письма, которое могло бы адекватно передать все, что происходит с человеком *за определенный отрезок времени*. Второе – сам Толстой пережил однажды состояние, когда *за определенный отрезок времени* (в одно мгновение) ему отворился весь мир, притом не в виде хаоса, но в виде структуры, гармонической системы, напоминающей своим видом, предположим, гряды Альп.

И третье: все хорошо, что хорошо кончается.

Я намеренно подчеркиваю арифметические составляющие: они сходятся в формулу простую и очевидную.

Далее еще проще: я открываю роман, в самом конце, точно по указанному адресу, там, где в эпилоге *все хорошо кончается*, иду последнюю сцену – самую последнюю из тех, где участвуют персонажи романа, – читаю эту сцену и вижу следующее.

Усадьба Отрадное, декабрь. Пьер, тот именно герой, что до семнадцати лет возрастал в Швейцарии и учился у часовщика человек, знатока гармонии сфер, стоит у окна. За окном Россия, зимняя ночь, и звездами осыпан снег; Пьер разговаривает с Наташей. Разговор пестрый, супруги говорят невпопад и понимают друг друга совершенно (что в понимании Толстого есть прямой признак счастья): он о мировой гармонии, о братстве добрых людей, она о ребенке, который только что прятался от няни у нее на груди.

*В то же мгновение* в нижнем этаже Николушка, сын Андрея Болконского, смотрит сон, в котором различает будущее. Николушка смотрит в будущее, оно помещается в один большой абзац.

Наташа «смотрит» на своего ребенка; его уже унесла няня, но она по-прежнему как бы смотрит на него, точно суживаясь мысленным взором в точку на своей груди, – в этой точке прятался от няни ее сын, Петр, Пьер малый. Просто прижался к груди и подумал, что исчез, что его не видно. Здесь, на груди Наташи, расположена точка настоящего, «Наташиного» времени.

Это еще один абзац, совсем небольшой, три или четыре строки.

Пьер большой *в это мгновение*, словно расширяясь от невидимо малой точки, от Пьера малого, видит внезапно весь мир – Наташу, окно с альпийским сугробом, за сугробом всю Россию, за Наташей их общее прошлое, сумму ярких и живых воспоминаний о мире и войне.

Это весь роман.

Пьер переживает переполненное мгновение. Ясновидение, некогда со всей силой потрясшее автора, настигает героя – мир открывается ему в единстве, в паутине светлого родства. В секундном рое интуиций, ассоциаций, но в первую очередь в сумме воспоминаний – в них заключается роман «Война и мир».

Из последнего мгновения повествования выпущен этот рой: из одной малой точки в конце эпилога – отсюда разворачивается не просто *роман-воспоминание*, композицию которого я искал, но *роман-воспоминание-в-одно-мгновение*.

«Война и мир» есть тотальное, изложенное во всех подробностях описание одной секунды жизни Пьера Безухова. Не дня, на который не хватило бы ни бумаги, ни чернил, не даже минуты, но только мгновения.

И опять – я еще только договаривал про себя эту мысль, а уже верил в нее безусловно. Теперь картины из *романа Пьера*, высвечиваемые (мгновенно) в его памяти, сходились в одну с еще большей логикой и достоверностью. И даже не нужен был ревнивец и мститель Пьер, ничего он был не ревнивец, по крайней мере не расчетливый, холодный ревнивец, но человек живой и полный чувств, способный – кто на это не способен? – на одно мгновение позволить себе ревность и пересочинение жизни.

Роман про одну секунду! Голова моя пошла кругом, листья лип за окном (июль все длился) отеки зеленым лаком, дом напротив порозовел и точно осветился изнутри. Москва мне улыбнулась: в этом виделось – так показалось мне тогда – одобрение первого нечаянного опыта...

## Кирилл КОБРИН

---

На самом деле это проблема жанра и проблема жизни после того, как традиция закончилась. Жанр «толстого журнала» и традиции, замкнутой на себе, прекрасной и ужасной в своей автаркии русской словесности. «Толстый журнал», благополучно доставивший в своем бездонном трюме всю советскую подцензурную словесность из порта Революции в гавань Перестройки, никогда больше не вернется в порт приписки. Революцию теперь возят на совсем других кораблях. Не стал «толстый журнал» и ковчегом, как многие надеялись; не получилось собрать на него всякой литературной твари по паре и отправиться в поисках благословенной горы, не затопленной водами совсем иной культуры, более работающей и производительной. Хотя за место на таком вот ковчеге спорили, — ах, как спорили! — но, лишённые привычного преискуранта ценностей, ни о чем не договорились. Кому оказался милее поп, кому попадья, а кому — попова дочка. Меж тем жизнь идет, солнышко светит, клейкие листочки наличествуют, есть писатели, есть литературы и — что самое главное — есть читатели. Читатели эти несколько иного свойства, нежели те, для кого издаются глянцевики журналы и сочиняют писатели, про которых оные журналы пишут. И читатели совсем иного свойства, нежели те, за кого думают тяжкую думу бородатые тугодумы о гибели Земли Русской. И уж точно совсем другого свойства, нежели воображаемый (и несуществующий) ценитель ископаемого журнализма, выдаваемого на Интернет-гора моралистами из бывших маньеристов. Читатель есть, но совсем иной. Он живет себе — поживает, читать любит, литературу знает, только вот голоса в нынешние времена не имеет, ибо скромнее, чаще всего небогат и не принимается в расчет культурными рекламщиками. Собственно, это и есть Читатель. Теперь он должен стать портом приписки нашего корабля.

Что же доставит ему «толстый журнал» из странствий по литературным океанам? Куда плыть этому кораблю за словесным мяшиком и ониссом, шелком и парчой, старым вином и свежими пряностями, черным деревом и слоновой костью? Чем загрузить его по самую ватерлинию, после того как команда откачает трюмные воды мутной литкритики и душеπισательной публицистики? Команда корабля, восемьдесят лет назад названного именем месяца, в котором была совершена несчастная Революция, знает точные ответы на эти вопросы.

Между прочим, сейчас название «Октябрь» говорит совсем о другом; по крайней мере мне говорит. Это любимый мой месяц, кристальный русский октябрь в средней полосе России — с изморозными солнечными утрами, с синим небом, охватившим замкнутый мир пролетарского района, с ворохом палой листвы, с горьким запахом кострищ в пустых советских парках. Вечером в окне операционный свет уличного фонаря выхватывает из тьмы верхушку дерева, ветер рвет последние листья, тоска, тоска, тоска, пора читать милые родные стихи, толстые романы, тонуть в русском уюте, русском раю, как сказал бы Кузмин, набираться терпения, набирать в легкие побольше воздуха и занервничать в бесконечную зиму. Немного, как-то особенно легко болит голова, стол, только что заваренный чайничек и булочка, словно Пивоваровым нарисованная, открыт потрепаннный, упоительно сладковато пахнущий красный том с потемневшим золотым тиснением, читаем. Октябрь уж наступил. В моей писательской жизни «Октябрь» наступил ровно десять лет назад, когда Анна Вячеславовна Воздвиженская, не устаю повторять — мой лучший и самый любимый редактор, взяла для публикации мое эссе.

Сам факт, что русский «толстый журнал» согласился напечатать текст, принадлежащий к этому жанру, говорит обо всем. Эссе – прямой разговор с читателем, сюжетный жанр, героями которого являются не вымышленные персонажи, а идеи, рассуждения, чувства. Этом жанром одинаково ненавидят как записные критики, признающие за литературой лишь право описывать немудреные жизненные перипетии и разговорчики таких же посредственностей, как они сами, так и шустрые глянцевики молодцы, кормящиеся у так называемой «актуальной литературы», что бы это словосочетание в данный момент не означало. Впрочем, сейчас появилась новая поросль; прочитав несколько книг из школьного курса русской литературы, эти отчаянные смельчаки решили защитить Великую Традицию Реализма, которую, впрочем, перепутали с неиссякающей традицией самого пошлого троизма и трескучей банальности, традицией, продолжающей великие начинания Белинского, Чернышевского, Скабичевского и «прогрессивной советской критики». Нынешние борцы с литературной условностью также заняли свое место среди гонителей эссеистики.

Но вернемся к «Октябрю». Модернизация журнала, его обращение от «литпроцесса» и прочих выморочных вещей к Читателю, сделали «Октябрь» таким изданием, о котором я всегда мечтал, – «журналом частного человека». Не «мещанина», а «гражданина», «гражданина Республики Литературы»; в этой республике соседствуют романы, путевые очерки, стихи, переводы, мемуары, эссе, но при этом ни один из этих жанров не чванится, а гордо и благожелательно ведет диалог с соседом. Под обложкой «Октября», как в гостиной князя Петра Андреевича Вяземского, можно встретить столичную штучку, робкого провинциала, заезжего иноземца, шевелористого анархиста, джентльмена-классика, махрового реакционера. Здесь нет дутых величин, каждый в своем масштабе, каждый в своей тарелке, каждый имеет право. Это и есть республика, это и есть демократия, уж простите. Нынешний «Октябрь» мне представляется неким прообразом будущего, более справедливого устройства русской литературной жизни.

Ну и, конечно, десятки превосходных текстов, которые доставили мне – скорее читателю, нежели писателю – многие часы счастья.

## Ошибка

Утром 16 июня 1954 года в Сэндимаунте, юго-восточном пригороде Дублина, к побережью моря подъехал старомодный кэб, которым правил носатый возница, мрачно зыркавший из-под густых бровей. В кэбе сидели шесть джентльменов в костюмах, при галстуках, а некоторые – и при шляпах. У приземистой башни Мартелло, где располагалось закрытое по причине раннего часа кафе, в котором в прочее время редкий путешественник мог выпить чашку чая с сэндвичем, кэб остановился. Пассажиры вышли из него и направились к дому архитектора Майкла Скотта, который стоял несколько вглубь, будучи отделен от башни каменной изгородью, опутанной проволокой. Джентльменов ждали. Несмотря на ранний час хозяин предложил им по стаканчику виски. Выпивка оживила гостей; один из них – худой, высокий, нескладный, с огромными очками на большом крестьянском лице, сдвинув на затылок нелепую шляпу, решил смеха ради вскарабкаться на изгородь. Несколькими мгновениями позже за ним последовал еще один – низенький, с одутловатым бледным лицом, тоже в шляпе, еще более нелепой, нежели у первого. Залезть наверх он так и не смог, оттого довольствовался тем, что пытался стянуть за ногу своего приятеля. Оставшиеся криками заставили соперников вернуться, и вся группа, чинно распрощавшись с гостеприимным архитектором,



направилась к башне. Там произошла еще более странная вещь: один из джентльменов вытащил толстенную книгу и принялся читать ее вслух, причем с самого начала. Кэбмэн, с неудовольствием поглядывавший на своих затейливых пассажиров, попытался было понять, о чем шла речь в книге, однако это были даже не стихи, которые стоило бы читать вслух, нет, в ней какой-то Бык Маллиган намеревался тщательно выбриться с утра, но некий Стивен своими дурацкими разговорами не давал ему сосредоточиться. Или, наоборот, этому самому Быку не шибко хотелось бриться, и он отлынивал, тыркая приятеля... В общем, полная чепуха; к тому же каждое второе слово было совершенно непонятно, хотя и звучало по-английски. Пассажиров извиняло лишь одно: влить в себя в семь утра порцию виски – тут любой начнет дурачиться и с ума сходять. Меж тем джентльмены кончили читать, один из них – кажется, самый пожилой – полез в кэб за фотоаппаратом и, заставив остальных стать рядком, щелкнул несколько раз. Он зачем-то сфотографировал башню и кэб с возницей; потом тот самый дылда-верхолаз отобрал у него аппарат и без предупреждения снял своего соперника по покорению каменных изгородей. Наконец все забрались в экипаж и уехали в Дублин.

Эти фотографии сейчас передо мной. На одной из них – группка из пяти человек; в центре стоит невысокий мужчина с пронзительными глазами, с большой головой, увенчанной шляпой с широкими полями, он одет в строгую тройку, одна нога чуть отставлена назад, корпус несколько наклонен вперед, будто он собирается произносить речь на митинге – социалистическом или националистическом, неважно. Кажется, сейчас он взмахнет рукой и примется громить капиталистов, империалистов или юнионистов... Но все это лишь видимость, к тому же на дворе не 1904-й и не 1914-й, а 1954-й год, и наш оратор – никакой не оратор, а отставной высокопоставленный чиновник министерства местного самоуправления Брайен О'Нолан (или, как он порой называл себя по-ирландски, «Бриан О'Нуаллан»), известный также (под псевдонимом Майлз на Гопалин) как ядовитый колумнист газеты «Айриш Таймс». Как раз в тот самый день, 16 июня 1954 года, в пятидесятилетний юбилей «Блумсдэя», когда О'Нолан с приятелем-киношником организовал, кажется, первое паломничество по маршруту монструозного джойсовского «Улисса», «Айриш Таймс» напечатала очередную колонку Майлза, в которой автор преспокойно обвинил полиглота Джойса в безграмотности: «Его редкие экскурсии в древнегреческий неверны, а редкие попытки построить гэльскую фразу абсолютно чудовищны».

Итак, спустя пятьдесят лет с того дня, когда Леопольд Блум жарил себе на завтрак свиную почку, а Стивен Дедал выслушивал спотыкающиеся ответы учеников об обстоятельствах гибели эпирского царя, Брайен О'Нолан с друзьями совершил паломничество по маршруту скитаний двух героев однодневного эпоса Джойса. В тот же день Майлз на Гопалин обозвал творца многоязычного универсума *Finnegans Wake* – невежей<sup>1</sup>. Но во всей этой истории был еще третий персонаж – Флэнн О'Брайен: под этим псевдонимом О'Нолан опубликовал в 1939 году роман «О водоплавающих»<sup>2</sup>. Накануне пятидесятилетия «Блумсдэя» писателю О'Брайену предложили отредактировать специальный номер журнала «Епвоу», посвященный Джеймсу Джойсу. О'Брайен поначалу с раздражением отказался, но в конце концов нехотя согласился и даже написал для журнала смешное эссе, повествующее об одном дублинском пьянице, который повадился залезать в вагоны-рестораны, стоящие в железнодорожном депо, чтобы на дармовщинку истреблять запасы виски, приготовленные для пассажиров. Ворованный виски он пьет, запершись в вагоне туалете, сидя на стульчаке – чтобы никто не помешал. Однажды этот герой увлекся своим занятием и не заметил, что его вагон, забытый железнодорож-

<sup>1</sup> Это был не первый выпад популярного колумниста в адрес Джойса.

<sup>2</sup> Вынужден пользоваться столь далековатым переводом названия этого романа («At-Swim-Two-Birds»), которое действительно очень трудно точно переложить на русский. По крайней мере именно под названием «О водоплавающих» этот роман известен русскому читателю.

никами, неделю простоял в каком-то темном тоннеле. О'Брайен говорит, что этот любитель виски и одиночества очень напоминает Джойса. Сложно сказать, что именно имел в виду автор, но мотивы столь странного оммага великому земляку очевидны, достаточно сократить название журнала, где было напечатано эссе О'Брайена, на одну лишь букву – 'o'<sup>3</sup>.

Но вернемся к нашим паломникам, которых мы оставили в кэбе, направлявшемся в Дублин. Всю дорогу О'Нолан был убийственно серьезен и строго следил за выполнением условностей ритуала, которого, впрочем, еще не существовало. Кстати говоря, каждый из участников той джойсовской церемонии символизировал кого-то из персонажей «Улисса» (или жизни самого Джеймса Джойса). Еврей Кон Левенталь играл роль Леопольда Блума; Энтони Кронин, тогда молодой поэт, позже автор биографии писателя О'Брайена, где я обнаружил те самые снимки у башни Мартелло, был, конечно, Стивеном Дедалом; кинорежиссер Джон Райан, который описал перипетии (и *peripetium!*) юбилея «Блумсдэя», был газетным редактором Майлзом Кроуфордом. Дантист Том Джойс, не прочитавший ни единой джойсовской строчки, символизировал всю семью Джеймса Джойса, тем паче что он был кузеном писателя. Поэт Патрик Каванах – тот самый нескладный верзила в очках – был назначен изображать музу. Наконец, сам О'Нолан сочетал в себе сразу двух персонажей: отца Стивена Дедала – Саймона, жалкого старика, пропившего все, кроме дивного голоса, и заботливого, рассудительного, положительного Мартина Каннингема. Эти роли странно соответствовали характеру и жизненным обстоятельствам самого О'Нолана – к 1954 году он уже был горьким пьяницей, если не алкоголиком, к тому же после смерти отца в конце тридцатых он в течение долгих лет содержал мать и братьев. В ходе джойсовского паломничества О'Нолан присматривал не только за порядком перемещения от одного улиссовского топоса к другому, но и за поведением своих непосредственных товарищей. По дороге на Гласневинское кладбище он заставил их вести себя так, как подобает участникам похоронной процессии. Он не давал им горланить в пути песни (что было довольно сложно, учитывая утренний виски, который лакировался по мере прохождения назначенных пунктов). Он ворчал на Кронины и Каванахи, которые отобрали у возницы поводья и намеревались сами поуправлять экипажем. Он вдруг растерял все свое чувство юмора, настаивая на скрупулезном и уважительном следовании маршрутам Леопольда Блума и Стивена Дедала. Впрочем, даже будучи сверхсерьезным, О'Нолан умудрился в тот день стать участником комической сценки, выдержанной вполне в духе фельетонов Майлза на Гопалин. Направляясь в Гласневин, джойсовская компания заехала в паб, чтобы в очередной раз промочить горло. Хозяин, привыкший, что в его заведение заглядывают в основном по пути на кладбище, поспешил выразить свои соболезнования О'Нолану, которого он (и не безосновательно!) принял за распорядителя похорон. «Надеюсь, покойный – не ваш близкий», – любезно предположил он. О'Нолан тихо ответил: «Нет, просто друг, один парень, звали его Джейсом, Джеймсом Джойсом». Хозяин задумчиво повторил несколько раз «Джеймс Джойс...», выставив компании стаканы с виски, и затем спросил: «Не тот ли строительный подрядчик с Вулф-Тон-Сквэр?». О'Нолан нетерпеливо перебил его: «Нет-нет. Сочинитель». Кабатчик возопил: «А! Так это тот, который вывески сочинял! Малыш Джимми Джойс с Ньютон-Парк-Авеню, сочинитель вывесок, но, позовьте, он же сидел на этом стуле еще в прошлую среду... нет, вру! В прошлый четверг!»<sup>4</sup>.

В этом стремлении педантично, шаг за шагом, создать (разыгрывая в первый раз) ритуал под названием «юбилей «Блумсдэя», чувствуется что угодно, только не почтительность робкого ученика или любовь пылкого почитателя.

<sup>3</sup> «Envoy» – посланник, «envy» – зависть.

<sup>4</sup> И после этого недоброжелатели говорят, что Джеймс Джойс – «автор для высококолых», «писатель для писателей!»! Эту сцену мог разыграть лишь усердный читатель «Улисса»: в романе совершенно теми же словами дублинские пьяницы встречают известие о смерти Патрика Дигнама.

Скорее наоборот – О'Ноланом, вероятно, двигало стремление отделаться наконец от настоящего Джойса, превратив его в легендарную и неопасную фигуру, а празднование «Блумсдэя» – в еще один милый предрассудок дублинских обывателей<sup>5</sup>. Тогда – в 1954 году – он (во всех трех своих ипостасях – дублинского интеллигентного обывателя, фельетониста и прозаика) нанес ненавистному Джеймсу Джойсу тройной удар – назвав невежей, сравнив с алкоголиком-воришкой, заснувшим в обнимку с бутылкой в вагонном сортире, и превратив главный его шедевр в путеводитель. На первый взгляд, однако, эта затея не удалась – ничто не могло помешать уверенному пути благополучно умершего за пятнадцать лет до этого Джойса в «классики XX века», в главные ирландские писатели всех времен, а его сочинений – на страницы десятков тысяч статей, эссе и диссертаций, где «Дублинцев», «Портрет художника в юности», «Улисс» и «Finnegans Wake» сравнивали со всем корпусом мировой литературы от (что закономерно) «Одиссеи» до любого новейшего романа. В числе этих «новейших романов», ставших подручным сырьем для «джойсовской литературоведческой индустрии», стал и первый роман Флэнна О'Брайена.

Кошмар начался с того, что «О водоплавающих», кажется, был последним романом, который полуслепой Джойс прочел без посторонней помощи. И, прочитав, похвалил. Похвалу эту О'Брайену любезно передавали разные люди, в том числе и Сэмюэл Беккет – еще одна жертва джойсовского гения. Кошмар этот оттиснут на любом современном издании «Водоплавающих» в виде рекламных цитат на обложке, вроде: «Флэнн О'Брайен – лучший ирландский романист после Джойса». Чувствуете? «После Джойса!» Впрочем, следует заметить, что проклятие Джойса нависло над романом О'Брайена совершенно неслучайно. Автор сам напорсился.

«О водоплавающих» – результат прочтения «Портрета художника в юности» и «Улисса» молодым одаренным писателем, не знающим пока, о чем и как ему надо писать. Не следует забывать, что эти сочинения Джойса в Ирландии 30-х годов воспринимались почти как новинки – их издали относительно недавно, а «Улисс» был вообще запрещен и его привозили контрабандой с континента. Один из приятелей О'Нолана вспоминал в сороковые годы, что прочел «Улисса» в обратном порядке: гигантский роман был издан в двух томах, и ему сначала попался в руки второй том<sup>6</sup>. Впрочем, сам О'Нолан основательно познакомился с сочинениями Джойса, еще учась в университете. А познакомившись, принялся за собственный роман. Главный герой «Водоплавающих» – пародия на главного героя «Портрета художника в юности» Стивена Дедала; он тоже в своем роде «художник»<sup>7</sup>, только нет в нем ни ультраромантических порывов, ни дедаловских взлетов и падений, ни воспаленного католицизма и проклятий в адрес церкви, ни терзаний больной совести и иезуитского анализа этих самых терзаний. Герой О'Брайена равнодушен к самой мучительной теме Стивена Дедала – Ирландии; более того, у него нет даже имени – не такого, как у джойсовского героя, красноречиво говорящего об отщепенстве и творчестве, нет, у него вообще нет никакого имени. Стивен Дедал – юный поэт, покидающий родину из любви к ней, следует собственному же афоризму: «Путь

<sup>5</sup> Как бы он удивился и обрадовался, наблюдая недавний бессмысленно-пышный столетний юбилей «Блумсдэя»! Что написал бы в своей колонке Майлз на Гопалин по поводу одного только бесплатного завтрака на десять тысяч особ, который подавали почему-то на О'Конелл-стрит! Некий английский фельетонист, явно прошедший школу Майлза, назвал этот завтрак «джойсовский ГарриMeal» – на манер детского меню в «Макдоналдсе».

<sup>6</sup> А Энтони Кронин утверждает, что прочел «О водоплавающих» раньше «Улисса», оттого первый роман произвел на него гораздо большее впечатление, нежели второй.

<sup>7</sup> Английское «artist» в названии джойсовского романа «Portrait of the Artist as a Young Man» означает не только собственно «художника» в узком значении этого слова (то есть живописца, скульптора и так далее), но и вообще человека искусства, «художника» в широком смысле.

в Тару лежит через Холихэд»<sup>8</sup>. Его жизнь до бегства из Ирландии становится в конце концов романом; жизнь художника становится книгой. О'Брайен высмеял этот простоватый романтический трюк. Его безымянный герой старается вообще не покидать собственной спальни, где он обычно возлежит на кровати и либо предается приятнейшему ничегонеделанию, либо составляет – да-да, именно «составляет» – свой роман. В этом романе нет ровным счетом никакого «содержания» в традиционном смысле этого слова; его содержание есть сам процесс написания романа и крайняя озабоченность формальной стороной дела. В сущности, «Водоплавающие» представляют собой смесь заметок героя-автора, повествующих о его редких походах в университет, равнодушных стычках с дядей-опекуном и довольно дурацких беседах с друзьями за пинтой портера, с целым рядом параллельно развивающихся абсурдных повествований, пародирующих разные жанры ирландской и англоязычной литературы: от древних саг до ковбойских романов. Постепенно все эти столь разные повествования переплетаются и складывается даже некий сюжет, точнее – два сюжета. В одном герой завершает книгу, заканчивает, несмотря на непреодолимую лень, университет и мирится с дядей. В другом сюжете – более населенном и оживленном – персонажи всех остальных параллельных повествований собираются вместе, чтобы устроить суд над посредником между героем-автором и ними. Посредник – романист Треллис, неустанный лежебока, плагиатор и ничтожество – придуман для того, чтобы сочинять (или перелицовывать) все эти истории про безумного короля Суини, легендарного вождя Финна Мак Кула, злого духа Пуку Фергуса Мак Феллими, ковбоев, которые пасут скот почему-то в дублинских пригородах, некоего Ферриски, который появился на свет сразу в двадцатипятилетнем возрасте, с прокуренными зубами и даже с пломбами в этих зубах<sup>9</sup>, и многих других. Кстати говоря, вот этот-то суд персонажей над автором и сделал «О водоплавающих» столь удобным примером для разного рода постструктуралистских теоретических построений. Начиная с 60-х годов прошлого века О'Брайена стали называть чуть ли не «первым постмодернистом»<sup>10</sup>, помещать его имя в достославный перечень писателей, предсказавших знаменитую «смерть автора», которую лет тридцать назад с воодушевлением констатировали французские гуру с короткими фамилиями Барт и Фуко.

Между тем если безымянный герой «Водоплавающих» – пародия на Стивена Дедала, то формальное изобретение, сделанное О'Брайеном в первом его романе, развивает и доводит до абсурда открытия, сделанные Джойсом в «Улиссе». В 14-м эпизоде «Улисса» («Быки солнца») Джойс пародирует с дюжину различных авторских стилей – от Тацита и средневековых хроник до кардинала Ньюмена. О'Брайен идет дальше – он составляет свой роман из жанровых стилизаций, сводя их в конце в издевательскую коду, отрицающую романтическую идею «авторства» вообще. Джойс перебирает и перетасовывает корпус литературы, пытаясь «оживить» его, высечь из него искру чувства, страсти, смысла. О'Брайен исключает возможность всякого смысла вообще, его занимает механическое сочетание способов письма: чем нелепее получается результат, тем больший (вполне в духе русских обэриутов) предполагается художественный эффект. Получается, что, демонстрируя бессмысленность литературы, он обесмысливает и подвиг великого модерниста Джойса, затеявшего «литературную революцию». Джойс высмеян, преодолен,

<sup>8</sup> Тара – один из главных политических и культурных центров древней Ирландии, для ирландских патриотов рубежа XIX и XX веков – символ былого величия и залог грядущего возрождения. Холихэд – порт в Британии, куда приходят паромы из Ирландии.

<sup>9</sup> Идея творения, так сказать, не «с нуля», а «с середины», когда на свет появляется нечто, уже имеющее историю и следы этой истории на своем теле, ужасно понравилась бы Борхесу, который посвятил ей эссе «Сотворение мира и Ф.Юсс».

<sup>10</sup> С наименьшим основанием так можно было бы обозвать и Константина Вагинова – автора «Трудов и дней Свистонова», написанных ровно за десять лет до «Водоплавающих».

повержен – таков итог первого романа О’Брайена. Никто из прочитавших роман и похваливших его этого не заметил: ни сам Джойс, ни Беккет, ни Грэм Грин. Ошибка современников искалечила дальнейшую литературную карьеру О’Брайена.

За пятнадцать лет, прошедших с момента издания «Водоплавающих» до памятного юбилея «Блумсдэя», Флэнн О’Брайен написал удивительный роман «Третий полицейский», но не смог найти на него издателя; Брайен О’Нолан успел сделать недурную служебную карьеру, стать алкоголиком, жениться и быть уволенным; наконец, в эти годы появилась и третья ипостась нашего героя – Майлз на Гопалин<sup>11</sup>, язвительный двуязычный колумнист, издавший к тому же уморительный и страшный роман, название которого тоже довольно сложно перевести на русский: то ли «Пустой рот», то ли, как это остроумно сделала русская переводчица Анна Коростелева, «Поющие Лазаря». В основном это были пятнадцать лет неудач: со службы уволили, один роман не издали, другой толком не прочли, ибо написан он был по-ирландски, а кто читает на этом языке? Хуже того, его считали неудачником; и не только считали, а фактически публично называли таковым.

В 1947 году в дублинском журнале «Белл» была опубликована статья, которая, несмотря на то, что называлась «Майлз на Гопалин», была посвящена прежде всего Флэнну О’Брайену. Автор статьи Томас Вудс укрылся под своим обычным литературным псевдонимом «Томас Хоган»; как и О’Нолан, Вудс был государственным чиновником, алкоголиком, обожал псевдонимы, как Майлз, он был фельетонистом и, как О’Брайен, недоволен своей литературной карьерой. В этой статье он попытался переадресовать собственное недовольство другому. Этот текст написан в самых пошлых традициях провинциальной литературной критики, вроде нынешней российской; автор снисходительно рассказывает историю о том, как подававший некогда большие надежды последователь Джойса надежд этих не оправдал.

Можно себе представить, что испытывал О’Нолан, читая, кажется, единственную в ирландской прессе статью, посвященную его литературным двойникам и ему самому. Все, что он писал после «Водоплавающих», не имело ни малейшего отношения к Джойсу, кроме общего языка, да и то один роман и множество фельетонов были сочинены на ирландском, которого, кстати говоря, автор «Дублинцев» не знал. Трудно вообще было найти больших антиподов Джойса-человека и Джойса-писателя, нежели О’Нолан, О’Брайен и Майлз. О’Нолан вырос в уважаемой чиновничьей семье, где говорили исключительно по-ирландски; английской он выучил потом – листая комиксы про полицейских, которые он доставал в газетном киоске своего дяди<sup>12</sup>. Напомним, что отец Джойса – пьяница и музыкант-любитель – промотал все состояние, оставив огромную семью без средств существования. И так, он пел, отец Джойса, в то время как отец О’Нолана – молчал. Он молчал все время, по крайней мере вне службы, оттого дома у О’Ноланов всегда царила тишина. Чувственный Джойс довольно рано женился по любви и молодым покинул Ирландию, как потом оказалось, навсегда. Он вел жизнь бедного эмигранта, переезжая из Триеста в Париж, из Парижа в Цюрих. Он не любил и не умел

<sup>11</sup> В одержимости нашего героя псевдонимами можно, при желании, найти объяснение странностям как поэтики романа «О водоплавающих», так и собственной его жизни. Отмечу только, что имя Брайена О’Нолана на английском и на ирландском пишется по-разному, и он, как, впрочем, и его отец, развлекался тем, что периодически менял его написание в официальных служебных бумагах.

<sup>12</sup> Любопытно сравнить этот случай двуязычия со случаем Борхеса: аргентинец под влиянием отца-англомана ребенком начал говорить и писать по-английски, испанский же был для него языком матери (других языков не знавшей) и прислуги. Иными словами, для Борхеса «языком культуры» был английский, сама Культура была воплощена в фигуре отца. Для О’Нолана «языком культуры» изначально был ирландский – тоже язык отца (между тем сам его отец выучил ирландский в зрелом возрасте, будучи патриотом и деятелем «национального возрождения»), а английский значительно позже стал языком комиксов, кино, большого города (после переезда в Дублин), иными словами – «языком реальной жизни».

зарабатывать, предпочитая годами находиться на содержании родных и знакомых. В конце концов он при жизни стал живым классиком и объектом интернационального поклонения. О'Нолан, напротив, после университета сознательно выбрал карьеру госслужащего, после смерти отца содержал семью, в том числе – брата Кьюрана, который считался в семье настоящим «художником», в духе Стивена Дедала. Во второй половине тридцатых Кьюран целыми днями сидел дома и писал на ирландском детективный роман, так никогда и не изданный, в то время как его брат Брайен таскался на службу, урывками сочиняя «Водоплавающих». О'Нолан был истинным дублинцем, крайне редко, практически никогда, не покидавшим свой город. К тому же он был убежденным холостяком, кажется, совершенно равнодушным к сексуальной жизни. Он, правда, женился лет сорока на своей сослуживице, но сделал это, вероятно, потому, что на ирландской государственной службе женатые чиновники имели разнообразные финансовые преимущества. По крайней мере незадолго до женитьбы О'Нолан направил начальству меморандум о несправедливости подобного отношения к холостым госслужащим. Никакой полноженственной Норы-Молли, никакой вечноюной Анны-Ливии-Плюрабель, никаких эротических писем, которые через шестьдесят пять лет после смерти продают на аукционах за четверть миллиона долларов. Холодный дом, уютный паб через дорогу и печатная машинка. Увы, Брайена О'Нолана приняли за совсем другого человека и писателя. Произошла фатальная ошибка, которую он пытался исправить, но не смог.

Джеймс Джойс был одним из великого племени модернистов прошлого века, создавших малочитабельные шедевры и превративших собственную жизнь в гораздо более увлекательный, нежели любой из написанных ими, роман. Брайен О'Нолан был довольно заурядным интеллигентным дублинским обывателем, Майлз на Гопалин – блистательным газетчиком и превосходным ирландским романистом, Флэнн О'Брайен сочинил на английском языке три совершенно непохожих друг на друга романа<sup>13</sup>, каждый из которых хочется читать и перечитывать. В североирландском городке Стрэбэйн, на доме, где родился Брайен О'Нолан, висит мемориальная доска. На ней на двух языках написано, что здесь родился писатель. По-ирландски слово «писатель» написано с ошибкой.



---

<sup>13</sup> Четвертый (хронологически – третий) – «Архив Долки» – не в счет, ибо есть не что иное, как не изданный при жизни писателя роман «Третий полицейский», переписанный заново в попытке пристроить его в издательство. «Третий полицейский», вышедший через несколько лет после смерти О'Нолана, был принят с восторгом.

## Нас поздравляют

Андрей ГЕЛАСИМОВ

---

*Иосиф Бродский однажды сравнил прозаиков с пехотой. Суть этого сопоставления заключалась не в том, что писатель должен быть, прежде всего, «человеком с ружьем» – таким, который всегда на посту, всегда не спит, куда-то смотрит, ходит с тревожным лицом и т.д., а в том, что где-то высоко над пехотинцем в своем серебристом самолете в небе обязательно парит летчик.*

*И этот летчик, конечно, поэт.*

*Продолжая военно-воздушные аллюзии гения, мы можем по-новому взглянуть на отношения литературы и литературных журналов. Поскольку любая книга существует скорее в будущем, нежели в настоящем, она чаще всего не торопится сделать своего автора любимцем современной ему читающей публики. У книги на то могут быть самые различные причины, да и публика занята чтением тех авторов, которых она не читала в предыдущем поколении, и, значит, не стоит пока никого отвлекать. С точки зрения инерционных законов литературный процесс напоминает движение огромного корабля. Команда к повороту, отданная на мостике, физически будет исполнена далеко не мгновенно.*

*Но тут в дело вступает авиация. Неповоротливость авианесущего крейсера легко компенсируется мобильностью размещенных на нем самолетов. Они стремительны, точны, эффективны. Старт палубного истребителя занимает считанные секунды. В литературе роль морской авиации играют толстые журналы.*

*Сейчас, когда «Октябрю» исполнилось 80 лет, он неожиданным и счастливым образом оказался в исторической ситуации, подобной тому моменту, когда он впервые вышел из печати. И тогда, и сейчас Россия приходила в себя после краха великой империи. Опыт освобождения в начале XX века таил в себе столько творческой и жизненной энергии, что ее с лихвой хватило на все эти годы. Разрушенный до основания мир необходимо всякий раз отстраивать заново, поэтому у теперь перед «Октябрем» стоят интереснейшие задачи.*

Андрей БАЛДИН

---

*Слово к о н н о т а ц и и одно могло омрачить встречу Путьевого Журнала с «Октябрем». Нет, не могло омрачить, ничто не могло помешать нашей встрече, просто прозвучало это слово в первый момент как-то особенно длинно и строго, а главное, внезапно.*

*Дело было в Ясной Поляне. Гости съехались в усадьбу в сентябре, ко дню рождения Толстого; во всех углах заговорили о высоком. Из всех самым возвышенным был наш разговор с главой отдела критики «Октября» Анной Воздвиженской. В самом деле, мы обсуждали материи метафизические, выше забираться некуда. Исследование композиционных приемов, «чертежей» Толстого, много лет меня занимавшее, до того момента отвлеченное, вдруг сделалось очень конкретно, его предмет стал виден въяе. Метафизика пополам с реальной яснополянской географией (метагеография! то, что Путьевому Журналу ближе всего на свете) совершенно меня захватила.*

*Тени плыли по дорожкам Клинов. Вот, пожалуйста: Клины – рядом с домом небольшой зеленый квадрат, единственное во всей усадьбе место, ровно расчерченное; остальное тело Ясной свободно разлеглось вокруг; здесь же дорожки проложены*

прямо, вдоль них шагают черные стволы лип – регуляция сада способствует регуляции мысли.

Рассуждения сами собой строились очень логические. Уже видимый вокруг совершенный порядок (Клинов), преодолевающий внешний беспорядок усадьбы, готов был очертить сюжет самый показательный. Разве не так? разве не был сам Толстой полем борьбы порядка с беспорядком? Был, это же яснее Ясной. Вечерний пейзаж готов был совпасть с портретом Льва Николаевича. Что-то глубоко метафизическое нарисовалось перед мысленным взором, и я уже было открыл рот и набрал побольше воздуха, дабы сходство хозяина с домом, со всей окрестною землей запечатлеть окончательно, как вдруг явилось это длинное и строгое слово.

«Это все очень интересно, – вежливо сказала Анна Вячеславна (они все в «Октябре» очень вежливые и доброжелательные люди), – хотя непонятно, как в обсуждении такой серьезной темы можно использовать столь отрицательные к о н о т а ц и и».

Я подавился очередной космического размаха мыслью. Тени под липами и округ кустов дрогнули и остановились в волшебном течении. Рядом с домом зажегся прожектор, по белому фасаду снизу вверх легли резкие тени. «Хорошие дела...» – подумал я и быстренько перемотал обратно в голове запись разговора. Запись выглядела довольно расплывчато – гостеприимство Ясной известно, там ни одного вечера не проходит без дружеского застолья, вот и в тот вечер оно состоялось и, наверное, возымело действие – поди вспомни теперь, что в точности было сказано, и в каком тоне, и какие, прости Христос, были при этом задействованы к о н о т а ц и и.

Опять же, значение этого умного слова было (и остается) для меня не вполне доступно.

Мы в Путевом Журнале изъясняемся короткими словами, которые не всегда можно прямо переложить на бумагу; к тому же нам помогают жесты и то взаимопонимание, без которого шагу нельзя ступить в экспедиции.

Но «путевых» слов я как будто не использовал (шут с ними, с жестами, какие в сумерках видны жесты?). Да нет, ничего крамольного вроде и не было сказано, по крайней мере намерения мои были чисты, и вдруг на тебе – к о н о т а ц и и. Еще это ц в конце – оно было похоже на раздвоенную антенну. Слово с антенной на конце проползло по темной аллее куда-то в сторону; я потихоньку перевел дух.

«Нет, это в самом деле интересно, – продолжила Анна Вячеславна, деликатно не замечая, как у собеседника восстанавливается кровообращение (длинные, длинные слова! все происходило гораздо быстрее; жизнь вообще быстрее слов, она им перпендикулярна), – это нужно серьезно осмыслить. А вы не пробовали все это записать?»

Конечно, пробовали. Пробовали уловить сходство пейзажа и автора, и наблюдать пейзажи «авторские», и многое из увиденного записывали, иное и публиковали, хотя несомненно, что на бумагу ложилась только часть наблюдений. Проект наш подвижен и более комфортно ощущает себя в пространстве устной речи...

«Вот вы напишите и принесите к нам в «Октябрь», а мы посмотрим», – закончила Анна Вячеславна, и тени поплыли, и жизнь потихоньку двинулась прежним темпом.

С этого началась наша дружба; в самом деле, в «Октябре» мы напечатали немало (двенадцать выпусков, я посчитал), неясно только, что там вышло с к о н о т а ц и я м и.

Нет, слово это не было лишним, напротив, теперь я вижу, что во время общей работы наши публикации постоянно прирастали, прибывали точно воздухом новым контекстом. Нет, и это слово как будто с антенной. И без него все ясно.

Бесстрашные, наделенные широкой душой люди работают в «Октябре». Никакие другие не смогли бы так долго терпеть нашу метагеографическую компанию.

Бесстрашие – оно, несомненно, определяет о к т я б р ь с к и е к о н о т а ц и и. В этом смысле первоначальное прочтение имени журнала сохраняет силу.

Но это опять слова, длинные слова. Чувства им перпендикулярны, потому они быстрее и теплее слов. Путевой Журнал, по привычке заменяя половину слов



жестами, а другую половину с великим трудом переводя с «воздушного» языка на бумажный, но на самом деле посылая, изливая, транслируя напрямую одни только сердечные чувства, поздравляет «Октябрь» с днем рождения.

## Михаил ЛЕВИТИН

*Все толстые журналы похожи друг на друга.*

*Но чем-то они все-таки отличаются!*

*– Куда нести? – спрашивает автор.*

*– В «Знамя»! Или в «Новый мир»! Повесомей будет. Какое прошлое, какие традиции!*

*– А если в «Октябрь»?*

*– Легкомысленный журнал, богема, авторы какие-то несерьезные, то есть падают, конечно, и настоящие, но выскочек больше.*

*Я – выскочка. Мне надоел этот серьезный-серьезный-серьезный мир, мнящий, что определяет литературу.*

*Мне нравится хорошая компания, богемный главный редактор, красавицы-дамы и поэты, редактирующие прозу.*

*Мне нравится, что в «Октябре» почти наплевать на престижность.*

*А здесь только так. Сотрудники не предвзяты и потому реже ошибаются. С ними хорошо. При мысли о них хорошо.*

*Они в поисках куражу и веселья. Им ясно, что надо пережить, переждать мусорную волну, а пока она идет, печатать тех, у кого в голове гуляет ветер... Истории, разумеется.*

*Ах, этот «Октябрь»! Сколько счастья он мне принес, как хочется ему удружить!*

*Все, кто печатается здесь, уже никогда не сумеют говорить друг о друге плохо.*

*Другие спросят: «Ты читал журнал такой-то, правда, я там лучше всех?»*

*Здесь же скажут: «Какой хороший номер, правда? И я там есть!»*

*Как приятно ухаживать за вами, поздравлять, наконец писать для вас приятно.*

*В этот дом пускают только достойных кавалеров. Обязательно – достойных и обязательно – кавалеров.*

*А то, что они настоящие писатели, в этом сомнение разве что у околорепутурных критиков.*

*Грозный журнал «Октябрь», сильный журнал, красивый.*

*Люблю. Клянусь. Всегда.*





Александр Родченко. Фрагмент плаката. 1925 год



Наши авторы в аэроплане  
© Фото из архива редакции



Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 2004. № 10. 1-192.  
Отпечатано в ОАО "Типография "Новости"